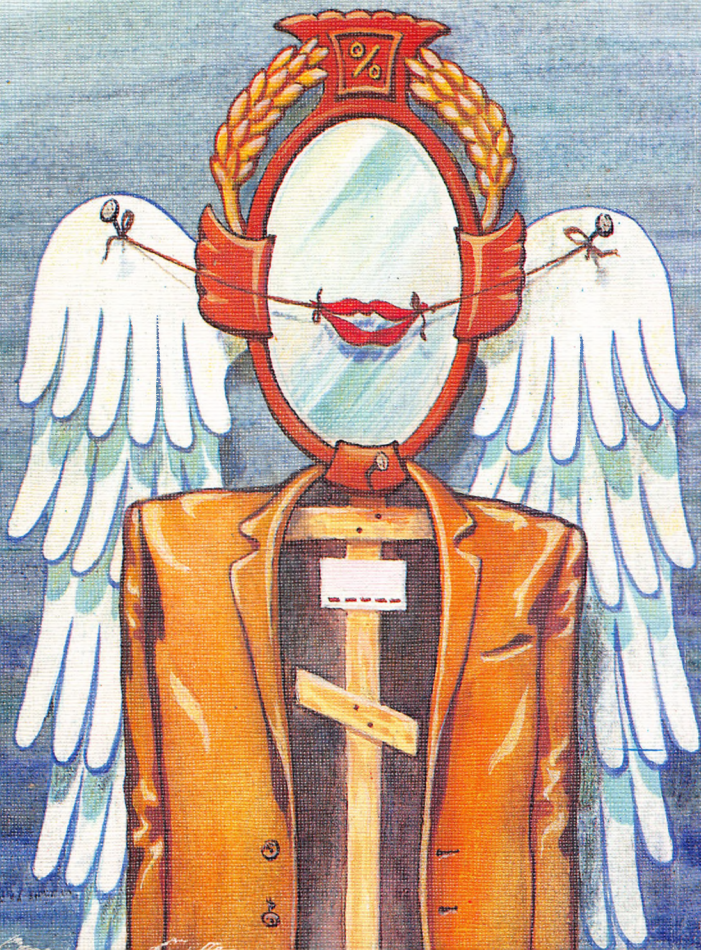


# ЗЕРКАЛА

АЛЬМАНАХ

1989



# ЗЕРКАЛА

---

**АЛЬМАНАХ  
1989**

*ВЫПУСК I*



Московский рабочий  
1989

ББК 84Р7—4  
З-57

Составитель *А. П. Лаврин*  
Редактор *М. К. Холмогоров*  
Художник *Ф. Барбышев*

**Зеркала: Альманах.**— Вып. 1 / Сост. А. П. Лав-  
З-57 рин.— М.: Моск. рабочий, 1989.— 336 с.

Сборник «Зеркала» включает в себя произведения писателей, имена которых только входят в нашу литературу, а сами эти вещи даже вообразить напечатанными было бы невозможно еще четыре года назад. Авторы не принадлежат к одному поколению, возрастной их диапазон свыше двадцати лет. Поэтому в сборнике нет единообразия, невольно создаваемого общим кругом мыслей, настроений, близких дорог в поисках формы. Но общность есть — сопротивление тотальной лжи и тотальному же невежеству, до сих пор едва ли не насильно насаждавшимся в литературу. Книга эта привлечет читателя с недавних пор популярными именами (Венедикт Ерофеев, А. Парщиков, Е. Попов, В. Пьецух, В. Салимон и др.) и откроет новые.

3  $\frac{4702010200-195}{M172(03)-89}$  Без объявл.

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—00640—7

© Издательство «Московский рабочий», 1989

## Николай Булгаков

### БЕЛАЯ РУБАШКА

На маленькой, почти не существующей кухне, где между столами едва влезала табуретка, они стояли, почти касаясь спинами друг друга, и что-то резали, резали годами на досочках — каждая свое: если Нина Николаевна — картошку, то Николаевна — селедочку («Вот захотелось мне сегодня селедочки!.. И у Курникова была, и у Гурова, и в «НКВД». У швейников — взяла»), если Нина Николаевна — морковку, то Николаевна — лучок. И, поднимая каждая свою крышку, бросала в свое варево.

А тем временем, пока все это они резали, опустив головы, и вроде бы только этим и занимались, шел их вечный незаметный снаружи разговор. Николаевны тихие, с достоинством высказывания через паузу (словно и не кричала ни на кого никогда...), и сверхпрямые, быстрые — Нины Николаевны.

— Делайте добро и так. А зачем детей-то крестить? — говорила Нина Николаевна с высоты своей врожденной городской интеллигентности, партийности и кандидатского технического диплома, видя и осязая эту свою истину не хуже, чем нарезаемые ею картошку или морковку.

— Как хотите... — еле слышно, но твердо отвечала Николаевна, тоже что-то не менее осязаемое нарезаая. — Дело ваше.

Она всегда жила у них за стенкой в их коммунальной квартире. Квартира потому и была коммунальной, что одна комната из четырех была ее. Но это, как вы понимаете, в жизни их все меняло... Получалось, что они живут уже не одни, не сами своей жизнью, но с ними всегда живет она, Николаевна, на их жизнь смотрит.

В ее комнате все было не так, как у них.

В жизни ее все было не так, как у них.

Она сама была не такой, как они.

Если у них комнаты были оклеены обоями, то у нее — окрашена темно-зеленой краской. Если они были высокими и худыми, то она была низенькая и толстая. Если они были грамотными и учеными, она толком расписаться не могла, а когда расписывалась, доставая свою походную чернильницу-непроливайку, фамилию свою писала с маленькой буквы. Если они выписывали газеты и журналы, то к ней, хоть у нее и висел на двери самодельный почтовый ящик боль-

ше ихнего, приходили только открытки к «октябрьской» и «майским», да и то почтальон по привычке бросал их к ним в ящик. Если у них в комнатах висели этюды, писанные их родственником маслом (в том числе на Капри в 1908 году, как стояло на одном из них), то у нее — икона в углу и большие бумажные репродукции под стеклом («Богатыри» Васнецова, «Утро в сосновом бору»...). Если у них стоял рояль, занимавший половину самой большой комнаты, то у нее — маленькое черненькое «радио» на комодe (громкоговоритель первой программы), которое она, когда не было гостей, непрерывно слушала, как только «дали пеньсию» («Дали пеньсию, я и решила — пойду, неизвестно, как дальше будет»). А иногда, когда приходил кто-нибудь из гостей, она слушала его особенно, погромче делала (как им замечалось; им много чего на этот счет замечалось в ее тихой, но упорной молчаливой жизни рядом с ними, шумными и не обращающими внимания ни на какие стены и двери; ведь как ни проскакивай с шумом мимо, а все равно, весь день проскакивая, за много дней на что-нибудь обратишь свое пристальное, как тебе на бегу кажется, внимание). Иногда она уходила, а то и уезжала, пахнув в коридоре духами. Если их комнаты запирались изредка врезным английским замком с большим ключом-бабочкой (когда все они вдруг уходили, а ключ клали тут же на полку), то ее дверь — огромным висячим замком-калачом (по которому только и видно было, дома она или нет: если черный калач на двери, значит, где-то в гостях, или в церкви, или на кладбище, или еще незнамо где — мало ли, куда она ходила, кто ее знает, кто за ней уследит? Но только не во дворе на скамейке, это был не ее жанр, она во дворе не сидела со всеми, она была более недоступным человеком в этой жизни, она была *над* скамейкой).

Отношения в квартире знали взлеты и падения.

Если были хорошие отношения, Николаевна говорила, постучав или прямо глянув в их почти всегда открытую дверь по дороге в свою комнату:

— Чайник кипит!

Или (если отношения были не такие уж нарочито прекрасные) просто делала под ихним кипящим чайником маленький огонек. А если отношений не было вовсе, то чайники кипели, кипели, пока у них терпения хватало, превращая кухню с еле заметной форточкой, выходящей в вестибюль, в мыльное отделение Тихвинской бани.

Иногда, во дни полного мира и малокипящих чайников, она говорила Толе: «Давай тарелку!» — со свойственной ей искусственной строгостью, чуть ли не свирепостью (а сама чуть не смеется-плачет от доброты и нежности). И наливала своих «мировецких щей» («Эх! Щи мировецкия!» — приговаривала она с восторгом, что их сварила и что делится ими),

Все у нее действительно было для Толи с детства вкуснее, хотя его мама, Нина Николаевна, считала: «А что она умеет готовить-то? Одни щи». Но ведь щи-то были мировецкие! Не какие-нибудь там такие-сякие уж особенные щи, а самые что ни на есть, по всем правилам свининки, капусты, жареного лучка. Это уж он, впрочем, только потом разобрался, в чем тут было дело, что в них входило, какие, говоря чудовищным нерусским языком, ингредиенты (Николавна бы поди и не взялась это слово произносить, даже начинать бы не стала, плюнула бы и обошлась нашими словами, в которых все равно всё есть, всё можно сказать, а чего нету в словах, то есть в избытке между слов, да еще как — лопатой между слов копай, всего не выкопаешь). А тогда они для него были просто самые что ни на есть щи щёвые, и больше ничего, но с каким-то таким вкусом истинных щей, что ли. Вот поди ж ты, писатель (якобы), километры страниц уже исписал и щи эти мировецкие тоже не раз пробовал, а вот не могу их до конца изъяснить.

Толя был уже не маленький; когда он был маленький, она бесконечно его разыгрывала, придумывала всякие фокусы — по меньшей мере, проходя мимо их раскрытой двери и неся свои мокрые руки к себе в комнату (поскольку ее полотенце висело по традиции коммунальной у нее в комнате, а не в кухне, как у них,— это осталось еще от старых жильцов, с которыми они поменялись и которые им все эти незыблемые коммунальные законы завещали), она обожала, бывало, цыкнуть ему пальцами в лицо (она так и говорила всегда: «бывало», а то и «бывалоча», для устойчивости, народ наш любит устойчивые слова, чтоб на хорошую согласную опирались, а то что это — на гласной стоять, как на цыпочках на одной ноге), — и, веселясь, идет в темный коридор, а потом к себе в комнату. А он, разумеется, с годами эту ее проделку просто возненавидел: гадость какая, вдруг в тебя совершенно неожиданно летит какая-то откуда ни возьмись холодная вода, которой ты совершенно не хотел, и никакого удовольствия, ну ровно никакого от этого не получаешь, а получает все удовольствие только тот, другой, брызнувший, насладившийся твоим распахом и ушедший в свою комнату, хохоча.

Она всегда видела их жизнь. Видела, как он здесь, в этом же коридоре, первый раз сам пошел своими кривыми ногами (именно это, кажется, больше всего ее и поразило — да разве можно на таких ходить? — и вызвало навсегда любовь). Она ужасно за все это болела. Вдруг в их квартиру переехала семья с двумя мальчишками, и младшему — года нет. Заняли три четверти квартиры, и она погрузилась, хочешь не хочешь, в их шумную жизнь. Ребенок маленький, ребенок побольше, но тоже в школу еще не ходит, молодые родители без своих бабушек-дедушек. Что все остальное по сравнению с этим?

Она всегда была одна, детей у нее не было, муж жил где-то уже далеко, но была масса родственников, сестер и племянниц, крестниц, которые иногда приходили в несметном количестве, все очень крупные, высокие, заполняли каким-то образом ее не такую уж большую комнату, наводняли коридор неведомым запахом, и тогда что-то слышала не она, а, наоборот, ее стенка оживала, и они, соседи ее, с удивлением слышали оттуда громкие разговоры и пение (это была в основном песня «Называют меня-а некрасивую, так заче-ем же он хо-о-одит за мной?», что означало, видимо, что она имела какое-то особое значение для исполнительниц или для какой-то одной исполнительницы, которая задавала тон, а остальные ей от общего слитного восторга не могли отказать). Или топот несусветный доносился, топот-грохот по толстенным широченным горбатым доскам ее крашеного пола (у них опять же был паркет).

Как же они плясали! Из подвала потом все выехали, и топали они, как хотели!

Потом Толя пошел в школу — первый раз, — она тоже это видела. Стал истинным мальчишкой, стал озорничать, водить друзей по двору, по классу (или как там это сочеталось? — она это всегда выясняла в разговоре, ведь нельзя же без разговора), которых она проверяла, выйдя в коридор при их появлении, какой-нибудь одной-двумя фразами, если пришел совершенно новый. Не то что, мол, как ты учишься или прочей ерундой, нет, она до такого никогда не опускалась (да еще, может, она на это и права особого за собой не чувствовала — спрашивать их гостей вот так, подробно, даже и мальчишкиных, — но как жилец и хозяйка в квартире — другое дело). Нет, чем-то таким, чего и представить себе невозможно заранее, она была изобретательнейшим на это человеком, согласно своей бывшей трамвайной работе за словом в карман не лезла. Например, посмотрев на вошедшего мальчишку, замявшегося временно, и быстро что-то подсчитав, выдавала вопрос:

— А дверь-то в парадное открыта была, когда ты вошел?

Или что-нибудь в этом роде. Наивного недоуменного ответа вошедшего вполне хватало ей на то, чтобы знать о нем как о человеке все. И она спокойно уходила к себе в комнату — теперь хватало слуха, чтобы уследить, когда дом начнут разносить.

У нее были непреложные ее заповеди. Например, когда осенью холодало, она кричала Толе сурово перед его безмятежным выбеганием во двор, уже вдогонку:

— Голову одевай! Одевай голову!

А он на бегу совершенно не замечал, что за этой ее суровостью опять ничего нет, кроме чувства бессилия хоть как-то свою заботу даже и применить, хоть немного сыграть роль грозного родителя, без которой нет родственности (как

в старых больших русских семьях бывало, в настоящей-то жизни). В этом была, наверно, еще и ее нежность к ее родителям, которые ей именно это когда-то говорили, и вот она теперь их так поминала.

С детства она воспитывала его тем, что загоразивала собой кухню, вставая в ее дверях, когда он летел либо туда, либо оттуда. Нет, она не закрывала этого довольно-таки широкого дверного проема совсем, она не была во всю ширину их двери широка — чуть-чуть оставалось. Но она вставала, низенькая (а не перепрыгнешь), пошире расставив ноги в тапочках и чуть растопырив полные локти, — и этого было вполне достаточно, чтобы ему было не проскользнуть. Да еще, как вратарь, перемещалась по проему куда он, туда и она.

Она говорила на его рвение проскочить:

— Что надо сказать?

Он мялся, жался (ведь нет же большего труда, чем сразу сделать то, чего от тебя хотят, да еще хорошее), но наконец все-таки выдавливал:

— Пропустите, пожалуйста.

Может быть, даже так:

— Прпстът пжст.

Но ей было и этого достаточно. В ту же секунду она (снимая и с него, и с себя с облегчением эту тяжесть воспитательной работы) говорила наиумильно (тем самым доводя до него в доходчивой форме мысль о том, что при его вежливости весь мир будет его тут же любить и обожать и все двери будут открыты), с улыбкой наисладчайшей, голосом наипевучейшим:

— Пожа-алуйста-а!

И он проходил в раскрытые шлюзы, воспитываясь.

Все их ссоры, которые могли тянуться чуть ли не месяцами, рассеивались тут же, как дым, как пар из чайников, стоило только ему сказать ей хоть что-нибудь доброе, хоть намекнуть на возможность этого доброго.

Она кричала на мальчишек, лазавших по саду перед ее окном, ужасным криком — внезапно, получше присмотревшись к ним:

— ЭТО ЧТО ТАМ ПОД ОКНАМИ?! А НУ-КА ВОН ОТСУДОВА!!

Она гоняла пьянь, хулигань, топтавшую их непомерный вестибюль, всегда моемый (и он даже после армии сподобился, после того как вспомнил там однажды, мбоя подневнольно пол в штабе, с каким бы наслаждением мыл сейчас лучше родной прекрасный вестибюль — и почему мать-то всегда мыла?!), гоняла таким же ужасным голосом. Но лишь один он знал среди всех мальчишек двора, побаивавшихся ее как женщину грозную, что все это — туфта, потому что, наорав на них, она в ту же секунду могла ему в глаза рассмеяться, и хоть хороший он был мальчик, конечно («Не



хулиган»), и любила она его, и потом, когда он вырос, всегда в пример ставила, и повторяла неоднократно, чуть ли не лицемерно (никогда не знал он почему-то, где ее полная искренность, где кончается игра), какой он молодец, что не курит, не пьет («Было, правда,— добавляла она, вспоминая, как после нескольких пьянок отпаивала его, зеленого, молоком,—но теперь — нет»),— все равно настолько это было рядом с ее «грозностью», прямо встык, что становилось ему ясно, что кричала она криком, а вовсе не злобой своей — кричала потому, что была уверена, что крики хоть на полтона потише, хоть на чуть-чуть,— ведь не уйдут же, поросята, ведь скажут: да ладно, бабка, не выступай, и были таковы — и ведь, наверно, и в самом деле не ушли бы, а? И вся жизнь разболтается, рассыплется, сады расплощут, изломают, семьи развалятся — ведь не так все было в детстве ее, когда и сады были, и семьи?

Она потому и кричала иногда, скандалила, «грозничала» — она боялась своей доброты. Она боялась, как бы она не зашла в своей доброте слишком далеко — так, что обнажится, станет уязвимой ее доброта.

Когда Нина Николаевна с Толей завели кошку с миской на кухне, она потом тоже ее приняла, и стала кормить, и даже, когда кошки для этого не оказывалось, искала ее с напускной свирепостью:

— Где же эта собака кошка?

Однажды в тихую, хорошую минуту за нарезаньем на досочках, без всяких мальчишек поблизости хоть под окнами, хоть в коридоре, когда речь зашла о душевных делах, она сказала Нине Николаевне об одном своем знакомом, что, мол, ревнует его к себе.

— Как к себе? — остановилась Нина Николаевна с нарезанным на доске сельдереем перед открытой парящей кастрюлей.

— Ну, вот к себе,— тихо повторила Николаевна как ни в чем не бывало.— Что он меня вообразил, а я... не такая.

В студенческие годы Толя считал, что, мол, нельзя сказать, что она исповедует христианство, хотя и в церковь ходит, и куличи святит, поскольку в жизни скандалит иногда и прочее.

Он не знал еще тогда, как невероятно трудно быть добрым всегда, даже если только этого и хочешь.

Сколько терпения, и любви, и старания душевного надо даже ей, любящей его до собственного удивления, чтобы быть всего лишь такой доброй, какой она с ним была.

Она провожала их всегда и повсюду. Она знала каждого из их родственников, московских и иногородних. Она с ними всегда заговаривала, когда они приходили, и они ей с удовольствием что-нибудь отвечали. Она присутствовала при

всех их семейных событиях. Но не как-нибудь там нарочито присутствовала, об этом не могло быть и речи, она имела свою гордость, свой особый, ей одной присущий такт. И когда у них собиралось его мальчишеское «деньрождение», приходили гости, Нина Николаевна пекла пироги, вся квартира ходила ходуном от этого события (особенно он), она не входила в разгар торжества в комнату с накрытым столом и сидящими за ним впритирку раскрасневшимися гостями, половина которых теснилась на ее незаменимой широченной доске, которую они всегда брали у нее, клали между двух табуреток и усаживали столько человек, сколько приходило, — которые бы удивились несколько: что это за гость еще прибавляется новый, вроде бы нам не очень знакомый? Откуда он? Почему он — гость? Ведь он — соседка?.. Но она могла, когда он нетерпеливо бежит по каким-нибудь рожденским заботам по коридору, с досадой провожая каждую тягостную секунду отсутствия своего за этим раскаленным столом, тихонько остановить его здесь вдобавок и вдруг не замечание какое-нибудь текущее сделать о том, как надо газ выключать, и не попросить что-нибудь пренеприятное срочное сделать (вынести ведро), а вручить вдруг сверток с подарком — белой рубашкой, и, поздравив и чуть не со слезой поцеловав, а то и не поцеловав — смотря какие у них к тому дню накопились отношения, — но все равно подарив, раз такое дело — и все равно это было всегда неожиданным на фоне их обычной квартирной жизни, — тут же уйти по каким-то своим якобы необходимым, а на самом деле чтобы просто не было этой проблемы: приглашена она в гости или нет, приглашать им ее или нет — ушла, и нет ее. Но об этом он уже не думал, снова вернувшись в шумное свое веселье, на полную эту густую горячую умопомрачительную свободу — хотя и с чем-то смутно чувствуемым где-то в душе, с чем-то оставшимся в ней: радостно-странным, печальным, с какой-то крошечкой грусти-вины, может быть...

Он еще не знал тогда, конечно, в день своего рождения, в момент своего пятнадцатилетия, какую роль сыграет в его судьбе эта рубашка. Не знал, что они с Ниной Николаевной найдут ее через много лет, когда в жизни его должно будет произойти важнейшее событие, когда и Николаевны уже не будет, а рубашка ее будет ждать — и дождетсся.

И он вдруг вспомнит потом, еще через годы, от кого она, как появилась, когда. И снова поразится премудрости жизни, в которой все, все, все правильно — стоит только отойти подальше и увидеть снова, как в детстве, что в ней ничего, ничего, ничего нет, кроме любви, — и ничего никому из нас больше не надо.

# Сергей Гандлевский

## БАЛЛАДА

Две-три ноты в нестройном  
порядке...  
Б. К.

За Москвой-рекой в полуподвале  
Жил высокого роста блондин.  
Мы б его помянули едва ли,  
Кабы только не случай один.

Он вставал удивительно поздно,  
Кое-как расставался со сном.  
Батарея хрипела гриппозно.  
Белый день грохотал за окном.

Выпив чашку холодного чаю,  
Съев арахиса полную горсть,  
Он повязывал шарф, напевая,  
Брал с крюка стариковскую трость.

Был он молод. С лохматой собакой  
Выходил в переулки Москвы.  
Каждый вправе героя гулякой  
Окрестить. Так и было, увы.

Раз, когда он осеннею ночью  
Интересную книгу читал,  
Некто белый, незримый воочью,  
Знак смятенья над ним начертал.

С той поры временами гуляка  
Различал под бесплотным перстом  
По велению незримого знака  
Два-три звука в порядке простом.

Две-три ноты, но сколько свободы!  
Как кружилась его голова!  
А погода сменяла погоду,  
Снег ложился, вставала трава.

Белый день грохотал неустанно,  
Заставая его в неглиже.  
Наш герой различал фортепьяно  
На высоком одном этаже.

И бедняга в догадках терялся:  
Кто проклятье его разгадал?  
А мотив между тем повторялся,  
Кто-то сверху ночами играл.

Он дознался. Под кровлей покатою  
Жили врозь от людей вдалеке  
Злой старик с шевелюрой косматою,  
Рядом — девушка в сером платке.

Он внушил себе (разве представишь?  
И откуда надежды взялись?),  
Что напевы медлительных клавиш  
Под руками ее родились.

В день веселой женитьбы героя  
От души веселился народ.  
Ели первое, ели второе,  
А на третье сварили компот.

Славный праздник слегка омрачался,  
Хотя «горько!» летело окрест,—  
Злой старик в одночасье скончался,  
И гудел похоронный оркестр.

Геликоны, литавры, тромбоны.  
Спал герой, захмелев за столом.  
Вновь литавры, опять геликоны —  
Две-три ноты в порядке простом.

Вот он спит. По январскому полю  
На громадном летит скакуне.  
Видит маленький город, дотоле  
Он такого не видел во сне.

Видит ратушу, круг циферблата,  
Трех овчарок в глубоком снегу.  
И к нему подбегают ребята  
Взапуски, хохоча на бегу.

Сзади псы, утопая в кюветах,  
Притащили дары для него:  
Три письма в разноцветных конвертах —  
Вот вам слезы с лица моего!

А под небом заснеженных кровель,  
Привнося глубину в эту высь,  
С циферблатом на ратуше вровень  
Две-три птицы цепочкой.

Проснись!

Он проснулся. Открытая книга.  
Ночь осенняя. Сырость с небес.  
В полутемной каморке — ни сдвига.  
Слышно только от мига до мига:  
Ре-ре-соль-ре-соль-ре-ля диез,

\* \* \*

Есть в растительной жизни поэта  
Злополучный период, когда  
Он дичится небесного света  
И боится людского суда.  
И со дна городского колодца,  
Сизарям рассыпая пшено,  
Он ужасною клятвой клянется  
Расквитаться при случае, но

Слава Богу, на дачной веранде,  
Где жасмин до руки достает,  
У припадочной скрипки Вивальди  
Мы учились полету — и вот  
Пустота высоту набирает,  
И душа с высоты пустоты  
Наземь падает и обмирает,  
Но касаются локтя цветы...

Ничего-то мы толком не знаем,  
Труса празднуем, горькую пьем,  
От волнения спички ломаем  
И посуду по слабости бьем.  
Обязуемся резать без лести  
Правду-матку, как есть, напрямик,  
Но стихи не орудие мести,  
А серебряной чести родник.

\* \* \*

Чикиликанье галок в осеннем дворе,  
И трезвон перемены в тринадцатой школе.  
Росчерк Ту-104 на чистой заре,  
И клеймо на скамье: «Хабибулин+Оля»,  
Если б я был не я, а другой человек,  
Я бы там вечерами слонялся доньше.  
Все в разъезде. Ремонт. Ожидается снег.  
Вот такое кино мне смотреть на чужбине.  
Здесь помойные кошки какую-то дрянь  
С возжелением делят, такие-сякие.  
Вот сейчас он, должно быть, закурит — и впрямь

Не спеша закурил, я курил бы другие.  
Хороша наша жизнь — напоит допьяна,  
Карамелью снабдит, удивит каруселью,  
Шаловлива, глумлива, гневлива, шумна —  
Отшутит, не оставив рубля на похмелье...

Если так, перед тем, как уйти под откос,  
Пробеги-ка рукой по знакомым октавам,  
Наиграй мне по памяти этот наркоз,  
Спой дворовую песню с припевом картавым.  
Спой, сыграй, расскажи о казенной Москве,  
Где пускают метро в половине шестого,  
Зачинают детей в госпитальной траве,  
Троекратно целуют на Пасху Христову.  
Если б я был не я, я бы там произнес  
Интересную речь на арене заката.  
Вот такое кино мне смотреть на износ  
Много лет. Разве это плохая расплата?  
Хабибулин выглядывает из окна  
Поделиться избыточным опытом, крикнуть —  
Спору нет, память мучает, но и она  
Умирает — и к этому можно привыкнуть.

\* \* \*

А вот и снег. Есть русские слова  
С оскоминой младенческой глюкозы.  
Снег валит, тяжелеет голова,  
Хоть сырость разводи, но эти слезы  
Иных времен, где в занавеси дрожь,  
Бьет соловей, заря плывет по лужам,  
Будильник изнемог — и ты встаешь,  
Зеленым взрывом тополя разбужен.  
Я жил в одной стране. Там тишина  
Равно проста в овраге, церкви, поле.  
И мне явилась истина одна:  
Трудна не боль, однообразье боли.  
Я жил в деревне месяц с небольшим.  
Прорехи стен латал клоками пакли.  
Вслух говорил, слегка переборщил  
С риторикой, как в правильном спектакле.

Двустволка опереточной длины,  
Часы, кровать, единственная створка  
Трюмо, в которой чуть искажены  
Кровать с шарами, ходики, двустволка.  
Законы жанра — поприще мое.  
Меня и в жар бросало, и знобило,  
Но драмы злополучное ружье

Висеть висит, но выстрелить забыло.  
Мне ждать не внове. Есть здесь кто живой?  
Побудь со мной, поговори со мной.  
Сегодня день светлее, чем вчерашний,  
Белым-бела вельветовая пашня.  
Покурим, незнакомый человек.  
Сегодня утром из дому я вышел,  
Увидел снег, опешил и услышал  
Хорошие слова: «А вот и снег».

\* \* \*

Молодость ходит со смертью в обнимку,  
Ловит ушанкой небесную дымку,  
Мышцу сердечную рвет впопыхах.  
Взрослая жизнь кое-как научилась  
Нервы беречь, говорить наловчилась  
Прямолинейною прозой в стихах,

Осенью восьмидесятого года  
В окна купейные сквозь непогоду  
Мы обернулись на Курский вокзал.  
Это мы ехали к Черному морю.  
Хам проводник громычал в коридоре,  
Матом ругался, курить запрещал.

Белгород ночью, а поутру Харьков.  
Просишь для сердца беды, а накаркав,  
Локти кусаешь, огромной страной  
Странствуешь, в четверть дыхания дышишь,  
Спишь, цепенеешь, спросонок расслышишь —  
Ухает в дамбу метровой волной.

Фото на память. Курортные позы.  
В окнах веранды красуются розы.  
Слева за дверью белеет кровать.  
Снег очертил разноцветные горы.  
Фрукты колотятся оземь, и в пору  
Плакать и честное слово давать.

В четырехзначном году, умирая,  
В городе N, барахло разбирая,  
Выроню случаем и на ходу  
Гляну — о Господи, в Новом Афоне  
Оля, Лаура, Кенжеев на фоне  
Зелени в восьмидесятом году.

\* \* \*

Опасен майский укус гюрзы.  
Пустая фляга бренчит на ремне.  
Тяжела слепая поступь грозы,  
Электричество шелестит в тишине.  
Неделю ждал я товарняка.  
Всухомятку хлеба доел ломоть.  
Пал бы духом наверняка,  
Но попутчика мне послал Господь.  
Лет пятнадцать круглое он катил,  
Лет пятнадцать плоское он таскал,  
С пьяных глаз на этот разъезд угодил —  
Так вдвоем и ехали по пескам.

Хорошо так ехать. Да на беду  
Ночью он ушел, прихватив мой френч,  
В товарняк порожний сел на ходу,  
Товарняк отправился на Ургенч.  
Этой ночью снилось мне всего  
Понемногу: золото в устье ручья,  
Простое базарное волшебство —  
Слабая дудочка и змея.  
Лег я навзничь. Больше не мог уснуть.  
Много все-таки жизни досталось мне.  
«Темирбаев, платформы на пятый путь», —  
Прокатилось и замерло в тишине.

\* \* \*

Устроиться на автобазу  
И петь про черный пистолет.  
К старухе матери ни разу  
Не заглянуть за десять лет.  
Проездом из Газлей на юге  
С канистры кислого вина  
Одной подруге из Калуги  
Заделать сдуру пацана.  
В рыгаловке рагу по средам,  
Горох с треской по четвергам.  
Божиться другу за обедом  
Впяять завгару по рогам.  
Преодолеть попутный гребень  
Тридцатилетия. Чуть свет  
Возить «налево» лес и щебень  
И петь про черный пистолет.  
А не обломится халтура —  
Уснуть щекою на руле,  
Спросонья вспоминая хмуρο  
Малаховку в Махачкале.



Самосуд неожиданной зрелости,  
 Это зрелище средней руки  
 Лишено общепризнанной прелести  
 Выйти на берег тихой реки,  
 Рефлектируя в рифму. Молчание  
 Речь мою караулит давно.  
 Бархударов, Крючков и компания,  
 Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии  
 С отвращением бить зеркала  
 Или прятать кухонное лезвие  
 В ящик письменного стола.  
 Дядя в шляпе, испачканной голубем,  
 Отразился в трофейном трюмо.  
 Не мори меня творческим голодом,  
 Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,  
 Воробья на пустом гамаке.  
 Это облако? Нет, это яблоко,  
 Это азбука в женской руке.  
 Это азбучной нежности навыки,  
 Скрип уключин по дачным прудам.  
 Лижет ссадину, просится на руки —  
 Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,  
 Расплескался по капле мотив.  
 Всухомятку мычу и мяукаю,  
 Пятернями башку обхватив.  
 Для чего мне досталась в наследие  
 Чья-то маска с двусмысленным ртом,  
 Одноактовой жизни трагедия,  
 Диалог резонера с шутком?

Для чего, моя музыка зыбкая,  
 Объясни мне, когда я умру,  
 Ты сидела с недоброй улыбкою  
 На одном бесконечном пиру  
 И морочила сонного отрока,  
 Скатерть праздничную теребя?  
 Это яблоко? Нет, это облако.  
 И пощады не жду от тебя!

Еще далеко мне до патриарха,  
 Еще не время, заявляясь в гости,  
 Пугать подростков выморочным басом:  
 «Давно ль я на руках тебя носил!»  
 Но в целом траектория движенья,  
 Берущего начало у дверей  
 Роддома имени Грауэрмана,  
 Сквозь анфиладу прочих помещений,  
 Которые впотьмах я проходил,  
 Нашаривая тайный выключатель,  
 Чтоб светом озарить свое хозяйство,  
 Становится ясна.

Вот мое детство  
 Размахивает музыкальной папкой,  
 В пинг-понг играет отрочество, юность  
 Витийствует, а молодость моя,  
 Любимая, как детство, потеряла  
 Счет легким километрам дивных странствий.  
 Вот годы, прожитые в четырех  
 Стенах московского алкоголизма.  
 Сидели, пили, пели хоровую —  
 Река, разлука, мать сыра земля.  
 Но ты зеваешь: «Мол, у этой песни  
 Припев какой-то скучный...» — Почему?  
 Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных  
 С дурашливым щенком на поводке  
 Под зонтиком, в пальто демисезонных  
 Мы вышли наконец к Москве-реке.  
 Вот здесь и поживем. Совсем пустая  
 Профессорская дача в шесть окон.  
 Крапивница, капризно приседая,  
 Пропархивает нанскось балкон.  
 А завтра из ведра возле колодца  
 Уже оцепенелая вода  
 Обрушится к ногам и обернется  
 Цилиндром изумительного льда.  
 А послезавтра изгородь, дрова,  
 Террасу заштрихует дождик частый.  
 Под старым рукомошкой трава  
 Заляпана зубною пастой.  
 Нет-нет да и проглянет синева,  
 И песня не кончается,

в припеве  
 Мы движемся к суровой переправе.  
 Смеркается. Сквозит, как на плацу.  
 Взмывают чайки с оголенной суши.

Живая речь уходит в хрипотцу  
Грамзаписи. Щенок развесил уши —  
His master's voice.

Беда невелика.  
Поговорим, покурим, выпьем чаю.  
Пора ложиться. Мне наверняка  
Опять приснится хмурая, большая,  
Наверное, великая река.



И пеплом ухают в диван!  
И где-то с криком непогашенным  
Под хохот и аплодисменты  
В пролет судьбы уходит Гаршин,  
Разбившись мордой о бессмертье.  
Так валят лес, не веря лету,  
Так, проклиная баб и быт,  
Опушками без ягод слепнут  
Запущенные верой лбы.  
Так начинают верить небу  
Продажных глаз, сгоревших цифр,  
Так опускаются до нэпа  
Талантливые подлецы.  
А их уводят потаскухи  
И подтасовка бед и войн,  
Их губы сухо тянут суки.  
Планета, вон их! Ветер, вон!  
При них мы сами есть товар,  
При них мы никогда не сыты,  
Мы убиваем свой талант,  
Как Грозный собственного сына!  
Но и тогда, чтоб были шелковыми,  
Чтобы не скрылись ни на шаг,  
За нами смотрят Балашовы  
С душой сапожного ножа.  
Да! Нас опухших и подраненных,  
Дымящих, терпких, как супы,  
Вновь распинаят на подрамниках  
Незамалеванной судьбы.  
Холст тридцать семь на тридцать семь.  
Такого же размера рамка.  
Мы умираем не от рака  
И не от старости совсем.  
Мы сеятели. Дождь повеет,  
В сад занесет, где лебеда,  
Где плачет летний Левитан,—  
Русь понимают лишь еврей!  
Ты — лебедь: Лунь. Свята, елейна.  
Но нас с тобой, как первый яд,  
Ждут острова святой Елены  
И ссылки в собственное «я».  
О, нам не раз еще потеть  
И, телом мысли упиваясь,  
Просить планету дать патент  
На чью-то злую гениальность.  
Я — Бонапарт. Я — март. Я плачу  
За морем, как за мужиком,  
И на очах у черных прачек  
Давлюсь холодным мышьяком.  
Господь, спаси меня, помилуй!

Ну, что я вам такого сделал?  
Уходит из души полмира,  
Душа уходит в чье-то тело.  
И вот уже велик, как снег,  
Тот обладатель.  
Не беспокоясь о весне,  
Он опадает.  
Но он богат, но он базар,  
Где продают чужие судьбы.  
Его зовут месье Бальзак  
И с ним не шутят.  
С его пером давно уж сладу нет,  
Сто лет его не унимали.  
Ах, слава, слава, баба слабая,  
Какие вас умы не мяли?  
Когда мы сердце ушибаем,  
Где мысли лезут, словно поросль,  
Нас душат бабы, душат бабы,  
Тоска, измена, ложь и подлость.  
Века, они нам карты путают,  
Их руки крепче, чем решетки,  
И мы уходим, словно путники  
В отчаянье и отрешенность.  
Мы затухаем и не сетуем,  
Что в душу лезут с кочергою.  
Как ветлы над промокшей Сетунию,  
Шумят подола Гончаровых.  
Ах, бабы, бабы, век отпущен вам,  
Сперва на бал, сперва вы ягодка,  
За вашу грудь убили Пушкина.  
Сидела б, баба, ты на якоре!  
Ау! Есенину влестившая  
Глазами в масть, устами в кленах  
Ты обнимаешь перестывшего  
За непознавших, но влюбленных.  
Тебе, не любящей одних,  
Его как мальчика швырять.  
Да! До последней западни!  
Да! До последнего шнура!  
О, если б знали вы, мадонны,  
Что к Рафаэлю шли на Пасху,  
Что гении сидят, как вдовы,  
Оплакивая страсть напрасную,  
Что гении себя не балуют,  
Что почерк их ночами точится,  
Что издеваются над бабами,  
Когда не в силах бросить творчество.  
Когда изжогой мучит тело  
И тянут краски теплой плотью,  
Уходят в ночь от жен и денег

На полнолуние полотен.  
Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!  
Забыв измены, сны, обеты,  
И умирать из века в век  
На голубых руках мольберта.  
Полина, полоня меня  
Палитрой разума и радости,  
Ты прячешь плечики, как радуга,  
На стих мой, как на дождь, пеняя.  
Но лишь наклонишься ты маком,  
Губами мне в лицо опав,  
Я сам, как сад, иду насмарку  
И мне до боли жалко баб!

1963

### ЧАЕВЫЕ ЧЕРНОЙ РОЗЫ

Прошлое! Пусти меня, пожалуйста, на́ ночь!  
Это я быюсь бронзовой головой в твои морозные  
ставни...  
И закрой меня на ключ, от будущего на́прочь,  
Умоляй, упрасивай... может, лучше станет...

Я помню себя, когда еще был Сталин.  
Пыльную Потылиху, торт Новодевичьего  
монастыря,  
Радость мою — детство с тонкой талией,  
В колокольном звоне — учителя...

О, я не такой уж плохой, прошлое!  
Я забыл математику да Окружной мост.  
А еще я забыл то пышное, пошлое,  
За что во всей округе поднимали тост!

Я не виноват, да и ты, наверное,  
Стало подслеповато, как Дама Пик,  
За тремя картами я хочу наведаться.  
Неужели настоящее — дабы пить?!

Прошлое! Отдай мне их, три шестерки!  
Три дороги легли на моем пути,  
Моя Муза в расстегнутой гимнастерке  
По вагонам шумит — задержи, освети!

Нет, нет, нет, я не Васнецо-  
вский витязь, этот так и не уедет от камня.  
Я знаю, прошлое, Вас в лицо,  
Забрызганное сиренью, а не синяками...

Прошлое! Дай мне три карты живой воды,  
О четвертом тузе позаботится шулер,  
Наша дама убита, но нет беды,  
Это ваш банкомет неудачно шутит!

Прошлое! У меня остался еще один туз,  
И у этого туза — лицо Церкви.  
Ну, а Даме Пик мы подарим, как груз,  
Золотые злобные звонкие цепи.

А чтобы не всплыла, старая тварь,  
Положи на нее бубнового мальчика,  
Пусть вспоминает сексуальный букварь,  
И мы поболтаем пока на лавочке...

Прошлое! Ты думаешь, я жалуясь на настоящее?  
Боже упаси, нет мысли глупей!  
Прошлое! Я жалуясь на царя еще,  
На талант свой жалуясь, на друзей...

Прошлое! Я жалуясь на тысячу истин,  
Мне ль их разбирать — Христос я, Будда, что ль?  
Прошлое! Мы все покроемся листьями  
Или обростем великим будущим...

Говорят, не пей так много водки,  
Говорят, не бей расхристанных девок.  
Где ты, мое прошлое, в розовой лодке?..  
Ничего не надо, ни слов, ни денег...

Прошлое! Я просто пришел погреться!  
Мы с тобой за чаем сыграем в штосс.  
Затонуло в розовой лодке детство...  
— Что?!

Детство, говорю, затонуло в лодке...  
Помнишь, без гранита была река-то?!  
Прошлое! Давай с тобой хлопнем водки!  
И отдай, пожалуйста, три карты!

Бережет меня Бережковская набережная,  
И царевна Софья дьяволу молится,  
А четвертый туз горько и набожно  
У Москвы-реки в зеркало смотрится...

## МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Была б жива Цветаева,  
Пошел бы в ноги кланяться —



Пускай она седая бы  
И в самом ветхом платье.

Понес бы водку белую  
И пару вкусных шницелей,  
Присел бы наглым беркутом —  
Знакомиться ль? Молиться ли?..

Пускай была бы грустная  
И скатерть даже грязная,  
Но только б слышать с уст ее  
Про розовое разное.

Но только б видеть глаз ее  
Фиалковые тени  
И чудо челки ласковой  
И чокнуться в колени.

Жила на свете меточка  
Курсисточкой красивой,  
В бумажном платье девочка  
Петлю с собой носила.

Писала свитки целые,  
Курила трубку черную,  
Любила спать за церковью,  
Ходить в пацаньих чоботах.

И доигралась, алая,  
И потеряла голову,  
Одно лишь слово б́алуя,  
Ты замерзала голая.

Один лишь стол в любовниках,  
Одна лишь ночь в избранницах,  
Ах, от тебя садовнику  
Вовеки не избавиться...

Небесному — небесное,  
Земному — лишь земное.  
И ты летишь над бездною  
Счастливейшей звездю.

Все поняла — отвергнула,  
Поцеловала — ахнула,  
Ну а теперь ответа жди  
От золотого Ангела!

Пусть сыну честь — гранатою  
А мужу слава — пулей,

Зато тебя с солдатами  
Одели и обули.

И ничего не вспомнила,  
Перекрестилась толечко —  
Налей стаканы полные,  
Зажри все лунной корочкой!

Здоровье пью рабы твоей  
Заложницы у Вечности  
Над тайнами зарытыми,  
Страстями подвенечными.

Какое это яблоко  
По счету своевольное.  
Промокшая Елабуга,  
Печаль моя запойная...

Была б жива Цветаева,  
Пошел бы в ноги кланяться  
За то, что не святая ты,  
А лишь страстная пятница.

И грустная, и грешная,  
И горькая, и сладкая  
Сестрица моя нежная,  
Сестрица моя славная.

Дай Бог в гробу не горбиться,  
Мои молитвы путая,  
Малиновая горлица  
Серебряного утра!

## **АВГУСТОВСКАЯ ФРЕСКА**

*Алене Башиловой*

И грустно так,  
и спать пора,  
но громко ходят доктора,  
крест-накрест ласточки летят,  
крест-накрест мельницы глядят.

В тумане сизого вранья  
лишь копны трепетной груди,  
зеленоглазая моя,  
ты сероглазых не буди!

Хладеет стыд пунцовых щек  
и жизнь, как простынь, теребя,  
я понял, как я много сжег,—  
крест-накрест небо без тебя!

\* \* \*

*Алене Басиловой*

Я беру кривоногое лето коня,  
Как горбушку беру, только кончится вздох,  
Белый пруд твоих рук, как он хочет меня —  
Ну а вечер и Бог? Ну а вечер и Бог?

Знаю я, что меня берегут на потом,  
И в прихожей, где чахло целуются свечи,  
Оставляют меня в гениальном пальто,  
Выгребая всю мелочь на творческий вечер...

Я стою посреди анекдотов и ласк,  
Только кончится вздох, только ревность прибудет,  
Серый конь моих глаз, серый конь моих глаз,  
Кто-то влюбится в вас и овес напридумает?

Только ты им не верь, не ходи до конца  
В тихий траурный дворик «Люблю»,  
Ведь на медные деньги чужого лица  
Даже грусть я тебе не куплю...

Осыпаются руки, идут по домам,  
Низкорослые песни поют...  
Люди сходят с ума, люди сходят с ума,  
Но коней за собой не ведут!

Снова лес обо мне, называют купцом,  
Говорят, что смешон и скуласт,  
Но стоит, как свеча, над убитым лицом,  
Серый конь, серый конь моих глаз!

Я беру кривоногое лето коня,  
Как он плох, как он плох, как он плох!  
Белый пруд твоих рук не желает понять —  
Ну а Бог?

Ну а Бог?

Ну а Бог?..

Ресницы взмахивают  
 веслами,  
 но не отплыть  
 твоим глазам...  
 Как пасынок иду за звездами  
 и никому их не отдам.  
 Моя душа — такая старая.  
 И сам уже немолодой.  
 Я — Рим с разрушенными  
 статуями.  
 И небо с розовой звездой.

## В МУЗЕЕ

Тетрадь в сафьяновой обложке,  
 в шкафу — серебряные ложки,  
 да полустертый портсигар,  
 да свечки старенькой нагар,  
 той, что стояла на окошке,  
 в ту ночь, когда все серы кошки —  
 вот, что осталось нам от бар...

Чубук с янтарным мундштуком,  
 Портрет с каким-то мужиком  
 Да канапе, обитый кожей  
 невинной, словно день погожий,  
 Ружье, ореховое ложе,  
 И мебель, только подороже.  
 ...А вдруг сидел на этом кресле  
 Полковник царский Павел Пестель?  
 А этот стул передвигал  
 Волконский, храбрый генерал?..  
 А вдруг,  
 Под гибельные речи,  
 свеча горела недалече,  
 как бы прислушиваясь... Вдруг  
 они курили сей чубук,  
 и, может, пальцы  
 генерала  
 постукивали портсигаром?

Что ж, это кажется возможным,  
 (по мыслям, истинно осторожным,  
 по их геройским именам),  
 не все навек уходит с прошлым,  
 а нам, поклонникам их дошлым,—  
 «Не трогать», или «Осторожно»,—



*Алексей Дидуров*

## **ВОСКРЕСЕНИЕ В РАЙЦЕНТРЕ**

На берегу, как говорится, волн,  
Стоял он — дум ли полон?.. — телом полн.  
Глядел: пред ним куда как нешироко  
Река неслася, и моторный челн  
По ней стремился, нос задрал высоко.

Стоящего кремпленовый костюм  
Был утеплен с испода пуловером,  
С чего стоящий мог поспорить с ветром,  
А тот ему в порыве безответном  
В прическе произвел шурум-бурум.

Туманилась майолика небес.  
Налево от стоящего собес,  
По воздуху похлопывая флагом,  
Надменно окна пялил над оврагом,  
Где жил ручей, вертлявый, аки бес.

Направо от стоящего был храм —  
Наш патриарх российских панорам,  
С недавних пор набитый экскурсантом,  
А до того дурнеющий фасадом  
В незряшном ожиданьи кар и драм.

На противоположном берегу  
Собаки лаяли на проходящий «газик»,  
Бросал в них камни маленький проказник,  
Чтоб разогнать недетскую тоску.

На берегу же этом, у волны,  
Воскресною одеждой глаз лаская,  
Молодожены сели, полоская  
Свои манатки, в частности — штаны.

По городку шатался выходной.  
Его дружина, выпив по одной —  
В виду имею здесь бутылъ, не рюмку, —  
Озвучивала пением квартал.  
Стоящий и за ней понаблюдал,  
Стоящий и о ней подумал думку.

Когда он обернулся, мгла зрачков,  
Подсвеченная стеклами очков,  
Нутро мое мгновенно просквозила,  
И тут меня немножко потрясла  
Во взгляде нищета добра и зла,  
И вместо них — хозяйственность и сила.

Прочел он сразу на моем лице  
Все о моем начале и конце,  
Зевнул, на миг открыв свои глубины,  
И отвернулся, и глаза вперил,  
Как в торжество афинское — Перикл, —  
В рай, в онный центр, им сдержанно любимый.

И я поник смятенною главой,  
И комплексов своих услышал вой,  
И разум захлебнулся в ахинею,  
Но я сказал себе (как бы ему),  
Что посторонен я, но потому  
Со стороны мне кое-что виднее!

О, да, я не любимец этих мест,  
Как и не этих, кстати, и окрест,  
И позабылось вроде чувство дома,  
Но и душа еще не так влекома,  
Блином очистив горлышко от кома,  
Принять настойки — да и на насест...

И пусть не я с поникшей головой,  
А он — и тут, и там, и бабам — свой  
По нраву, по фигуре, по натуре,  
Зато таким нужды и знака нет  
Поэму написать или сонет,  
Но дрейфить в школе на «литературе»!

Да, из сонета шубы не пошить,  
Но в шубе после смерти не пожить,  
В сонетах же живьем себя схоронишь,  
Но Лазаря попев — и воскресишь,  
И пред своей могилкой не дрожишь,  
Коли Пегаску стронешь на Воронеж!

К тому ж, ему ж, стоящему ж, как дуб,  
Я не понятен ни ногой, ни в зуб,  
А он не близок мне, но прост и ясен:  
Все индюки — настолько он прекрасен, —  
*Не думая*, к нему попали в суп!

И хорошо, что он такой стоит —  
Не взгляд, а сталь! Не нрав, а текстолит!

Какие там какие-то периклы!  
Могуче семя, коим он грешит,  
И племя, что умеет жать и жить,  
И время, что к руке его приникло!

Идет волна, а по волне — челнок,  
По челноку — почтенный ничевок,  
Сеть на шесте дрожит, готова в дело,  
Дрожит эфир над стадом за рекой,  
И я пишу дрожащею рукой —  
Дрожьмя дрожит, плутая в духе, тело...

Всегда бы так под колпаком небес:  
Кто по дрова, кто просто — в темный лес  
Восьмеркой меж трех сосен и в цезурах,  
А пастырь (вон он — кнут наперевес)  
Скот бессловесный гонит без словес —  
Не вовсе, как же-с можно-с!.. — без цензурных!..



**ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ  
ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА**

1. Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета. один пистолет я сунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство». Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на себя самого («Не убий себя, как бы ни было скверно»), но сегодняшняя скверна и сегодняшний день вне заповедей. «Ибо лучше умереть мне, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто, и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, тоже исчезли и растворились в пустотах. И в довершение от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!» — потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благословеннолонная, останься!» Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался под все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. И у себя дома, над головой, я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен.

Еще не доходя площади, я задохся, я опустил на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухла, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица». Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее, что-нибудь такое освежающее... например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает,— где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды, ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом.

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий — не помню откуда, и из всех трех разом выстрелил во все свои виски и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навывлет.

2. «Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли.— Это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот — вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «*Umnia animalia post coitum oppressus est*», то есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален, и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы). Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленнорей,— так я подумал и поступал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять,— он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят,— сказал он,— я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленнореи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: — Цианистый калий есть у тебя? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волокни все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры! Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленнорею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленнорею». А у меня, у придурка,— ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до 30 лет, я ничего не сделал бы и после 30». А я? Что я сделал до 30, чтобы иметь надежды что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (О нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя страстная неделя». Вот и у тебя.

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц! Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и вскочил с пуфика.

3. Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутылку с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

- Более махрового, более одиозного — тоже нет?
- Махровее и одиознее некуда.
- Прелесть какая. Мракобес?
- «От мозга до костей», как говорят девочки.
- И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?
- Сгубил. Царствие ему небесное.
- Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?..
- В какой-то степени — да.
- Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?
- Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.
- И всю жизнь, и после жизни — никакой известности?
- Никакой известности. Одна небезызвестность.
- Да, да, я слышал («Погоди, Павлик, я сейчас иду»), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо: об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, «простер совиные крыла», Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, «не та беда, что ты поляк», Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, «по Невскому бежит собака», Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.
- Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутылку с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по значению, ни по размерам, ни по досягаемости».
- Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы Белы Борисовны Савнер, женщины с дивным... («Погоди, Павлик, я сейчас иду».) Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?
- Решительно всех.
- И переплюнул?
- И переплюнул.
- Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я уйду.
- Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.
- Спокойной ночи,

Я раскланялся, поблагодарил за цыкату и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4. Сначала отхлебнуть цыкаты и потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цыкаты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина:

«Книга должна быть дорогой, и первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать», — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки — суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь шла не о развратницах книгах, а просто о развратницах:

«Можно дозволить очищенный вид проституции для «вдовствующих замужних», то есть для того разряда женщин, которые не способны к единобрачию, не способны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развратными ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен, для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?» «Томится моя душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». У обскуранта — и вдруг томится душа? «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже поэтому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем говорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы «о чем говорить».)

«Только горе открывает нам великое и святое». «Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжело, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в соб-

ственном смысле? Никогда». «Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может». «Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех от Калибека, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет, никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир,— вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»):

«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишко, не Спенсеришко в двадцати томах, не ваш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем давно надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые, вместо того чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом:

«В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их «философия и публицистика». «Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водичке какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но не унывает. И опять закидывает».

И об «основателе политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного натурального и высокого помысла — только бы накопить денежку или прочитывать кому-нибудь рацею. Он, будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом ползучем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и брэнная тоже уснула.

5. И когда духовная проснулась, брэнная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно:

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело, но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абадонну, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абадонне.

(А я все лежал на канаве, переминаясь с ноги на ногу и наблюдал.)

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицы «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она глазом не повела), а всем остальным вдумчиво роздал по подзатыльнику. («О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и пошел ко мне в избу с кучей старинных монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся с канаве и шепотом спросил:

— Неужели это интересно — дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь до сих пор? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с б...ми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне вчера было скверно. «Книга, которую дали читать...» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть лучше. А вот вчера мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретисшем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...

Меня прорвало, я на память пересказал весь свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсасы», о Шеривале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея, о половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системы в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, постоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канане. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осавиахине, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к измаильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к измаильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен этому всему? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старец Лаван, во всем изверившийся, клялся дочерьми, не зная,



что еще можно избрать предметом? А есть ли у кого-нибудь из нас во всей России хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерью?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6. И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменялось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вдоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбредлись по заграницам, еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работающие. Г...а нет и не пахнет им, остались бриллианты и изумруды. Я один только — пахну. Ну и еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кашей почему-то бессмертен. Всякая их идея непреходяща, им должно расти, а нам умяляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, для мерзавцев...

— О, не продолжай,— сказал мне на это Розанов,— и перестань нести околесницу...

— Если я замолчу и перестану нести околесницу,— отвечал я,— тогда заговорят камни. И начнут нести околесницу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот, Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это по меньшей мере некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние, русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десяток мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и то только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка...

(«Хо-хо! — сказал собеседник.— Отменно».)

— И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут,— говорил Дарвин,—

но кретины никогда не проливают слез». Значит, они кретины, а я прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора, как моя легкая придури от их глубокой при...нутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и не-сказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукою яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давась от слез. А поговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7.— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься вначале о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и тягчить себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть место и для твоей (как ты сладостно выразился?) «при...нутости». «Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того: «Мы часто бываем неправдивы: чтобы не «причинять друг другу излишней боли». Он же постоянно правдив. Благо тебе, если ты увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? А — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выпренности», все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и повернуть в нежную идею». «Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канapé и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно и не с Василия Розанова, он только распалил во мне надежду. У меня началось еще лет десять до того — все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помой, перепол-

няло чрево и душу и просилось вон — оставалось прибесть к самому проверенному из средств: изbleвать это все посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если б он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитезируется?

Я ответил бы: «Чувствую. Теитезируется».

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и бляенье, бляенье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве новых образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. «Неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канаве Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя? О вздохе, о свиньях?

«Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь». Мы — святые, а они — корректные. К вздоху Бог придет. К нам — придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

8. а где терновый венец и гвозди, и мука.

И если придется, я защищу это все, как сумею.

А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сфере повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается

на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу, негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случилось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незабываемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застила глаз.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозго...ателей вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто успеть *донести свои башмаки*. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же не можем быть искушены во всех грехах — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от *той, гигантской лжи* (все дурни знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мяснст, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, за...кам, отвечу так: «Ну так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановое хамство. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его где-нибудь. Ну как может пахнуть изо рта человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова, — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе, от юности до смерти, прочно стоял монастырь — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунштюки и забавы? И почему бы не

позволить экскурсии в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там не говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим или не зависящим от нас причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы, — каждая тамошняя собака его знала, а надо, чтобы помнила каждая собака.

9. Короче, так. Этот гнусный, ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше ни меньше — честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопы, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салопы и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молл. До тридцати лет, после тридцати лет — какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди!

Хо-хо, пускай мы всего-навсего г...о собачье, а они брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навывторяют дел паскуднейших, чем натворили, — я это тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот-вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в

разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше от темени до подошвы ног!» («Прелестная формула!»)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дому, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях, — будьте прокляты!

На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты. Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы готовы растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта про...дь Снегурочка, — если согласны, я снимаю с вас все проклятия. Меньше было б заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну да разве вас уломаешь, ублюдков?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем, в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами, и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?» «Благосклонны», — ответили созвездия.

## Виктор Ерофеев

### БЕРДЯЕВ

В овраге лаяли собаки, почуя свободу. Их свора кружила петлями. Собачники, собравшись в кучу, крутили в руках поводки, курили, хлопали в рукавицы. Остерегаясь осатаневших на выгуле псов, я взял влево, минуя овраг, и заплутал в темноте. Пока я месил снег по закоулкам заиндевевшей рощи, меня охватили сомнения, мне грезились сумрачные картины, я две недели простоял посреди квартиры в распахнутом шлафроке, простирая вверх руки, под вой полнотелой жены Доротен и угрюмые взоры моих белокурых детей, похожий на турка, разоружившегося до безумного страха и наготы, браня себя за свою малодушную слабость к демисезонному гению Круглицкого, в чьем голосе звучали такие дружеские обертоны, что я не выдержал и тотчас согласился, несмотря на то что на исходе моей двухлетней болезни, накануне (как мне мерещилось) выздоровления, мне надобно было соблюдать осторожность: я затаился, как мышь, ушел с головою в частную жизнь, стал совсем бьюком.

Круглицкий передал трубку незнакомой мне хозяйке, устроительницы широкой масленицы, и та взялась столь многословно и нехудожественно описывать дорогу к дому, расположенному от моего на расстоянии всего лишь утреннего моциона, что я заподозрил ее в топографическом крестинизме и, увы, не ошибся. Она мне сразу не понравилась, эта Наталья, и мнение о ней я не переменял позже, когда познакомился и увидел ее призывные, вывернутые наизнанку губы, напоминающие полковую трубу, худосочную задницу, в которую впился вельвет, ее манеру танцевать соло перед своим отражением в темном окне, когда услышал, как из нее со строгой регулярностью и женским шиком вылетают ядреные словечки, которые она наловчилась произносить таким очаровательным образом, что они выглядели, как ощипанная дичь. Лишенные пуха и перьев, они производили скорее всего гастрономическое впечатление, во всяком случае, не пахли скотным двором, однако в их ощипанности заключалась какая-то особая неприличность, свойственная виду целиком зажаренного курчонка. К этому добавьте, что вместо трепета перед ее фамильной принадлежностью я ощутил смутное раздражение, ибо в деятельности ее давно позабытого, однако, как выяснилось, еще живого отца мне неизменно виделась не забота о пользе отечества, а спесь зарвавшегося фаворита. Помню, как в дет-

стве я созерцал его однажды в родительском доме, за праздничным столом, по правую руку от моей матушки, молодой декольтированной именинницы, помню, как прожорливо ел он руками лакомые куски индейки и поминутно брался за фужер, оставляя на нем виноградины своей дактилоскопии и отпечатки губ, доставшихся Наталье, как, оттянув мизинцем рот, он сладострастно ковырял зубочисткой в отдаленных зубах, словно наводил порядок в отдаленных губерниях, а позже, отяжелев, задремал над десертом. Матушка моя заступилась за него перед онемевшими гостями, объясняя его похрапывание государственной значимостью дел, и я вспоминаю также, как всего через полгода, когда он был уже полностью похерен, матушка сильно негодовала, повествуя про его обжорство и храп...

Это воспоминание вертелось у меня на языке, когда Наталья уверяла нас с Круглицким в том, что ее отец *все понимает* и что постигшая его немилость явилась началом наших общих тревог, причем Круглицкий с важным видом кивал головой, но я промолчал, больше того, я тоже кивнул за компанию, будто сочувствовал поверженному вельможе, прослывшему за буйность затей *реформатором*. Бог с ней, с Натальей, мне не жалко было и кивнуть, в конце концов мое разбитое корыто ничем не лучше ее, а кроме того, я вовсе не исключаю возможности, что к *последующим событиям* она не имела прямого отношения... хотя как хозяйка... не знаю... как знать!..

Моя подозрительность издавна знала границы, хотя бы приблизительные границы. Я посмеивался над несчастными дураками, которые видели во всяком подгулявшем мещанине, попросившем у них на улице прикурить, угрозу и предостережение. Я посмеивался; я ограничивал сферу ваших угроз лишь неотложными делами; истории о ваших посланцах, приветях, отравленных папиросах, недремлющем оке и прочие шехерезады встречались мною с недоверием, если не сказать в штыки, ибо, Ваше Снятельство, моя память не была вашей союзницей точно так же, как не была она союзницей реформатора. Мне не пристало творить миф на основании вашей особы по причине хотя бы семейной хроники. Должен заметить, что моя матушка, у которой в этом исключительном случае женское чувство с неизменной ретивостью торжествовало над табелью о рангах, зачастую пренебрежительно отзывалась о вас, несостоявшемся женихе, о вашем чопорном волокитстве, выпрених сердечных записочках, полных орфографических ошибок и неуместных галлицизмов, о вашей амурной коллекции, в которой (до недавнего, во всяком случае, времени) хранились ее заколки и тщательно разглаженные фантики от скушанных ею конфет, подобранные вами украдкой на балах. Вы были, разумеется, престижной и выгодной партией, но бабушка наша, что вы слишком молоды и вам не хватает «финесс».



Потом, когда вы сошлись с отцом и ласково трепали меня по затылку, наведываясь в наш дом на правах друга, мне довелось не раз слышать (и это тоже шло не на пользу мифу), как вы недовольны своими ангелами, как, напустив на себя шутливо-брезгливый вид, вы бранились, описывая этих лентяев и олухов, как напряженно хохотал мой отец, внимая вашей конфиденциальной болтовне...

Но с тех пор как, воспылав гневом, вы утратили телесную оболочку, многое изменилось. Два года назойливых диалогов не прошли даром. Два года я вел с вами, граф, непрекращающуюся беседу, два года, стоило мне прикрыть глаза, лечь на диван, отойти к окну, как казенный Юпитер нисходил ко мне сухим словесным дождем, и, замерев с ложкой щей на весу, с намыленной головой или на лыжной прогулке, я снова и снова усаживался напротив вас, и собеседники пускались в разговор, который чем дальше, тем больше превращался в состязание по мастерству отвлечься от собственной сущности. Virtuозы, мы устанавливали рекорды, мы отвлекались до такой степени, что превращались в аллегорические фарфоровые фигурки животных из басен дедушки Крылова, о склонности которого к обжорству, как вам, должно быть, известно, также шла речь за столом в ту широкую масленицу, куда я попал, проплутав по роще, с непредвиденным опозданием, так что, когда я вошел в дом, Круглицкий уже тревожился о моей судьбе, ел блины с красной рыбой и хлестал водку. Пиршество было в разгаре. Мы с Круглицким шумно обрадовались встрече и трижды облобызались, как старые товарищи; немногочисленное общество с почтением отнеслось к нашим поцелуям, и некоторое время они хранили меня, как охранная грамота. Наталья, пряткая хозяйка, немедля наложила мне гору блинов, Круглицкий плеснул от души штрафную порцию водки, и, чокнувшись со свиданьем, мы разом запрокинули головы, и Наталья на выходе выкрикнула:

— Египетская сила!

Наши беседы протекали разнообразно: то вы бывали любезны и оказывали мне всяческие знаки внимания, вплоть до того, что однажды поднесли горящую спичку, когда я вынул сигарету, и я рассыпался в благодарностях, то дело вдруг начинало «пахнуть Сибирем», если принять во внимание Розанова, которого Юлия, это меня не удивляет, *терпеть не могла* (ах ты, моя птичка!); ветер менялся, и ваше лицо, потемнев, приобретало скупой аскетический вид; я нервничал, я завирался, юлил, но буря волшебным образом удалялась, и вновь, почти дружески, мы принимались обсуждать глобальные вопросы жизнеустройства. Тогда, жмурясь от сладкой надежды, восхваляя ваше милосердие и снисходительность, нетвердым голосом друга порядка я вас увещевал, что косметические, дескать, поправки нужны не для нарушения статус-кво, которому, поверьте, я нераз-

дельно принадлежу, а во имя, поверьте, патриотических соображений, и мне казалось, что в вашем молодцеватом лице я на мгновение угадывал нечто, похожее на колебание или даже сочувствие. Воодушевленный этим знамением, я давал волю моей элоквенции, увлекался и понемножку наглед... А вы смотрели угасшим взглядом, вы осаживали меня и давай распекать, как юнца, за неразборчивость моих знакомств, за каких-то сомнительных полячков, жидов, мадьяров, зачистивших ко мне в прошлом месяце.

Я столько душевных сил отдал этому диалогу, что порою начинал роптать на себя, на вас, на *все*: «Господи, — роптал я, — *на что* уходят лучшие годы моей жизни?!» И мне хотелось стремглав броситься из дому, где Доротея вконец извелась от моего хронического молчания и по всякому поводу и без повода испускала свое излюбленное шипение: чччерт!.. Я бежал от своих белокурых двойняшек, бежал через город в родительские апартаменты, в обстановку сгущающегося испуга и увядания, чтобы, вломившись в спальню, с порога прокричать моей постаревшей, занедужевшей маме: «Мама! Ну, и угораздило же тебя, мама, родить меня, мама...» — Ну и так далее... весь этот зареванный плагиат, которым вы, разумеется, не преминули, не без ехидства, меня попрекнуть, намекнув на нескромность, в наш последующий разговор, и я согласился: сравнение не годно, но что же делать, коли Провидение пускает нас всех, *от мала до велика* («отвечайте за себя!»), хорошо, то есть меня, кружить, как заводной паровозик детской железной дороги, по кругу, по кругу, по кругу!..

Но как тут выкрикнешь, вымолвишь — на пороге родительской спальни, в обстановке сгущающегося испуга и увядания — когда мама, заметя меня сквозь очки, приспособленные для чтения французских романов, отложит поспешно книгу и, чувствуя мое волнение, поспешно спросит: «*Опять* что-то случилось?» «Мэ рьен, — как можно более беззаботно отвечу я, — мэ рьен дю ту!.. Скоро масленица, мама!..» И мама скажет: «Зачем связался ты с рванью и шушерой? Зачем нужны тебе всякие эти круглицкие?» И вы, граф, поддакнете из-за кулис: «В самом деле, зачем?» — Ну, как не поддакнуть? У вас на Круглицкого зуб. Всем памятны его гениальные строки, которые кружили во многочисленных списках:

**ВАШЕ СИЯТЕЛЬНОСТЬВО! КАК ВАМ СИЯЕТСЯ?**

**КАК ВАМ СМЕРКАЕТСЯ, ВАШЕ СМЕРКАТЕЛЬНОСТЬВО?**

Официозный пародист, некая мразь, вроде Нестора Кукольника, пытался ослабить впечатление апокалиптического заката, превратить все в шуточку. Он написал игривую вещицу:

**КАК ВАМ СМОРКАЕТСЯ, ВАШЕ СМОРКАТЕЛЬНОСТЬВО?**

Но общество не удалось объегорить. Списки кружили. Скоро все повторяли:

**ВАШЕ СИЯТЕЛЬНОСТЬВО! КАК ВАМ СИЯЕТСЯ?..**

Круглицкий имел неприятности. Его потянули. «Мы вам не позволим разгуливать в непризнанных гениях!» — «Сделайте меня признанным!» — нашелся Круглицкий. Я подждал его на крылечке. Все это он сочинил позже, но все равно остроумно.

— А Филонов был тогда на крылечке, — указал на меня Круглицкий. Барышни мне завидовали. Передо мною проплыло белое, мокрое лицо Круглицкого, бессмысленный взор, и я сказал:

— Выпьем!

И мы выпили, и стали просить Круглицкого почитать.

— Круглицкий, пожалуйста!.. — просили барышни.

Он не стал ломаться, сказал, что прочитает ОДНО, потому что больше не хочет, а это посвящено масленице. Барышни закричали:

— Как же! как же!

И Юлия, забегаая вперед, произнесла:

**МЫ ЗАПАСЛИСЬ МУКОЮ И ТЕРПЕНЬЕМ...**

— Ну, вот, сама и читай, — сказал Круглицкий. Все запротестовали, и Юлия — первая, прикусив язычок. На ней было красивое муаровое платье, достаточно широкое и длинное для того, чтоб сидеть, беззаботно раздвинув колени, как это нынче принято среди парижанок, обожающих расслабляться. Но в отличие от парижанок Юлия не только не расслаблялась, а, напротив, все время ерзала, не находила места ни рукам, ни ногам, отчего ее платье по-особому шелестело, и на щеках горели пунцовые пятна.

Испитой апостольский лик Круглицкого озарился умлением — он стал читать... Наизусть не помню, номер квартиры тоже позабыл, но смысл доношу до вашего сведения, не расплескав и с попутными комментариями, влекомый его волшебной тлетворностью.

Мы запаслись мукою (с ударением на о, но намек несомненен) и терпением (это уже прямо). Даже янтарную семгу и то раздобыли! (намек на снабжение). На исходе зимы, когда, дескать, плечи устали от обузы шуб, сохранивших в холода наше убогое тепло (при обсуждении стихотворения хозяин дома, с модной бородкой, по имени Леша, во всем остальном оставшийся для меня полнейшей энигмой, выразил удивление, почему, мол, тепло *убогое*? Барышни брались ему доказать, почему, но он, удрученный, *повторял, что тепло не убогое*, что это чуть ли даже не оскорбление *нашему движению* и так, товарищи, нельзя. Круглицкий вместо всякого комментария с удовольствием съел блин и потребовал от хозяина завести любимую пластинку его молодости «Падают снег», на чем дискуссия завершилась; итак, когда плечи устали от обузы шуб, сохранивших в хо-

лода наше убогое тепло, уберегших нас от происков инфлюэнций, когда шея в последний раз сгорает в шерстяных объятых, когда свитера светятся на локтях, а носовые платки слипшимися комочками лежат во всех карманах (этот антиэстетический элемент составляет одну из особенностей поэзии Круглицкого и иногда выражен гораздо сильнее, иногда чересчур резко, но здесь он мне нравится), итак, когда... когда... тогда, друзья мои, как хороши блины! Их кружево (или их кружева, не помню точно) достойно возлияний!

Вслед за этим смысл стихотворения все больше приобретает аллюзивный характер и сводится к тому, что, как бы ни растягивались сроки, какими бы ничтожными ни были наши шансы на выигрыш, как бы нам вообще ни опостылел этот ипподром и это низкое небо, нахлобученное нам на глаза, словно шапка, и эти безутешные бега, где на какую лошадь ни поставь (сбиваюсь, чувствую, на стихотворный ритм), — она споткнется: кот в мешке и тот бежит проворней — все это так, но так ли это или иначе, календари не врут, на пороге март: он обещает ростепель и перемену.

Стихотворение содержит убеждение поэта в том, что перемены коснутся всего, только не чувства любимой к поэту, и завершается очень изящной лирической концовкой: они вместе стоят и смотрят, как текут ручьи и лопаются почки.

— Египетская сила! — прошептала потрясенная хозяйка Наталья.

— *«И кот в мешке бежит проворней...»* — процитировал я. — Удивительная строка!

— Как будто только одна строка! — огрызнулась Юлия.

Как правило, я готов пожертвовать истиной ради соблюдения светских приличий, но, понимая, что в данном обществе светское приличие состоит в его нарушении, я оставил в стороне светские ухватки и легкомысленно разоблачился в последующем суждении: я сказал, что аллюзивная часть сочинения мне *показалась* меньше, потому что слишком затянулись сроки, то есть они настолько затянулись, что когда начнется *ростепель*, потекут ручьи и лопнут почки, то на это замечательное явление природы будут взирать не молодой поэт и его пламенная подруга, а совершенно выжившие из ума старик и старуха, с клюками, редкими волосьями и пигментными кляксами на лице и руках, если не сказать — два скелета, две мощи, так что, заключил я, хитрость метеорологических аллюзий сводится к нулю, раздавленная сроком ожидания.

Круглицкий издал неопределенное восклицание. Все три барышни смотрели на меня насупившись. Тогда хозяин с бородкой по имени Леша высказался в том смысле, что тепло не убогое и как понять образ шуб, на что Круглицкий сказал, что ему хочется послушать граммофонную пластинку, где «Падает снег»... Он пригласил свою даму, молчали-

вую барышню с *очень огромным лбом*, я никогда прежде не видел барышни с таким лбом, и повел ее танцевать, а хозяйка посмотрела им вслед и сказала:

— Египетская сила!

А Юлия сказала:

— Я люблю, когда Круглицкий сентиментален. Это ему идет.

А я ничего не сказал. Я откусил сухой блин и промолчал. Я подумал, не уйти ли домой, но тут Круглицкий кончил танцевать, присел ко мне, и мы завели с ним сепаратистский разговор о наших прежних товарищах и подругах, и мы радовались, что наши мнения часто совпадают, и гоготали до неприличия, если удавалось сказать что-нибудь колкое. Когда я заметил, что у Федора вследствие пьянства голова стала «троить», Круглицкий загоготал так оглушительно, что молодая хозяйка, танцуя соло перед своим отражением в темном окне, сочла, что это над ней, и прекратила танец. Юлия, упершись пунцовой щекою в кулак, курила и делала вид, что ее ничего не касается, но тут она тоже не выдержала и спросила, над кем это мы.

— Над Федором,— охотно откликнулся пьяноватый Круглицкий.

— Что в нем смешного? — резко спросила Юлия.

— Он находит,— сказал Круглицкий, кивнув на меня,— что у Федора голова «троит».

— Что это значит — «троит»? — спросила Юлия, принципиально обращаясь не ко мне, а к Круглицкому.

— Пусть он тебе сам объяснит,— сказал Круглицкий, по-моему смутно представлявший себе, что это значит.

— Это значит,— сказал я, обращаясь к барышне,— это значит, барышня, ну, как бы вам объяснить? Вы знакомы с устройством двигателя внутреннего сгорания?

— Я не понимаю,— взволнованно сказала Юлия,— какое отношение имеет Федор к двигателю внутреннего сгорания! Вы говорите о нем, словно как не о живом человеке!

— Да вы не горячитесь! — воскликнул я.— Уверю вас, что я отношусь к Федору, во всяком случае, не хуже, чем вы.

Тут Круглицкий наклонился ко мне и, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, стал горячо и неразборчиво шептать мне в ухо, что, дескать, хуже, поскольку Юлия была федоровской любовницей в течение года, и Юлия, конечно, поняла, что он мне шепчет, и сделалась совершенно пунцовой. Дабы сменить тему, я спросил у Круглицкого, что случилось с Мишелем, приятнюю коего он весьма дорожил.— Как, ты не знаешь?! — Нет! — встревожился я... Круглицкий сообщил печальную весть.— ...Твою мать! — непроизвольно вырвалось у меня.— Когда?! — Да ты что? — вылупил глаза Круглицкий,— На каком свете ты живешь?

Этой новости сто лет! — Это Марья Николаевна отомстила! — выкрикнула Юлия. — Это она! — Да, ну! — усомнился Круглицкий. — Откуда ты знаешь? — А вот и знаю! — шумела Юлия. — Она хотела ему отдаться, а он с испугу послал ее подальше... — Пойдите. Какая Марья Николаевна? — спросил я. — Ну, эта! — сказал Круглицкий и ткнул в потолок. — Ах, эта... — сообразил я. — А я бы, — блеснул глазами Круглицкий, — на месте Мишеля отоварил бы ее разок, а потом хоть в рудники! — Может ли трус быть хорошим поэтом? — риторически отозвалась Юлия. — Может! — развязно утверждал я. — Вы считаете, что Мишель был хороший поэт? — Как вам сказать? — я покосился на Круглицкого, но тот, подлец, сохранял нейтралитет. — По-моему, он был относительно хороший поэт. — Относительно чего? — спросила Юлия. — Относительно Байрона? — Круглицкий захохотал. — А самую лучшую строчку он все равно слямзил у Бестужева! — фыркнула Юлия. — В нем так и осталась эта шотландская накипь, — рассердился Круглицкий, — этот шотландский перегар дешевого виски. — Он помрачнел и добавил: — Жаль его.

От Юлии, как от трамвайной дуги, летели во все стороны искры. Разговор, как водится, зашел о Кюстине. Я позволил себе несколько критических замечаний. Юлия высмеяла меня как квасного славянофила. Юлия набросилась на Розанова, потому что тот ничего не понял в Христе. Мы сцепились с ней, но не потому, что Розанов ничего не понял в Христе, а по поводу равенства. Юлия кричала, что все люди равны, а стало быть, нужна конституция и республика. Я сказал, что конституция, должно быть, необходима, но что до республики народ, пожалуй, еще не созрел. — Как? Вы не верите в народ? — негодовала Юлия. — Народ — не икона, — ответствовал я. — На него нечего молиться. — Ну, это ты зря! — рассудил Круглицкий. — Я молюсь на народ! — Bravo! Bravo! — крикнула Юлия. Хозяйка тоже приняла участие в споре, очень горячилась и все повторяла: — Бедный народ! Бедный! Бедный! — Поставь еще раз «Падает снег», — обратился Круглицкий к Леше и снова пошел танцевать с лобастой. — Когда наконец сделают реформу орфографии? — негодовала Юлия, обращаясь к хозяйке. — Как надоели все эти «яти» да «еры»! — И уж тем более «ижицы»! — подхватила Наталья. — А мне нравятся «ижицы», — икнул, танцуя, Круглицкий. — Правда, клевая буква? — спросил он меня. — Мне вообще все буквы нравятся, — сказал я шутливо. — Приспособленец! — крикнула мне Юлия. — А вы, — бросил я ей в ответ, — начитались грошových брошюр европейского коммунизма и думаете, что poznali истину! — Да! — надменно сказала мне Юлия. — Представьте себе, я — коммунистка! — Настоящие коммунистки, — взорвался я, — не пьют шампанских вин и не жрут шоколадных конфет! — Много вы знаете! — крикнула

Юлия.— Это не запрещено Эрфуртской программой! — Она демонстративно осушила бокал шампанского и сказала презрительно: — Стукач! — Только без личностей! — всположился хозяин дома по имени Леша.— Я вас попрошу, товарищи... без личностей! — Он мне не товарищ! — воскликнула Юлия.— Перестань! — заступился за меня Круглицкий.— У него тоже были неприятности.— Замолчи! — крикнул я.— Его чуть было не сослали в Вологду! — добавил Круглицкий.— Да ведь не сослали! — захохотала Юлия с совершенно пунцовыми щеками...— Ты помнишь, Круглицкий, как мы ездили в Вологду? — Федор фотографии сделал,— сказал Круглицкий,— как мы пикниковали. На одной у тебя трусики видны.— Он захохотал и налил себе рому. Его окурок упал на инкрустированный столик и прожег инкрустацию. Наталья побледнела, но не проронила ни слова.— Подумаешь! — сказала Юлия.— Мне нечего стесняться. У меня красивые ноги.— А трусики еще красивее! — не унимался Круглицкий.— Американские! — хихикнула Юлия.— Слышали? — спросил Круглицкий,— Бердяева тоже в Вологду сослали.— Говна пирог! — отрезала барышня с *очень огромным лбом*.— Он тоже против равенства,— ликовала Юлия.— Может быть, и он тоже,— сказал я,— но я не люблю Бердяева! — Не любите? — живо откликнулась Юлия и посмотрела на меня с неожиданным дружелюбием, будто сразу мне все простила.— Он вообще парень исплохой,— заверил ее Круглицкий заплетающимся языком.— А говеть вы будете в пост? — весело спросила меня Юлия. Я струсил и не знал, что ответить. Я так и ответил: — Не знаю...— Она захохотала с подфыркиванием.— Ты бы ее лучше танцевать пригласил. Ей танцевать хочется,— сводничал Круглицкий.— Глупости! — крикнула Юлия.— Только попробуйте! Я вам откажу! Как же это вы не знаете? — вернулась она к говению.— Я равнодушен к обрядам,— объявил я.— Однако в Пасху охотно ем кулич, на Рождество — гуся... Но когда религия обращается против потребностей моего желудка...— Какая пошлость! Прекратите немедленно! — Все посмотрели на меня с осуждением.

Я понял, что дал маху, не *вписался* в религиозный контекст и заторопился домой. Круглицкий тоже надумал ехать.— Ты ведь ночуешь у нас! — с обидой вскричала дочь реформатора.— Нет-нет. Я еду! — Он порывался встать.— Куда? — ласково спросила лобастая приятельница.— Я вообще еду! — возвестил Круглицкий. Все замолкли, сраженные новостью.— Не спеши! — осторожно посоветовал ему я.— Хочу на свежий воздух! — зарычал Круглицкий.— Я блинов переел! — Он стал напяливать свой овечий тулуп.— Ты похож на Пугачева,— заметил я.— Милый! — растрогался Круглицкий.— Только ты один меня понимаешь.— Он обнял меня и спросил: — Ну, как ты поживаешь? — Моя опала, кажется, *опала*, — шепнул я ему.

Для революционеров мы все были одеты богато.

На улице Круглицкий совершенно ошалел от свежего воздуха: стал задыхаться, кашлять и часто рыгал. Лобастая, недолго думая, схватила его под руку и поволокла обратно в подъезд.— Он, наверное, скоро умрет,— сказала Юлия со слезами на глазах.— Он живет на разрыв аорты.— По-моему,— сочувственно кивнул я,— ему захотелось блевать.— Он скоро умрет,— настойчиво, не слушая меня, повторяла Юлия.— Мы все скоро умрем,— сказал я.— Нет! — сказала Юлия со злобой.— Вы-то долго протянете, вы еще долго будете коптить небо, как головешка!

Несмотря на обиду и идейные разногласия, мы вошли в рошу. Под ногами хрустела корка подтаявшего днем снега. Юлия шла впереди, по узкой тропинке, вытопанной за долгую зиму. Воздух был особенный: хотя и холодный и колючий, но обволакивающая лицо влажность (казалось, пройдя через рошу, мы выйдем не в город, а на море, к серым балтийским волнам) смягчала его, обещала весну.— За что вы меня невзлюбили, Юлия? — Не отвечая, она продолжала идти, но через несколько шагов так внезапно остановилась, что я чуть было не палетел на нее: — А вы думаете, что всем должны нравиться? — И, не ожидая ответа, пошла дальше.— Это ты думаешь, что всем нравишься,— бормотал я, поспешая за ней.— Красивые ноги! Ноги как ноги. Видали и лучше. Или думаешь, что тебе идет твоя челка? Дрянь челка! Челка тебе придает глупый, какой-то песий вид! А то, что ты была любовницей опустившегося, спившегося Федора, тоже чести тебе не делает. Небось сама ему ставила? Эх, ты, Марья Иванна!..

Безлюдный проспект. Здесь, как всегда, ветер.— Не люблю я эти новые районы,— поморщилась она.— А вы где живете? — В Кунцево.— Тоже мне старый район! — Конечно, старый! — Не знаю,— я пожал плечами,— не нравится мне ваше Кунцево. И никто вас туда не повезет.— Посмотрим! — сказала она с вызовом. Мы стали ловить и смотреть. Машины изредка останавливались, но никто не хотел ехать в Кунцево. Несмотря на ветер, меня согривало странное злорадство.— Ну, чего вы стоите? — сказала она, хлопнув дверцей очередной машины.— Идите! Идите! Прощайте! — Не беспокойтесь,— мрачно ответил я, кутаясь в шарф.— Какой у вас, однако, красивый шарф! — сказала Юлия. Я сделал движение, которое она поспешила превратно истолковать.— Вы что? Этого не хватало! Нет уж! Нет уж! Я знаю ваш тип! От скуки решили побаловаться революцией, поиграть в благородные чувства, но обожгли себе пальчики и заскулили...— Бог с вами! Какой я революционер! Вид взбунтовавшегося мужика мне отвратителен, а что до матерьялизма, то он пахнет колбасой с чесноком...— С вами все ясно,— прищурилась Юлия.— После революции мы вас повесим вон на этом фонаре. Будете дрыгать нож-



ками.— Она подняла голову и осмотрела фонарь.— Сделайте милость! — Но она не слышала меня, бежала к машине, мило улыбалась, щебетала, торговалась и разочарованно хлопнула дверцей.— Не желают, видите ли...— сказала она, кривя рот.— Отчего вы такая кровожадная? — Я не кровожадная! Но вас бы с удовольствием повесила. И так бы повесила, чтобы вы еще помучились перед смертью! — Я не выдержал и расхохотался.— Вот что,— предложил я, хохоча,— покуда вы меня не повесили, давайте я отвезу вас!

Не буду описывать того, как глумилась она над моим предложением и как с еще большей страстью махала рукой, бросаясь под каждую машину. Мне интересно, граф, что бы вышло, если кто-либо взялся везти ее в Кунцево. Неужели исключено? Неужели и этот элемент был заранее согласован и отрепетирован? Да что же это за операция во вселенском масштабе! — Уж не кокетничать ли вы со мной принялись? — сухо спросила она.— На этот счет будьте покойны,— столь же сухо ответил я.

Мой дом в пяти минутах ходьбы. Мы шли быстро и молча, как посторонние люди, пока она вдруг не заметила: — Я поняла, почему вы не любите Бердяева. Так копия, список не любит своего оригинала.— Готов опровергнуть ваше мнение,— сказал я,— но вы сочтете, что мною говорит оскорбленное самолюбие. Впрочем, думайте, как хотите! Бердяев во главу угла своей философии ставит понятие свободы. Оно у него выше понятия Господа Бога! Свобода, согласитесь, Юлия, есть привилегия сильной личности. Я же во главу угла поставил бы слабость — я исповедую *философию слабости*, однако у меня нет ни малейшей амбиции ее популяризировать.— И слава Богу! — сказала Юлия.— Иначе бы вышла одна из самых гнусных разновидностей реакционной философии.

Мы подошли к дому. Мой призывно-красный, заляпанный грязью последней оттепели автомобиль стыл на ветру.— Ах! ах! — разахался я, шаря по карманам. Я объяснил, что ключи от машины лежат у меня в квартире.— Я здесь подожду,— отозвалась Юлия.— Помилуйте! Вы и так продрогли на ветру...— Не в моих правилах тревожить в третьем часу ночи покой совершенно чужой мне семьи,— с гоном заявила Юлия. Настал деликатный момент. Жена моя Доротея вместе с обеими белокурами девочками заночевала в гостях у тещи. Сказать, что *они* дома или что их нет,— одинаковая лажа. По дороге от фонаря до Бердяева я был занят этой задачей, но реплика Юлии отвлекла меня.— Впрочем, вот что...— она замялась, но продолжала без робости: — Вы не позволите мне воспользоваться вашим сортиром? — Что за вопрос! — вскричал я, внутренне ликуя и славословя нигилизм, предоставивший ей уникальную возможность столь дерзко заявить о своей нужде,— Ну, разумеется, ради Бога!

Зеркальный ассансер плавно поднял нас на этаж.

Включив свет в передней, я приложил палец к губам и, намекая на семью, промолвил: тсссссс! Юлия сбросила шубку мне на руки и, взглянув на меня с некоторым недоумением (будто ей было известно, что, кроме нас, никого нет!), на цыпочках, стараясь не задеть каблуком о паркет, направилась в туалет, который она на революционный манер назвала сортиром. Вы знаете, граф, в эту минуту она была недурна собой, ей-ей, недурна, хотя не думайте, что я был очень уж очарован. Признаться, пока она кралась по коридору, я даже не знал, что с ней дальше делать. Вы, верно, спросите, по какому такому капризу я принудил ее к променаду на цыпочках. Объясню. Я заботился о ее комфорте, я не хотел, чтобы она стала нервничать прямо с порога и, справляя нужду, лихорадочно составлять план бегства. Не дай Бог, ей пришлось бы в голову забаррикадироваться! Я в некотором роде гуманист, граф, да, в некотором роде!..

Как только защелкнулась за ней дверь, меня не стало, вместо меня в передней стояло большое трепетное, словно лист банановой пальмы, УХО, не проронившее ни единого звука, доносившегося оттуда. Я слышал, как шелестнуло ее платье, подброшенное вверх безотчетным, как морганье ресниц, пленительным движением, я слышал, как пискнул о кафель каблук, ища равновесие телу, подававшемуся вперед, и я почувствовал — вплоть до мурашек — холодок стульчака, к которому чуть-чуть прилипает тесто плоти, и я *увидел*, как опершись скулами о ладони, она прижала пальцы к вискам (сверкнул дешевенький сапфир), и взгляд ее устремился не по какому-то неписаному шаблону блуждать с бессмысленной сосредоточенностью по вишневым кафельным крапинкам, выискивая и вырисовывая несуществующие узоры, а вместо того взлетел сквозь челку к лампочке на стене — лампочке, запачканной в прошлый ремонт белилами, все руки не доходят, чтобы протереть, так и останется, перегорит непротертой... — и вот тугая нетерпеливая струя ударила в презренный фаянс и долго-долго била в одну точку...

Но будет! будет! довольно! Как вам, граф, блюстителю и человеку государственной идеи, объяснить романтические нюансы натуральной школы? Ах, в лучшем случае вы брезгливо поморщитесь!.. И только, может быть, какой-нибудь дошлый немец на новом счастливом витке, пробегая мыльными глазами бумаги вверенной вам канцелярии, наткнется на мои укромные восторги и столь же укромно разделит их, и, сокрушенно качая головой над вашими маргинальными пометками: «Маньяк! Психопат! Перверсия!» — удивится душевной тупости старорежимных времен.

Короче, я получал истинное наслаждение, глядя, как она все тем же макаром крадется на цыпочках по коридору на-

зад, навстречу мне, за ней бушуют воды и стонут трубы,— и это безмерно удручает ее, нарушительницу ночного покоя (будто она не знала, что мы — одни!); короче, я поджигал ее в страшном волнении, в припадке головокружения, с шумящей кровью в висках, пока она кралась по коридору навстречу мне, а я все держу ее шубку в руках, и с милой гримасой она говорит: — Я готова.

Ах, эта струя! Она уберегла меня от проволочек, чаепитий, разглагольствований о судьбах поэзии. Она придала мне решимость.— К чему ты готова? — спросил я насмешливо.

Муаровое платье сбилось. Она попыталась привстать, но я придавил ей пальцы тяжелым ботинком. Я стоял над нею, в пальто и шапке, и шарф свисал до колен.— Как вы посмели? — зашипела она.— Вонючая тварь! Похотливая сучка! — говорил я.— Я вас ненавижу! Я заявлю в полицию! — Тебя нужно драть, как сидорову козу! — говорил я.— Вы же против насилия...— лепетала Юлия. На лице у нее выступали следы пятерни. Как сосиски. Я наклонился к Юлии и впился в алый рот. Каково? И что бы вы думали, генерал? Укусила? Стиснула зубы? Забилась в падучей? С жаром необыкновенным она обхватила мою шею руками.

Можно было торжествовать викторию. Дальнейшее, казалось, будет неинтересно.

Она отдышалась, сняла сапоги и прочее. Я принес Юлии воды, и мы разговорились. У нее все было, как полагается: бальзаковский возраст, нелюбимый и, разумеется, неталантливый муж, не разделяющий ее взглядов, не любитель ни музыки, ни революции, ни поэзии.— Представляешь, он даже не знает, кто такой Круглицкий! — Она была в самом начале агонии, которой еще бушевать лет двадцать, горя на щеках ознобом, истерикой, лихорадкой, выматывая несчастную бабу тоскою по горсточке люминала, выдавливая из нее, капля за каплей, все силы и жалкие женские слабости, покуда она не завянет, не почернеет, не отдаст концы как женщина — и черненькая, сухонькая старушка легкой поступью войдет в Божий храм, чтобы замалить грехи надувной куклы с иступленным вопросом: как можно так жить? как? как? — Да! да! — говорил я,— не знаю...— Этот буржуазный мир! эта сытость! эта тупость! эта трусость! — Да! да! — говорил я,— как жить? — Это одичание! это пьянство! эта грязь! это хамство! — Да! да! — говорил я,— жуткое свинство...— А девочка? Что ее ждет? У меня целых две! (Она потянулась к сумочке за фотографией; я тоже похвастался двойняшками.) Ах, что их ждет? Зачем я родила? Мужлан! Чинуша! Конторская крыса! Разводиться? Ха-ха! — горький смех.— А на что жить? На панель? Проституция? Власть денег, пауперизация пролетарьята...— Я сокрушенно щелкал языком. Она пристально, с болью в лице, всмотрелась в меня: — *У тебя талантливые глаза!* — Я сму-

тился и сделал страшнейшую рожу, скосив глаза к переносице. Она даже не улыбнулась.— Я знаю, милый, я знаю: тебе тоже тяжело...— Ламца-дрица, гоп-ца-ца! — выкрикнул я, шлепая себя по ляжкам, и предложил: — Юлечка, давай лучше трахнемся! — Юлия подумала, что мне очень тяжело, раз я прячусь за эти пошлые, кощунственные слова, и шепнула нежно: — Не надо так...— Я попросил у нее прощения.— Ты не виноват...— покачала она головой.— Да? А кто виноват? — Система.— Ах, да! — вспомнил я.— Ты ведь революционерка! — Но ведь ты тоже революционер! — Никакой я не революционер! — сказал я угрюмо.— Революционер! Революционер! Ты еще больше революционер, чем все остальные! Ты бросил вызов своему классу! — Она погладила меня по щеке: — Воображаю, как *они* тебя ненавидят! — Я пожал голыми плечами и нехотя процедил: — Взаимно.

Как же радостно всплеснула она руками! Каким неподдельным было ее ликование! Она сорвала простыню и принялась осыпать меня поцелуями.— Взаимно! — кричала Юлия, целуя меня.— Взаимно! Взаимно! Взаимно!

Юлия кричала все громче и громче. Я спросил: уж не пишешь ли ты случайно стихов. Она закричала: да! да! Я обрадовался своей прозорливости и тоже закричал. Ты кричала, и я кричал. Мы громко и долго кричали. Я никак не мог перестать кричать, хотя Юлия очень старалась. Она очень-очень старалась, но чем пуще она старалась, тем пуще была видна ее неискренность. Я кричал, с удивлением думая о Федоре. Я думал, что он человек сведущий, а оказалось: ни фигя подобного! Я подумал: ну, вот вам и Федор! А еще хвастался, алкоголик! Но тут она так закричала, что я позабыл про Федора и больше ни о чем не мог думать, кроме того, как бы только прекратить сей безобразный крик. Мы даже осипли; это был уже не крик, а осипшее тьяканье, но мы все равно продолжали кричать что есть мочи, споря друг с другом и доказывая. Я кричал о том, что устал кричать, но что никак не могу остановиться, как заводной паровозик детской железной дороги, а она кричала о том, что мне пора остановиться кричать, бросить все к чертовой матери, проклясть суету и удалиться навстречу планетам моего гороскопа, и я понимающе кричал ей в ответ, и так мы докричались до того, что будем верны друг другу до гроба, и после гроба, в годину позорного тления, и далее, до Страшного суда, и после него, если нам позволят, тоже будем неразлучны. От дикого чувства вечности у меня все пошло фугой, и я закричал последним криком, обрушась и сливаясь в нерасчленимый андрогин, и вот тогда, когда я обрушился и слился с Юлией в нерасчленимый, философски непознаваемый, но мистически доступный андрогин, я почувствовал небритость родной щеки, словно я стал Юлией: любимой девочкой моей сентиментальной бухгалтерии, сосудом страсти и смирения,— я почувствовал небритость род-

ной, навсегда любимой щеки и — восторженно. О, я твердо знал, что Юлия не принадлежит к лукавой породе бородатых женщин, которых за деньги показывают в балагане! У нее всегда была любимая мною абрикосовая спелость и нежность кожи. У нее была абрикосовая спина, и абрикосовые плечи, и очаровательные, какие случаются только в синематографе, абрикосовые щеки, по поводу коих я говорил:

— Душа моя, позволь, я тебя съем! — И Юлия отвечала: — Ешь! Ешь меня, Филонов! — И мне ничего другого не оставалось, как есть ее и не спеша насыщаться. Ах, Боже мой! Никто еще на свете так страстно не любил кого-нибудь другого, как я любил Юлию! Я все в ней любил, решительно все: ум, абрикосовые щеки, душу — все! Я любил, когда, сев с ногами на диван, она читала мне свои неуклюжие, но, в общем-то милые, очень милые стихи, я любил ее волнение, когда она получала отказы из разных редакций.

«Сударыня, — писал ей Короленко, — в Ваших сочинениях встречаются порою удачные и вполне гражданственные строки, как-то: *И кот в мешке бежит проворней!*.. Но, Сударыня, пока что в отношении мастерства Вам далеко до графини Ростопчиной...»

— Он прав, — упавшим голосом говорила мне Юлия. — До Ростопчиной мне далеко... — Я, как мог, ее утешал, я ругал либеральных редакторов и направление толстых журналов, я целовал ее в тонкую, незащищенную шейку и говорил, что Ростопчина по сравнению с ней — труха, и что для меня ее стихи — лучшие в мире! Со счастливыми слезами благодарности она обнимала меня, и сердце мое переставало биться, когда я чувствовал нежнейший аромат ее волос; я любил, как она одевалась, любил ее походку, ее кроткий и ласковый голос, любил, любил, любил — у нее даже и дамских-то усиков не было, этих несмываемых усиков, с которыми дамы тщетно борются при помощи перекиси водорода, — в ней все было прекрасно! — а тут, когда мы в миллионный раз слились с ней в нерасчленимый андрогин, я ощутил не только небритость щеки, но хуже! хуже! Я приподнял тяжелые, непослушные веки: точно — усы! Я зажмурился и снова приподнял: усы! усы! Наваждение не рассеивалось. Я живо восстал на локтях.

Вы не поверите, граф, я был искренне озадачен: на подушке вместо моей дорогой Юлии я обнаружил вас, граф, в совершеннейшем неглиже! Растерзанный китель, сбившаяся батистовая сорочка, седоватая кушица волос на груди, панталоны, свисающие с одного сапога обесчещенным знаменем... и я, *Филонов*, погруженный, вляпавшийся черт знает в какое крем-брюле!!!

— Пусти меня, Филонов... — сказали вы слабым голосом. — Граф, помилуйте... — пробормотал я, нависая над вами. — Извольте встать! — взвизгнули вы. Я неуклюже со-

скачил с кровати.— Да, ничего не скажешь! — сказали вы, крихтя поднимаясь в свой черед.— Да... Славно ты меня, Филонов, опредметил... От всей души! — Вы подобрали оторванную золоченую пуговицу и зажали в кулаке, как ребенок.— Славно, ничего не скажешь, кхе-кхе!.. Где тут у тебя ванная комната? — Не в силах вымолвить ни слова, я махнул рукою на дверь. Вы волокли по паркету свои панталоны. В ванной раздался шум воды, но сквозь шум доносились спазмы рыданий. Я задрапировался в халат и с тупым удивлением обнаружил, что к подолу присохло несколько червячков вермишели. Я стал деловито отдирать их. На меня нашел умственный столбняк.

Вода шумела. Мне вдруг представилось, что вы удавились на полотенце. Я тихонько поскребся в дверь.— Граф! — позвал я.— Граф!..— Отойдите от двери,— раздался сухой ответ.

...Я вздрогнул: вы выходили из ванной. В отношении мундира вы выглядели по-прежнему несколько помято и недосчитывались пуговиц, однако лицо вы сохраняли. Вы сохраняли суровое лицо, я бы даже заметил — свирепое, с малиновыми припухшими веками. В негодовании вы прошли мимо меня армейской походкой. В прихожей обернулись: — Ну, Филонов! Костей не соберешь!..— Трясущимися руками совладев с замком, вы удалились, полный достоинства. Вдали громыхнула железная дверь ассансера.

Отец-командир! Не погуби...

Что же вы медлите? Я совершенно извелся. Я две недели простоял с поднятыми руками. Но руки вконец затекли, и я понял: передо мной приоткрылась имперская тайна. Невольно, сокрушенный моей страстью к Юлии, вы выдали ее...

Граф, все ясно, мы с вами жертвы! Жертвы одной возмутительной, вопиющей истории! Спокойно, граф, я сохраню тайну.— Я — никому, тсссссс!.. И Доротея плачет, а я молчу. Заперся и не открываю. Даже не ем ничего. Граф, скажите, а вы? Вы обедаете? Только ни слова о пище!.. Граф, смею вас заверить, я вообще не по этой части!!! Меня повсюду тошнило от вида общественных бань и офицерских клубов, с их игрою на бильярде. Я не знаю, где кончается Юлия и начинаетесь вы, где демаркация, я не делаю между вами сближений, крещу воздух перед собой! Чур меня! Чур! Чур!

Мне бы вас тогда перекрестить!..

Утро. Искал Юлию на карнизе.

Берегитесь! Я вас ослаблю. Вам придется в отставку! Просвещенное наше общество схватится за животики. Ха-

ха! Панталоны, свисающие с сапога!!! Смело, скажут, Филонов опроцедурил графа! Ха-ха...

Где Юлия? Где абрикосовые щечки? Где моя единственная любовь?

Прогрессисты не поймут, не поверят...

Сiju в желтом доме за семью печатями. Этого нет, но будет.

Только вы, граф, знаете истину! Только вы носите в вашем мужественном сердце горечь нашего квипрокво! Так простим же друг друга и — помиримся!

Антр ну: чего не бывает? Да и Юлия, если по совести, мне не нужна. Кто она мне? Надувная кукла! Никто — даже меньше!

Дорогая! Девочки! Я вас люблю!!!

Я не виноват, что Юлия зазывно звенела в презренный фаянс. Я нечаянно подслушал божественные звуки бубна. Вон Круглицкий, он всякие стихи пишет, ему перемены подавай, ручки да почки, вы с ним поостроже! А ко мне чего привязались?

Ноли мэ тангере, граф! — заклинаю вас. — Ноли мэ тангере!

Если что, буду кричать! (Кричи!.. Кричи!..) Меня услышат. Бердяев, которого в Вологду, хотя не люблю. Слышишь ли ты меня, Бердяев?

БЕРДЯЕВ: — Слышу! Слышу!

То-то! Слышали, как заухал?! Бердяев против равенства и матерьялизма. Это он меня научил, что матерьялизм пахнет дешевой колбасой с чесноком. Мы его отловим и повесим на первом фонаре, граф! Долой всех, кроме порядка! Не стучите в дверь! Это Бердяев ломится. У него язык на вылете, он опасен, граф! В остальном виноват Круглицкий. Это он подсунул мне Юлию. Он шепнул мне: «Возьми ее себе». Я взял. Я повел ее через ночную рошу. Круглицкий — блошинный король. Он меня тоже предал.

Обращаюсь к вам, Ваше Снятельство, со следующими вопросами:

1. Когда вы стали Юлней?
2. В котором часу?
3. Когда Юлия стала вами?
4. Кто был любовницей Федора: она или вы?!

Как женщина она меня не устраивает: кричит. Во-вторых, мне ее секретная анатомия не нравится. Зато какая музыка! Ишь ведь, но — тссссс! Я дал слово. Располагайте мной, граф! Эх, мамаша, угораздило же тебя!..

Смирно, Филонов!

Да здравствует Юлия!

Исполать вам, Ваше Снятельство!

## Ирина Знаменская

### АЛЬТЕРНАТИВА

\* \* \*

...И вот поля, где мысль уснула чутко,  
Стерев ошибки...  
Вот поверхность вод  
Густеет намагниченно,  
И утка  
В вершине треугольника плывет...

В предместье — каждый город безымянен.  
Как странны здесь  
Трамвайные слова:  
Так маялся бы инопланетянин,  
Присоски поджимая в рукава —

Чтоб стать родней,  
Себе не изменяя,  
(Как в храме православный атеист),  
Чтоб выстоять прощание, роняя  
То вздох, то шапку,  
То слезу, то лист...

### КУСТ И КРАСОТКА

У них — совсем другое дело:  
Прошедшие сквозь твердь и тьму,  
Переплелись душа и тело  
И устремились к одному!  
— Вам имя — Куст.  
— А вам — Красотка...  
— У вас — отвесные пути,  
Здесь, за углом, картошки сотка,  
Ее вовек не перейти!  
...Зажгу сырую сигарету  
И дым потянется за мной...  
Они — сродни ночному свету —  
Стоят без тени за спиной.  
Гляди, идут, на лапах — глина,  
Забор сминают во дворе!..  
Позвать их: жимолость, калина,  
Сирень персидская в чадре! —  
И подпевать, пугая в дыме,  
Те заросли, что сон сморил,



«Воскликновеньями своими»,  
Как Баратынский говорил...  
И не догнать... Трава намокла,  
Подолом липнет тяжело,  
И душу, бьющуюся в стекла,  
Хватать, как муху за крыло.

\* \* \*

И только молодость бессонна:  
Час песен, поцелуев, драк...  
Как привиденье граммофона,  
Белеет клумбовый табак.

Уже темно читать по-польски —  
Вложи в журнал последний луч...  
Похож на полуостров Кольский  
Рукав одной из гончих туч.

Свет электрический — пергамент,  
И свет русалочий — с небес...  
Проскачет ветер вверх ногами,  
Как дикий пушкинский черкес...

И музыка — шестиголова:  
У той, что справа, — сильный альт...  
На полпути лежит подкова,  
Корнями вросшая в асфальт.

Размокли тени-промокашки,  
И город переходишь вброд,  
Как бабочка в ночной рубашке —  
Ладони вытянув вперед...

\* \* \*

Здравствуй, печальный салат с огурцами,  
Прямо из порта селедку под водку!  
С трех до пяти просидим молодцами,  
И разговоры и тосты — в охотку,

В этом году ошалелая осень  
Вынула душу: то греет, то студит...  
Друг запоздалый, подъехавший в восемь,  
Сути уже не поймет, не рассудит.

Здравствуйте, Катя, и Соня, и Люба!  
Ходит наш стол, как под парусом яхта,



Воздух воли и неволи,  
Взболтанный в одну баланду...  
Нету силы жаждать мщенья,  
Дотянувши до свиданья,  
До излета возмущенья  
В этом зале ожиданья,  
В этой выцветшей конторе,  
Той, где только жизнь предельна,  
Где из тьмы любовь и горе  
Вдаль уходят параллельно...  
...Луч предвиденья туманный,  
Спи, фонарик мой карманный!

## АЛЬТЕРНАТИВА

И если вдруг со страху вспять  
Пойдет вселенная сжиматься —  
Нам вновь невеждами не стать  
И вновь с тобою не расстаться,

Но по Владимирке вперед  
Брести до края окоема,  
Пока она — последний брод  
Сквозь бездну гнева и погрома...

Путь из России в небеса  
Не нами проторен, однако  
Его ночная полоса  
Пылит в созвездьях Зодиака.

Пока она — единый путь,  
Где братски окликает эхо,  
Нам ни направо оскользнуть  
И ни налево не отъехать...

\* \* \*

Как капли ртути слиться норовят,  
Так тяжелеет встретившийся взгляд,  
Так тянется душа к сестре по духу,  
К своей товарке, страннице в ночи...  
Мы отвернулись, ты похлопочи,  
Поймай ее на клятву, как на муху.

Все травки ей назвав по именам,  
Ты прокати ее по временам  
Минувшим, как по саду в таратайке,  
И дай надежду: до последних дней

В одном эфире возноситься с ней,  
И дай червонец за ночлег хозяйке.

И ей приснившись (первой, не второй),  
Собою вовсе белый свет закрой —  
И все, свободен, отправляйся дальше:  
Таких мы видим только со спины,  
Кто над своею волей не вольны,  
На ком ни крови, ни греха, ни фальши.

\* \* \*

Как сохранить фасеточное зреньё  
В период повзросленья и сиденья  
В своей душе, как в клетке, как в тюрьме,  
Где слово пишешь, держишь два в уме?..

Условие задачи: «Мир — прекрасен».  
Любой ответ с ним в принципе согласен,  
Но, значит, разум злобен и не прав?  
И очи вылезают из оправ...

И видит глаз назад, и вверх, и прямо,  
И гад подводных и надводных гад,  
И каждой жизни жесткая программа  
Свершается как будто наугад.

И видит глаз, как зуб неймет и ноет,  
Как камень изгибается спиною,  
Как грудью бьется бабочка в стекло  
И как фиалка дышит тяжело.

Как нежная рождается из пены —  
И волосы и волны — по колена...  
И как сосед выходит на крыльцо  
До морды сконцентрировав лицо!

## СУДАК

С горбинкой горы — нос воткнулся в губы.  
Дорога вверх ползет как струйка дыма.  
У крепости давно вставные зубы —  
И корабли, смеясь, проходят мимо.

Пляж из яиц, испекшихся вкрутую,  
(С шипеньем тень на нем теряет влагу)  
Салаку, от загара золотую,  
Бычков, в слезах промасливших бумагу,

Таскают за забор на дне корзинок,  
Туда, где шум и свадебная треба...  
С утра пути еще вели на рынок,  
А к вечеру сворачивают в небо.

Звезд наросло!  
Ночь погрузнела телом,  
Как в глине поскользнувшаяся бутса.  
И рукава, замаранные белым,  
За эту жизнь уже не ототрутся.

\* \* \*

На азиатской на чужбине,  
На чужедальней стороне,  
Где в грядке, как в гареме,— дыши,  
И бродит истина в вине,  
Стоит корова с узким глазом  
И мухами унизан зной,  
Где свет, разрезанный алмазом,  
На вере держится одной,  
Где кровь, как в градуснике нитка  
Уперлась в горло из стекла,  
Куда свобода, как улитка,  
И приползя, не доползла —  
Клянусь хоть бородой пророка,  
Коня его клянусь хвостом:  
Там око ты и только око —  
Полуослепшее притом!  
Аллах тебе не явит чуда,  
Твоя дорога нелегка,  
Ты — только облако, оттуда,  
Откуда родом облака.

\* \* \*

Да, я бывала молода:  
Меня на праздник забирали,  
И ключ с собою забирали,  
И уходили навсегда.

А в кухонном окне во двор  
Все было скучно, как на даче.  
Ребенок тихо-мирно плачет,  
И подпеваает русский хор.

Я долго в дверь ногой стучала,  
Как кошка, из окна скучала,

Потом слезала по трубе  
И в тапочках брела к тебе.

А праздник был одет, как надо,  
И посреди всего парада  
Другая шла по мостовой  
И умудрялась быть живой.

При всей своей роскошной плоти  
Она счастливою была,  
Пчелой беспечною в компоте  
Покачивалась и плыла.

«Мне самый лучший будет мужем,  
Я шью, танцую и пою!»  
И, как подол, идя по лужам,  
Приподнимала тень свою.

## Леонид Комаровский

### В ГОСТЯХ У СЧАСТЬЯ

Михаил Иванович — конструктор.

Солидный человек, многим не чета. Михаил Иванович в конструкторском бюро работает, у окна сидит, и кульман у Михаила Ивановича новый, чехословацкий.

На работу он рано приходит, открывает окно и с четвертого этажа внимательно смотрит вниз, на сослуживцев. Они же, рассеянные после короткого сна, не замечая за тонкой решеткой Михаила Ивановича, спешат, лезут в узенькую щель «вертушки», застревают, поругиваются, торопясь до звонка попасть на рабочее место.

Вот на желтеньких «Жигулях» начальник отдела подъехал, и Михаил Иванович закрывает окно и принимается оттачивать карандаши, готовясь к длинному рабочему дню.

Запыхавшись, вбегают коллеги Михаила Ивановича — успели! Такая радость! Гремят ящиками столов, шуршат халатами, во весь голос переговариваются.

Звенит звонок, и появляется сам Никита Петрович — начальник. Торопливо подходит он к каждому, пожимает потные руки, отдавая дань демократическим порядкам, введенным в былые, молодые времена. Подходит он и к Михаилу Ивановичу, протягивает ему свою тонкую руку, и Михаил Иванович с удивлением и каким-то трепетом дотрагивается до теплой ладони.

— Как дела, Михаил Иванович? — интересуется Никита Петрович.

— Нормально, то есть хорошо, хорошо, — кивает головой Михаил Иванович, испытывая каждый раз невысказанное чувство благодарности к такому вот действительно прекрасному человеку.

— Очень хорошо!

И конечно, с чего бы плохо? Например, нынче получка, правда небольшая, рублей пятьдесят пять, не более того, но Михаилу Ивановичу более и тратить некуда. Он человек положительный во всех отношениях: пить — не пьет, курить — не курит, холост, но за женщинами не приударяет. Боже сохрани! Да и посторонних страстишек у него не имеется, никаких коллекций не собирает: ни марок, ни значков, ни, тем более, каких часов старинных или там колокольцев. Единственная его слабость — это любовь к миндальным орешкам, да чаю он слишком много расходует, вот и все.

На прожить Михаилу Ивановичу хватает — экономно жить приходится, ну так все экономят, нынче век такой,

А для того чтобы ошибки, просчета не вышло, у него заведен специальный блокнот, где все до копейки помечено: приход — расход, своя собственная, домашняя бухгалтерия, и строг тут к себе Михаил Иванович до последней крайности.

Получает он чистыми сто два рубля. За квартиру, электричество, профсоюз, на разные неожиданные мероприятия уходит у него десять рублей, и выделяет себе Михаил Иванович по два пятьдесят в сутки, а на субботы и воскресенья получается у него пять, почти шесть рублей. И в эти дни он шикает: то в кино ходит, миндаля купит, а то пару бутылочек пива принесет, и так приятно лежать на тахте да потягивать свежее «Жигулевское». А особое удовольствие доставляет ему игра в картишки с соседями, не по крупной, так, по мелочишке, но до чего ж хорошо выигрывать!

А порой он и в выходные дни живет на свои два пятьдесят, а остаток заносит в специальную графу на последней странице блокнота да деньги прячет во второй том «Истории дипломатии», очень полюбившуюся ему книгу. Но это до поры. Когда накопится у Михаила Ивановича десять рублей, то он, прежде обменяв рубли на «красненькую», несет ее в сберегательную кассу, и в сберегательной книжке отмечают ему новое денежное поступление.

Он, Михаил Иванович, — человек солидный, рачительный, и поэтому денюжки у него на месте, при деле. Вот и процент нарастает, не ахти какой, да растет. А жизнь — она вредная штука: там носки, там рубашки — все изнашивается, никакой вещицы на человеческий век не хватает. То костюм менять пора, а уж ботинки совсем никудышные стали и года не держатся.

Но, правду сказать, на вещи Михаил Иванович тратит премиальные. Раз в квартал получает он долгожданное вознаграждение: когда двадцать, когда сорок, а бывает, и шестьдесят рублей — вот тебе и обувь и рубашки, а премии сложить — то и хороший костюм, рублей за восемьдесят. Можно и финский или шведский костюм приобрести, накопить, но такого костюма и Никита Петрович не носит, а Михаил Иванович к себе строг и в такой роскоши пользы не видит.

Михаил Иванович проработал за кульманом двадцать два года, начинал мальчишкой, в другом здании, а теперь он ветеран труда, опытнейший, старейший, хотя еще и молод, всего сорок два, и до пенсии ему далеко.

Единственно, о чем сожалел Михаил Иванович, так это о том, что доучиться не смог. Техникум закончил, до второго курса института дошел, но тут случилось с ним непонятное, замучили боли в голове, такие страшные боли, что выл он, словно пес на луну. Долго в больнице пролежал, проходил всякие процедуры, исследования, и запретили ему врачи продолжать учение. Сильные боли прошли, может, лекарства помогли, а может, сами по себе, да остался Михаил



Иванович без диплома, без высшего образования. Работал на заводе техником, а потом уж перевели его на инженерную должность.

И теперь нет-нет, а дает себя знать старая болезнь; если случается ему работать срочно да много или книгой зачитается, начинает у Михаила Ивановича звенеть в ушах. Сначала тихо, как будто комар пищит, а потом все сильней и сильней, и этот звон как предупреждение ему. Тут же бросает Михаил Иванович работу, книгу и идет на улицу, проветривается с полчаса, звон в голове стихает, слабость пропадает — и опять готов он к труду. Привязалась этакая напасть, а то был бы с дипломом, на повышение пошел, сейчас бы старшим инженером стал, рублей сто пятьдесят получал и в премию рублей восемьдесят, ну и об этом тужить не приходится — здоровье, оно дороже.

Впрочем, начальство Михаила Ивановича и так уважает. Человек он исправный, точный. Никаких «номеров» ожидать от него нельзя. Другому поручи работу важную, срочную, он пока лист к доске приколет, пока анекдот послушает, пока в затылке почешет, покурит — и день прошел. А насчет общественной работы — вообще ни к кому подступиться невозможно, все через поблажки и увольнительные. А Михаилу Ивановичу поручат доклад о международном положении сделать, пожалуйста, к сроку отчитается, все расскажет: где ультраправые, где ультралевые, где поворот, где подорожание, да еще обязательно принесет кипу вырезок из журналов и газет — иностранный юмор.

Каждый день простаивает Михаил Иванович положенные восемь часов у новенького кульмана, ведет по чистому ватману остро заточенным карандашом: осевые — очень твердым, штриховку делает просто твердым, а обводит — мягким, поминутно подтачивая его на мелкой шкурке. И чертежи у него как тушью вычерчены — загляденье, а про почерк и говорить не стоит, ни у кого в отделе, да что там в отделе, во всем конструкторском бюро такого почерка нет. Старательно и со знанием дела выполняет Михаил Иванович порученную работу. Изредка прошмыгивает в туалет и обратно, не задерживается в курилке, где молодые дипломированные инженеры, длинноволосые, а иные бородатые, покатываются в дружном хохоте, рассказывая друг другу неприличные анекдоты и случаи из жизни.

Дождавшись обеденного перерыва, Михаил Иванович медленно и тщательно насыщается, а в оставшееся время прогуливается по набережной Москвы-реки, наблюдая ее спокойное течение и прикидывая себе занятие на вечер.

Вечер — он длинный, и, честно говоря, Михаил Иванович полностью занять его не может. Вот скоро, совсем скоро, он приобретет телевизор и уж тогда будет спешить домой к продолжению какого-нибудь многосерийного фильма и будет переживать происходящее на экране, спокойно по-

пивая чаек. А затем он купит мягкое кресло, мягкое кресло обязательно надо купить, к телевизору просто полагается мягкое кресло.

«Надо набором все продавать»,—думает Михаил Иванович.

Он и сейчас не пропускает мало-мальски интересный фильм, но приходится беспокоить соседей. Конечно же Катерина Афанасьевна позволяет ему смотреть все, чего он пожелает, и не стесняет он ее очень, но все же не то! К ней и сын, бывает, зайдет, и сожитель Николай Иванович под муху иной раз зайвится. Там футбол, хоккей — чем Михаил Иванович никогда не интересовался. Свой телевизор — он свой, что хочешь, то и смотри. И поэтому телевизор стоит у Михаила Ивановича в ряду самых необходимых покупок, он даже зимнее пальто отложил покупать до следующего года.

Возвращается с работы Михаил Иванович несколько усталый и до Арбатской площади не доезжает, а выходит на Кропоткинской. Идет, прогуливаясь, не спеша, по Гоголевскому бульвару, восстанавливая свежесть в голове, давая размяться застоявшемуся организму. По дороге он заходит в булочную, покупает калорийную булочку, заходит в магазин «Молоко», берет немного масла и творога на вечер. В магазинах его знают и всегда с ним здороваются, как с хорошим знакомым, и порой отпускают вне очереди.

Михаил Иванович выбирается на шумный Арбат, останавливается у светящихся витрин, внимательно рассматривает их и наконец сворачивает в свой родной тихий Староконюшенный переулок. Правда, последнее время и он не очень тих; поломали, понастроили в арбатских переулках, людей прибавилось, машин много. Ходили слухи, что дом Михаила Ивановича подлежит сносу и будут всем давать отдельные квартиры в дальних районах, но слухи ходят по пять лет, а к ним никто не приходил, официально никто ничего не говорил, так что слухами Москва полнится.

Соседей у Михаила Ивановича шестеро, и все, за исключением Марьи Павловны, пристойные и солидные, а Марья Павловна законченный человек, и ничего с этим поделать нельзя — алкоголичка. Ни милиция, ни лекарства, ни уговоры, ни угрозы — ничего не помогает. Но на работе ее держат, не выгоняют. Она машинистка, и первоклассная, а хороших машинисток днем с огнем не найдешь, вот ей и прощают загулы да запои. Но баба она безвредная, а когда трезвая, все норовит кому услужить, на Михаила Ивановича возьмется постирать. Зайдет к нему и говорит:

— Ну, Михаил Иванович, бобыль ты этакий-разэтакий, давай-ка свои шмотки, нынче я стирку большую задумала.

Михаил Иванович, конечно, сопротивляется, дескать, не надо, я сам, я умею, я привык, но Марья Павловна, как привяжется, так и не отстанет. Сама в шифоньер залезет

и все носки да рубашки из ящика для грязного белья вынет и унесет. Неудобно Михаилу Ивановичу от этого вмешательства, но и отказать тоже неудобно.

А все остальные очень приличные люди: Катерина Афанасьевна — мороженым торгует на переходе в метро, пожилая, очень приятная женщина. У нее по пятницам да субботам Михаил Иванович в картишки перекидывается, в «пехуха». Собираются они часов в семь: Михаил Иванович, Катерина Афанасьевна, сожитель ее Николай Иванович да супруги Кочетовы — их дверь как раз напротив двери Михаила Ивановича, — и играют часов до одиннадцати. Выигрывать, конечно, приятно, а проиграет Михаил Иванович, тоже особо не расстраивается, за всякое удовольствие платить надо, это он себе давно определил.

Еще живет в квартире старушка — Божий одуванчик, никому не мешает, живет себе да живет, из комнаты почти не выходит. Единственная от нее неприятность — так это клопы. Клопов у нее миллион, что называется — пешком ходят, и поэтому супруги Кочетовы в три дня один раз ее дверь тиофосом опрыскивают, чтоб проклятые насекомые по квартире не распространялись.

Комната у Михаила Ивановича большая, только неудобная. Очень длинная и узкая. Причем у двери шире намного, чем у окна. Сужается она, сужается, словно художник перспективу нарисовал, поэтому вся мебель стоит по стенкам, как в мебельном магазине. Но и мебели у Михаила Ивановича немного: шифоньер, стол, четыре стула да старое трюмо с мраморной доской. Нынче такое трюмо в моде и должно дорого стоит, но не продавать же! Это сначала продай, потом купи — одна кутерьма.

Есть у Михаила Ивановича и торшер, сменивший старую настольную лампу. Когда совсем нечего делать, берет Михаил Иванович в руки книгу, ложится на тахту, подвигает поближе торшер, зажигает лампочку, но только одну, вторая выкручена — для экономии — и читает.

Особенно он любит читать «Историю дипломатии», жаль, что у него только второй том, вот если бы как оказией первый попался, то Михаил Иванович денег бы не пожалел. А хорошо бы всю ее полностью купить, ведь второй том заканчивается на тысяча девятьсот девятнадцатом году, на деле англичанина Локкарта, как он заговоры против Советской власти устраивал, очень интересно узнать Михаилу Ивановичу, что же дальше получилось. До того интересно, что одно время искал он эти тома в библиотеках, но их не оказалось. Издания они были сорок пятого года, видно, списали давно.

Склад ума у Михаила Ивановича такой, что он любит исторические книги, жизнеописания великих людей. Эти книги он читает, перечитывает и даже делает для памяти некоторые выписки, например:

«Суворов — родился в 1720, умер в 1800 г.— генералиссимус, князь Италийский, граф Рымникский».

«Наполеон — родился в 1769, умер в 1821 г.— император французский. «Мальта или война!» — вскричал Наполеон в конце тягостной аудиенции, данной английскому послу».

И так далее и тому подобное. Многие, очень многие знаменитости отмечены в тетрадке Михаила Ивановича.

У него есть еще одно приятное занятие, а именно: из каждого журнала, газеты аккуратно вырезает он иностранные юморески, приклеивает квадратики к тонким листкам папиросной бумаги, а затем подкладывает эти листки в скоросшиватель. У него уже три толстые папки, а сейчас он начал четвертую. Радостно Михаилу Ивановичу смотреть на эти пухлые тома, созданные его терпением.

Хорошо, когда тебя все уважают, все к тебе благосклонны. От хорошего отношения такая тихая, неприметная жизнь, как жизнь Михаила Ивановича, приобретает прекрасную завершенность и стройность. Все у него по полочкам разложено, все на своем месте, душа ни о чем не болит, а это самое главное! Если душа не тревожится, то здоровье всегда при тебе и никакая болезнь не возьмет!

Но болезни человеком все-таки не властвуют. Истинным его властителем оказывается случай, а он от настроения души никак не зависит, и даже наоборот, случай случается именно тогда, когда человек наиболее в себе уверен и спокоен во всех отношениях, когда случая ему и не надо.

Случай заставляет человека взволноваться, изменить жизненный уклад или хотя бы распорядок. Идет человек домой и встречает случайно, скажем, друга — глядишь, они вместе в магазин завернули, потом в столовую, весь день нарушен, весь распорядок сломан. Или еще хуже — встречает недруга, так и до драки дойти может, а если и миром кончится такая встреча, то человек весь остаток дня, да и следующий день, все переживает, мучается, все думает — этого он не сказал, это сказал не так, и работа ему не работа, и отдых ему не отдых.

Это мелочи, конечно, а настоящий случай — он жизнь человеческую переворачивает. От ракеты можно спастись, от радиации можно защититься, от чего угодно; только от случая не придумало защиты великое человечество, и продолжает он обрушиваться на слабые человеческие головы и распоряжается людской судьбой.

Собственно, случай и есть сама судьба, только сконцентрированная или, еще лучше, сфокусированная на данного индивидуума, в данное время, в данной точке пространства.

Не пойдя человек этой дорогой да в это время — не случилось бы с ним ТОГО-ТО, а не случись ТОГО-ТО, стало быть, не произошло ЭТОГО, а из ЭТОГО вытекает ТО-ТО, и далее, далее до самой смерти. И конечно, ни один че-

ловек случая избежать не может, в жизни каждого рано или поздно произойдет случай.

Однажды, после работы, Михаил Иванович, следуя заведенному распорядку, шел с кулечком творога, калорийной булочкой и маленьким кусочком масла по Арбату. Было это в пятницу, и Михаил Иванович предчувствовал легкий азарт карточной игры, тем более что в прошлый раз он проиграл Катерине Афанасьевне пятьдесят три копейки и поэтому поставил себе нынешней пятницей отыграть проигранное, а в субботу и выиграть полтинник на бутылку пива.

Шел он как обычно — мерным пружинистым шагом, какой в себе вырабатывал после прочтения знаменитой статьи в журнале «Здоровье», оглядывал витрины, свернул в Староконюшенный. Прошел мимо деревянного дома, в котором жили не то три сестры по Чехову, не то еще какие другие сестры, по другому писателю, и около старого отделения ГАИ начал переходить на другую сторону переулка. А надо заметить, что Михаил Иванович, когда переходил улицу, бывал предельно внимателен и осторожен. Он всегда смотрел сначала налево, потом направо, как это было предписано правилами.

И на этот раз Михаил Иванович огляделся, пропустил старенькую «Победу» и, не увидев более ни одной машины, двинулся к своему дому. Он был на середине переулка, как услышал визг тормозов и увидел неизвестно откуда появившуюся «Чайку». Михаил Иванович бросился было назад, но водитель «Чайки» именно с этой стороны и пытался его объехать.

Все произошло так мгновенно, так непонятно, он почувствовал резкую боль в ноге, что-то хрустнуло, лопнуло. Силой удара оторвало его от земли, протащило по черному капоту и бросило перед дверцей автомобиля.

Михаил Иванович попытался вздохнуть, но не смог — словно сильной рукой обхватил его кто-то, сдавил грудь. Он стоял на коленях и широко разевал рот, но воздух не наполнял легкие. Перед глазами Михаила Ивановича пошли красные круги, они превратились в сплошное красное пятно, и он потерял сознание.

Из машины вышел военный, звания его в сумерках было не разобрать, но уж наверняка не полковник, а генерал или кто повыше. Военный приоткрыл заднюю дверцу машины и, бережно подняв Михаила Ивановича, устроил его на сиденье Минутку он постоял на месте происшествия, покачал головой и вдруг, что-то сообразив, решительно сел за руль, и «Чайка» исчезла в арбатских переулках.

Несколько прохожих, молча наблюдавших за случившимся, тоже покачали головами и тихо растворились в наступившей темноте.

Михаил Иванович долго не мог проснуться. Он спал и чувствовал, что пора вставать, и вроде бы вставал, завтра-

кал, смотрел телевизор, неизвестно откуда взявшийся в комнате, да к тому же цветной. Смотрел свои любимые передачи про Суворова, Наполеона, про великого математика Бируни, и вдруг они оказывались все рядом, на тахте, и тут Михаил Иванович понимал, что он спит. Он снова просыпался и видел, будто бы он на работе, и Никита Петрович пожимает ему руку и говорит:

— Тут вам, Михаил Иванович, премия полагается в четыре тысячи рублей, но старыми, конечно.— Михаил Иванович терялся в благодарности и долго тряс руку Никиты Петровича, а тот лез в карман и доставал целую пачку сторублевиков, больших, дореформенных. И опять понимает Михаил Иванович, что он спит, и опять просыпается, но уже маленьким, лет тринадцати, и взрывает он самодельную бомбу у бабки в Жихаревке, и, как тогда, в детстве, обладает его жаром, и летит он, проваливаясь в бездонную яму сна.

— Господи! — стонет Михаил Иванович.— Ну когда же я проснусь, когда?

И просыпается, видит над собой белое пятно потолка, видит приглушенный свет ночника и сморщенную старушку в кресле-качалке, посапывающую в чуткой старческой дремоте.

— Опять сон,— чуть не плачет Михаил Иванович.— Господи, пить! Пить! — И тут первое, явное, физическое ощущение доходит до него. Его губы чувствуют прохладное стекло стакана, и влага освежает неповоротливый, засохший язык и, журча, словно ручей, стекает по деревянной гортани, как по желобу, бьется о стенки желудка, будто о стенки жестяного таза.

«Где я? — думает Михаил Иванович.— Что со мной? Что за старуха такая? Почему я не на работе? Уже поздно, я проспал! Что же теперь будет? Господи, надо одеваться, надо спешить!»

И он рвется, силится подняться и опять видит красное зарево и удрученное лицо Никиты Петровича.

«Нехорошо, нехорошо, Михаил Иванович,— слышит он,— нехорошо опаздывать. Придется вас премии лишить. Так-то. Оно, конечно, раньше такого не бывало, но для остротки просто необходимо вас премии лишить. Совсем разбаловались! А на кого молодежь смотрит — на вас! Оттого они спуска рукава и работают, что вы, Михаил Иванович, опаздываете. Оттого и бороды поотпускали и разные неприличные и политические анекдоты рассказывают».

И опять просыпается Михаил Иванович, и опять видит бабку в кресле-качалке, слышит ее ровное дыхание. Все смешалось в голове бедного Михаила Ивановича, и никак не понять — где сон? где явь? То мелькнет перед глазами фигура в эполетах и при шпаге, и все низко склоняются, и Никита Петрович склоняется, и все шепчут, шепчут:

«Наполеон! Наполеон! Пришел Наполеон!» — Ан нет, и вовсе не Наполеон, это я, Михаил Иванович, ловко я вас провел!

А Никита Петрович уже хмурится и сердится, и тогда Михаил Иванович уменьшается в размерах и открывает глаза и сразу видит человека в генеральской форме:

— Господи! — кричит Михаил Иванович. — Маршал Жуков, пожалейте меня! Катерина Афанасьевна — где вы? Мальчишки у меня, мальчишки красные и черные, да тузиковый, так что извините-подвиньтесь, а пятьдесят три копейки назад возвращайте. — И видятся Михаилу Ивановичу, и видятся какие-то страшные, нелепые сны.

Пришел он в себя только на третий день и не понял, где он. От слабости в голове все крутилось, и он с большим трудом остановил бегущее изображение действительности. Потолок остановился, и Михаил Иванович принялся его разглядывать. Это был не его потолок, совсем непохожий на его домашний потолок с вечными разводами, проступающими на второй день после побелки. Это был высокий потолок, чистый, с едва заметной голубинкой. Михаил Иванович полчаса смотрел на него и, наконец собравшись с силами, повернул голову и охватил взглядом всю комнату. Комната была просторна и до удивительности красива. Квадратная, в три окна, которые были занавешены тончайшими тюлевыми занавесками, чуть смягчавшими яркий утренний свет. Теплый цвет паркета, уложенного замысловатыми квадратами, напомнил ему посещение какой-то подмосковной усадьбы, а мебель... Мебель была воздушна и в то же время, на взгляд, прочна и солидна. Все ножки — гнутые и отделаны украшениями, это не ножки стола — а львиные лапы, это не скважина для ключа — а львиная пасть.

Около его постели стояла маленькая тумбочка, покрытая белоснежной салфеткой, а на тумбочке — хрустальный графин с водой, блестел тонкого стекла стакан и валялись пачки каких-то таблеток. Рядом покачивалось кресло-качалка.

«Где же это я?» — подумал Михаил Иванович, и в ту же секунду дверь, красивая большая дверь с бронзовой ручкой, распахнулась, и к нему в комнату вошла маленькая, сухонькая старушка в длинном темном платье до полу, в белом переднике, в доморощенном чепце с кружевами.

Она уставилась на Михаила Ивановича круглыми глазами и заела:

— Никак, милок, очнулся, а я уж, грешным делом, думала, не вытянешь, доктор говорил, у тебя горячка приключилась, от ушиба...

— От какого ушиба? — спросил Михаил Иванович.

— А ты ничегошеньки не помнишь? Ай-я-яй, ох ты, горемычный человек!

— Где я? — воскликнул Михаил Иванович.

— Ох, милоч, где ты? У моего генерала в гостях лежишь, поправляешься. Врачей он к тебе водит, да самых лучших, профессоров разных. Говорит, что, если помрешь, так неприятностей не оберешься. Уж целый полк вокруг тебя толкается. Да сам-то, Матвей Сидорович, все переживает, извелся через тебя, каждый час названивает, все справляется, как твое здоровьице...

— А как же я? как же я здесь? на работу мне...

— На работу он позвонил, уладил. Ведь как только привез он тебя, я тебя раздела, документы из кармана достала, и по справкам Матвей Сидорович и узнал, что ты за птица такая. И сразу твоему начальству на работу звонок сделал и все рассказал... Вот беда-то, вот уж действительно беда... Хорошо, в себя пришел, теперя на поправку пойдешь, помяни слово мое, пойдешь, глаза у меня верный...

— А по какому случаю я у генерала лежу? Что он мне, брат иль сват? — удивился Михаил Иванович.

— Да в том-то и дело, что брат не брат, а сосватались вы, так это точно. Ведь ты, милоч, под самый его автомобиль угодил, под самые колеса. А уж автомобиль у него о-го какой большущий. Да ездит он на ем шибко, все спешит, спешит, а ты рот-то разинул и под колеса к нему и шмыгнул. Он-то, человек добрый, так взял тебя сюда, положил и говорит: «Ты, матушка Федосеевна, за ним пригляди, да хорошенько пригляди, а то, если помрет ненароком, большая мне неприятность выйдет», — а сам начал по телефону крутить разным профессорам знакомым. Те понаехали и тебя лечить принялись, консилим называется. А ты три дня все метался, метался, все Никиту Петровича поминал, вот глаза-то разумные первый раз открыл.

Михаил Иванович попробовал пошевелиться и пошевелился.

— А что со мной? Что, сильно побит?

— Не, милоч, не сильно, только одна нога у тебя битая, но кость цела. Вот горячка приключилась, видно, головой ушибся. Все доктора за горячку и беспокоились, так и говорили, если горячка пройдет — то ничего страшного, немного похромает, да и только. Вишь, и правы были, раз переборол внутри себя, раз на мир посмотрел, значит, все хорошо будет. Ты, милоч, часом, покушать не хочешь? Так говори, не стесняйся.

— Я-то, — Михаил Иванович очень захотел чего-нибудь поесть и почему-то жутко застеснялся, — я-то, можно... можно и перекусить чего... немножко...

— Так я шас, шас мигом, яичко всмятку сварю да бутербродики сделаю, — и старушка, матушка Федосеевна, зашаркала из комнаты.

«Вот те на! — подумал Михаил Иванович. — Ну и угораздило! Под машину попасть! Да к кому! К генералу! К заслуженному человеку! А он меня не бросил, к себе домой



привез, на койку уложил, профессоров ко мне вызвал, вот ведь какая оказия может в жизни случиться».

И стало Михаилу Ивановичу до того неудобно и чего-то стыдно, что он и день своего рождения проклинал, и жизни совестился, и так разволновался, что, когда вошла матушка Федосеевна с яичком и бутербродами, лежал он опять в горячке.

— Эх, незадача чертова, — ругалась матушка Федосеевна, — не дай Бог помрет.

Но к вечеру Михаил Иванович отошел, и видно было, что отошел окончательно. Даже румянец появился у него на щеках. Он с аппетитом съел много разных вкусных вещей, каких не пробовал или пробовал, но давным-давно, что и вкус позабыл: съел он бутерброд с красной икрой, потом съел два бутерброда с черной, потом Федосеевна принесла ему очищенные ананасные дольки да стакан гранатового сока.

— Пей, родимый, ешь поболее, — уговаривала Федосеевна, — поправляйся. Гранатовый сок — он силы восстанавливает, кровь от него чище становится. Пей, я еще принесу.

И несла еще стакан, еще порцию ананаса.

Михаил Иванович насытился и откинулся на подушки. Им овладело чувство полного удовлетворения, а стало быть, безразличия к дальнейшей своей судьбе. Единственно, он предполагал, что платить за лакомства он не будет, а трудовая копеечка у него есть. Потом он задремал, задремал сладко и как-то счастливо, спокойно и проснулся от боя больших настенных часов. В комнату заглянула матушка Федосеевна и исчезла. В сей же момент Михаил Иванович услышал постукивание каблуков, дверь распахнулась, и в комнату при полном мундире вошел генерал Матвей Сидорович.

— Здравствуй, Михаил Иванович, орел ты мой! — протягивал ему руку генерал.

У Михаила Ивановича сердце забилося, кровь залила щеки, и он, как школьник, попытался было вскочить.

— Ну, братец мой, не суетись, не вскакивай, не на параде, а, можно сказать, в госпитале. — Генерал нашел руку Михаила Ивановича, осторожно пожал ее, представился: — Генерал-полковник Носков Матвей Сидорович. Будем знакомы.

Матвей Сидорович придвинул стул и сел у кровати.

— Такие вот дела, Михаил Иванович, немного я тебя того, подбил. Но ты не волнуйся, ничего страшного нет, полный порядок. Да ты молодцом выглядишь, орлом! В каком звании находишься?

— Э... то есть, — Михаил Иванович от смущения потерял все слова, — я... это... не имел возможности, потому необученный, рядовой...

— Штатский, значит.

— Да, штатский, штатский,— закивал Михаил Иванович,— но... это...

— Что «это»? Ты меня не стесняйся, я хоть генерал, да человек простой, из Рязанской губернии.

— Это... я... работаю я по военному делу...

— Знаю, знаю. Твоему начальству звонил, лично предупредил. Хорошую характеристику тебе начальник дал, как его?

— Никита Петрович.

— Да, да! Никита Петрович. Очень хорошо о тебе отзывался. Я ему сказал, что лично в этом случае участие принимаю. Подобрали, мол, тебя около госпиталя, навещать, мол, тебя нельзя, но состояние отличное. Так что ты не беспокойся, все будет улажено миром, по-хорошему. Ты в обиде не останешься, а мне все это очень неприятно. Служба есть служба, и друзей много и врагов, сам понимаешь, из мухи слона сделают, все с ног на голову поставят, а мы наше дело полюбовно решим, понимаешь?

— Да, конечно, конечно... понимаю... как не понять,— кивал Михаил Иванович, хотя ровным счетом ничего не понимал, волновался, да и голова после горячки была слаба, и он никак не мог в толк взять, что за дела у него с генералом, что за враги, что за друзья.

— Ну вот и хорошо, Михаил Иванович, поправляйся. Я тебе надоедать не буду. Родственников близких, как я выяснил, у тебя нет...

— Нет.

— И хорошо, поправляйся, ни о чем не думай. Я завтра на Дальний Восток улетаю с инспекцией, служба! Но через недельку прилечу, прилечу... Тогда мы с тобой поговорим как следует, за рюмочкой армянского, а?

— Это... это...— лепетал Михаил Иванович,— это, конечно... служба...

— А за тобой тут Федосеевна посмотрит, все тебе подаст, что душе угодно. Ты не стесняйся, заказывай ей завтраки, обеды, по собственному меню. Да ешь побольше, плотнее, тогда и здоровье быстро в форму войдет. Лекарства лекарствами, а когда в животе пусто, так никакие лекарства не помогут, так ведь?

— Так точно, товарищ генерал! — начал обретать голос Михаил Иванович.

— Ну уж, товарищ генерал, зови меня Матвеем Сидоровичем, будь проще, считай, что к родственнику на отдых приехал, к старому другу. Я к тебе врача приставил, хорошего врача, полковника Замойского. Так ты его слушай и все предписания выполняй. Он мужик башковитый, он тебя на ноги быстро поставит. Ну, поправляйся, Михаил Иванович, не волнуйся, мне перед дорогой выспаться надо, да и тебя сильно беспокоить рановато,— и генерал опять нашел руку Михаила Ивановича и опять осторожно пожал ее.

— Спокойных снов, штатский человек,— подмигнул генерал.

— До свидания, товарищ... э... э... Матвей Сидорович,— отвечал Михаил Иванович,— до свидания.

Генерал поднялся, поставил стул на место и затопал каблуками по блестящему паркету.

Когда генерал ушел, Михаила Ивановича пот прошиб с волнения и тоски.

— И чего же я такой глупый,— ругал он себя,— и двух слов по-русски выговорить не могу. Какой-нибудь негр австралийский и тот, наверно, лучше меня разговор ведет. Прямо стыдно — русский человек, а по-русски не кумекаю,— так ругал он себя долго, кряхтел, постанывал, не от боли, а от своих собственных на себя ругательств, да и заснул сном тревожным, больным.

На следующий день пришел врач — полковник Замойский. Долго осматривал Михаила Ивановича, щупал ногу, интересовался головными болями, успокоил насчет бюллетеня, оставил Михаилу Ивановичу таблетки и, вообще, поговорил на разные темы. Сразу видно было, что человек он и впрямь башковитый и образованный.

Федосеевна носила Михаилу Ивановичу разные закуски. Сварила ему куриный бульон, нажарила котлет, и Михаил Иванович, живший всегда один, прямо-таки растаял от заботы, которой он никогда не имел, от человеческой ласки и внимания.

Все желания его были предупреждены, всего он получал в избытке и самого лучшего качества. И мысли его, как всякого больного человека, были адресованы к Богу.

«Господи,— думал он,— до чего ж хорошо у добрых людей! Слава Богу, что на свете остались добрые люди».

Через три дня Михаил Иванович начал подниматься и с клюшкой ходить по квартире. Квартира была двухкомнатная, но комнаты были большие — прямо залы. Одна служила кабинетом Матвею Сидоровичу, в ней стояли стеллажи, книжные шкафы, большой письменный стол да канцелярский кожаный диван; другую, которую занимал Михаил Иванович, служила спальней. Была еще одна маленькая комнатка, около кухни, в ней жила Федосеевна.

Михаил Иванович слонялся по комнатам, присаживался на кожаный диван с книжкой, парил в ванной ушибленную ногу, обедал, гулял на балконе, предвительно закутавшись в теплый салоп, болтал с Федосеевной, а по вечерам они устраивались перебраться в «подкидного» да смотрели телевизор. В общем, проводил он неделю, как в санатории, как в доме отдыха, по самому что ни на есть первейшему классу.

Федосеевна рассказала ему, что эта квартира генералу для работы дана, а живет он на Кутузовском проспекте, там у него жена и младшая дочь. А сыновья уже оперились, что

вот сама она, Федосеевна, их выпестовала. Один нынче полковник, а другой тоже большой чин занимает. И что она с ними уже лет сорок живет, из одной деревни они с Матвеем Сидоровичем, он ее выписал, как детки у него пошли, еще до войны. А как эту квартиру он взял, так ее сюда определил, говорит: «Была ты, Федосеевна, нянькой, а теперь эконошкой будешь».

— Стало быть, и я на повышение пошла к старости,— говорила Федосеевна.

«До чего ж хорошо быть великим человеком,— думал Михаил Иванович,— иметь перед обществом заслуги». Вот ведь как! А он ничегошеньки в жизни не успел и все по робости своей, застенчивости. Быть бы ему сейчас на месте хотя бы Никиты Петровича, но раз уж на роду не уготовано, значит, старайся не старайся, а толку не будет. Не дано быть великим, и все тут. Помрешь, никому не нужный, разве помянут за карточным столом Катерина Афанасьевна да супруги Кочетовы: вот, дескать, был хороший человек, был да умер.

А через неделю Михаил Иванович уже совсем поправился. Ключку он оставил, и, хотя нога побаливала и была цвета фиолетового, он мог даже промаршировать перед Матвеем Сидоровичем, который должен был приехать со дня на день.

Матвей Сидорович приехал вечером восьмого дня, как и обещал, и, обнимая Михаила Ивановича и похлопывая его по спине, гудел:

— Ну молодец, орел! Уже и ходишь без ключки, ну молодец! Федосеевна,— приказывал он,— тащи закуски, сейчас мы с Михаилом Ивановичем по маленькой пропустим.

Федосеевна накрыла письменный стол крахмальной скатертью, устала закусками, а Матвей Сидорович вытащил из портфеля бутылку коньяку и разлил его в два фужера.

— Я... это, не пью ведь,— сказал Михаил Иванович.

— Это хорошо,— ответил Матвей Сидорович,— пить не нужно, а выпить не грех, особенно коньячку, да не какого-нибудь, а самого лучшего, из Еревана, из подвалов.

Он поднял фужер, и зазвенел хрусталь.

— Давай, давай,— приободрял генерал.

Михаил Иванович, давясь, проглотил полбокала краснокоричневого крепкого напитка, а остальное не смог, судорога перехватывала непривычное горло.

— А ты запей,— советовал генерал,— или лимончиком, лимончиком — очень хорошо.

Они прекрасно поужинали, приятная дремота начала овладевать Михаилом Ивановичем, голова легко кружилась, генерал рассказывал ему военные истории и под свои рассказы выпил вторую бутылку коньяку и наконец сказал:

— Значит, так, Михаил Иванович, вижу, что ты совсем

на поправку пошел, да и Замойский мне это же говорил, стало быть, пора тебя из госпиталя выписывать.

До Михаила Ивановича смысл сказанных слов дошел не сразу, а когда дошел, он суетливо вскочил и начал благодарить Матвея Сидоровича за оказанную помощь.

— Это, конечно, что же я,— толковал Михаил Иванович,— пора, пора, уж здоров я. Пора мне и честь знать, что называется. Пора домой к своим делам, хоть пустяшные, конечно, дела, а все-таки дела.

И Михаил Иванович прямо выпрыгнул из-за стола.

— Да ты постой,— говорил Матвей Сидорович,— не суетись. И что ж ты, братец, такой суетливый, ты сегодня ночью поспи, а уж завтра и того, соберешься. Чин чинном. Завтра и пойдешь. Вот тебе, во-первых, бумажка с адресом,— Матвей Сидорович покопался в бумажнике и протянул Михаилу Ивановичу листок,— в госпиталь зайдешь к Замойскому, он тебе бюллетень оформит по всем правилам да осмотрит в последний раз. Да, вот тебе от меня лично,— и тут Матвей Сидорович достал из внутреннего кармана пачку денег.

— Да... это... что вы, Матвей Сидорович, не надо... я и так должником... благодарен за лечение...— отказывался Михаил Иванович.

— Бери, бери,— гудел генерал,— дают — бери, бьют — беги, понял? Так-то. Тут триста рублей, это тебе вроде бы как помощь от профсоюза на отдых, лечение. Ведь виноват, не спорю, и деньгами, конечно, дела не решишь, но и деньги не помеха, так-то.

И Матвей Сидорович всунул в руку растерявшегося Михаила Ивановича бумажки.

— Вот и останется все между нами, понял?

— Понимаю, понимаю,— говорил Михаил Иванович.

— И никому об этом не рассказывай. Замойский сделает тебе бюллетень как несчастный случай, а что, чего да как — этого ты никому не говори. Мол, сбила машина около военного госпиталя, тебя в него положили, а какая машина — да черт ее знает какая, много их на улице, машин-то, понял?

— Понял, Матвей Сидорович,— улыбался Михаил Иванович, улыбался, радовался от причастности к тайне, от доверия, что ему доверяет такой человек, уважает его, простого Михаила Ивановича, надеется на его порядочность, верит его слову.

— Так-то браток, такие, выходит, пироги,— сказал, поднимаясь, Матвей Сидорович,— значит, все мы с тобой уладили, а мне пора, дома заждались, сам понимаешь — семья! А ты ко мне заходи, по-свойски, по-приятельски. Как-нибудь выпьем еще, поговорим о том о сем.

После того случая прошло пять лет.

За такое долгое время в жизни Михаила Ивановича

особенного ничего не случилось. Тайну свою он хранил, а к Матвею Сидоровичу заходить постеснялся.

Прогуливаясь, не раз он подходил к его дому, глядел на свет в широких окнах, да тут понимал, что просто права не имеет отрывать важного человека от важных, может быть государственной важности, дел. Однажды, проходя мимо, он увидел, как к подъезду подкатила «Чайка», и увидел самого Матвея Сидоровича, выходящего из машины в окружении каких-то дам, видимо жены и дочери.

Однажды встретил он Федосеевну в магазине «Молоко», но та еле узнала его.

И наконец, все это осталось где-то за пределами реального, и Михаилу Ивановичу все случившееся начало представляться если не сказкой, то и не былью. И единственным вещественным напоминанием о прекрасных днях, проведенных в генеральской квартире, был телевизор, купленный сразу же после выздоровления.

Михаил Иванович свой жизненный уклад не изменил: вставал рано, спешил на работу, откладывал деньги на новый костюм или ботинки. По-прежнему его уважали и к двадцатипятилетию работы в конструкторском бюро прибавили пять рублей к окладу. Начальником у него был тот же Никита Петрович, давший такую хорошую характеристику Матвею Сидоровичу.

Дома у Михаила Ивановича было одинаково нормально. В картишки он поигрывал по пятницам и субботам, и, надо сказать, весьма успешно, так успешно, что язвительный Николай Иванович, сожитель Катерины Афанасьевны, прилепил ему кличку Германн. За карточным столом все так и звали его — Германн.

— Ну, Германну прет сегодня!.. Ты посмотри, у Германна опять красные мальчишки!

Но Михаил Иванович не обижался, а только потихоньку, про себя, посмеивался.

«Германн так Германн,— думал он,— а главное, гоните сорок восемь копеечек, вот и все тут».

Скоросшивателей с вырезками иностранного юмора у Михаила Ивановича было уже шесть.

Тетрадку за девяносто копеек о великих личностях он исписал и завел новую.

И еще он завел специальную папку, в которую заносил все, что писали в газете «Красная звезда» о Матвее Сидоровиче, и все то, что печатал в газетах сам Матвей Сидорович. И совсем недавно он узнал, что ему присвоили очередное воинское звание — генерала армии.

А еще через год Михаил Иванович начал чувствовать страшную слабость и потливость. Он приобрел специальное заграничное средство от пота, но ему оно не помогало.

Потом у него начали трястись руки, да так сильно, как у Марии Павловны с перепоя. А однажды произошел пол-

ный конфуз. Он, не знамо как, не ведая, что творит, нарисовал на листе ватмана странную химеру и тем испортил почти годовой чертеж.

Приблизительно через неделю после этого странного поступка Михаил Иванович стал понимать, что весь мир — это его собственная выдумка и все, что происходит, есть просто пустая затея воображения. Далее его болезнь прогрессировала в том направлении, что полностью отсутствует мировое движение, а все вроде бы как в телевизоре: и движется, но стоит на месте. Он перестал ходить на работу, заперся в комнате, не отвечая на призывы Катерины Афанасьевны и супругов Кочетовых. И так Михаил Иванович просидел в комнате еще неделю, пока не пришли к нему по поручению начальства молодые инженеры проведать да истратить профсоюзные три рубля. Но Михаил Иванович в комнату их не пустил, но зато подал голос, ослабевший за время добровольного голодания. Он тоненько прокричал им:

— Пойдите прочь. Я вас не звал. Вы все есть обман, воровьи вы проклятые.

Тогда молодые инженеры переглянулись, посоветовались с Катериной Афанасьевной, многозначительно повертели пальцами у висков и вызвали скорую психиатрическую помощь.

Психоперевозка приехала. Три здоровых санитаря осторожно взломали замок, боясь, что Михаил Иванович выскочит в окно, и в одно мгновение впрыгнули в комнату и ухватили Михаила Ивановича за руки. Но он не сопротивлялся, он стоял такой маленький, шупленький, в чуть желтоватых кальсонах и безудержно смеялся. Потом посерьезнел, самостоятельно оделся и, не принуждаемый никем, вышел из квартиры. По бокам, ограждая его от строя любопытных, вышагивали санитары.

Михаил Иванович дошел до машины и перед тем, как исчезнуть в медицинской карете, весь выпрямился, приподнялся на цыпочки и крикнул через головы собравшейся толпы, крикнул куда-то вдаль, в переулок или, может быть, вообще всему миру крикнул:

— Да здравствует Матвей Сидорович!

*Виктор Коркия*

## СОРОК СОРОКОВ

### Поэма

К тысячелетию крещения Руси

Такой наив, такой интим,  
такие робкие флюиды!..  
Мы в невесомости летим  
веселые, как инвалиды.  
Под нами старая Москва  
и все кресты Замоскворечья.  
Над нами не растет трава,  
не прорастая в просторечье.

И пепел десяти веков  
на нищих духом оседает,  
и тайно сорок сороков  
во тьме, как матери, рыдают.  
И то, что их в природе нет,  
как нет и матери-природы,  
отбрасывает тайный свет  
на эти призрачные годы.

Высок останкинский костыль,  
но пусто в мировом эфире,  
где только вековая пыль  
не спорит о войне и мире.  
Эпоха видео прошла.  
Идея вылезла наружу  
и по-пластунски поползла,  
как допотопный гад на сушу.

Жизнь поворачивает вспять,  
вспять поворачивают реки,  
а путь страдальческий опять  
уводит из варягов в греки.  
И восхищает тишина,  
в которой слышен глас народа.  
Кому-то родина — жена,  
а мне любовница — свобода!..

Лежу с разбитой головой  
на дне граненого стакана.  
Вокруг по стрелке часовой  
текут четыре океана.



Аэропорт пяти морей  
играет западные гимны.  
Химеры совести моей  
с похмелья радиоактивны.

Из ничего, из пустоты  
плывут в мои ночные бденья  
руководящие персты  
и непристойные виденья.  
Низы взбираются к верхам,  
верхи во мне сознание будят,  
но так как я — Грядущий Хам,  
меня в России не убудет.

В сугробах ядерной зимы,  
на свалке золотого века,  
непогрешимые умы  
все как один — за человека!  
А для меня давно равны  
и человечество, и зверство.  
Любовь как антипод войны  
предполагает изуверство.

Трепещущий, смотрю вперед.  
А впереди под гром победный  
с коня спускается в народ  
позеленевший Всадник Медный.  
И перед ним его страна  
лежит огромная, как плаха.  
Забилась в щели старина,  
но ненависть сильнее страха!

А царь по-аглицки поет  
и любит подпустить амура.  
А царь по-плотницки идет  
В Преображенское из МУРа.  
Скрипит вокруг своей оси  
самодержавная махина,  
и Государь всея Руси  
не помнит ни отца, ни сына.

Он верит: три богатыря,  
здоровые, как самосвалы,  
осушат лунные моря  
и марсианские каналы.  
Так много планов на века,  
что жить не хочется сегодня.  
Крута железная рука,  
а все же не рука господня!..

И замирает Третий Рим,  
и шепчет городам и весям:  
«Мы за ценой не постоим,  
зато обмерим и обвесим!..  
Пока ты жив, ты полубог,  
вась-вась с английской королевой,  
но всех отечественных блох  
не подкуешь одною левой!..  
Ты можешь росчерком пера  
забрать последние полушки,  
но ты не сможешь, немчура,  
все слезы перелить в царь-пушки!..»

Петр Алексеевич, ау!  
Наш путь измерен батогами —  
и поздно измерять Москву  
бесповоротными шагами.  
Но верит бедный властелин,  
что заждалась его Россия,  
а что зажглась звезда Полюнь,  
не возвестил еще мессия.  
И начинается, как встарь,  
брожение на больших дорогах.  
Очнись, Великий Государь,  
Послушай, что поют в острогах.  
Не слышит, ирод, смотрит в рот,  
как патриот на самодура.

Сперва цари идут в народ  
и лишь вослед — литература.

Литература — это я.  
Но кто об этом знает ныне?  
Не слышит русская земля  
глас вопиющего в пустыне.

Златая цепь добра и зла  
облагороживает лица,  
и от двуглавого орла  
рождается стальная птица.  
Она взлетает, как топор,  
взлетает — и садится в лужу.  
Но этот пламенный мотор  
в себе подозревает душу!  
И не одну, а тонны душ,  
а — кубометры, киловатты,  
где все: и глад, и мор, и сушь,  
и сплошь, и рядом — демократы!  
Где кто не с нами — против нас,  
и любера, и хор цыганский,

где и ВАСХНИЛ, и Вхутемас,  
и мертвый час резни гражданской,  
и клоч боярской бороды,  
и Оружейная палата,  
и три столетия Орды  
внутри душманского халата,  
и Колыма, и Сталинград,  
и к звездам райская дорога,  
и Бог, что пусть не во сто-крат,  
но вдвое больше полубога!

И в том, что Он — и миф, и взрыв,  
и формула, и откровенье —  
такой интим, такой наив,  
такое светопреставленье!..

По-бычьи на берегах Невы  
мычит священная корова,  
и гордо восседают львы  
на яйцах из гнезда Петрова.  
Я вас люблю, цари зверей,  
я вас люблю, цари природы,  
я вас люблю, цари царей,  
люблю, но я — другой породы.  
Я тот, кто выпал из гнезда,  
кому нет времени и места.  
Гори, гори, моя звезда!  
Идет на бойню марш протеста.

Осатанел глагол времен,  
и социальная нирвана  
с цепи спустила Тихий Дон  
безалкогольного дурмана.  
Не стало истины в вине,  
и робот выжимает соки,  
дабы прочухались на дне  
в своем отечестве пророки.

Но я еще не весь опух,  
не упиваюсь самоедством  
и раздражаю русский дух,  
из цели сделавшийся средством.

Вотще помадою губной  
меня помазала столица.  
В России клетки нет грудной,  
где не сидит стальная птица.  
Но эта курочка смогла  
снести яички при Батые.  
Как на закате купола,

горят скорлупки золотые!..  
Такой наив, такой интим,  
такая мирная планида!..  
В своих скорлупках мы сидим  
и не показываем вида.  
Нас тьмы и тьмы. Нам нет числа.  
Да мы и не вникаем в числа,  
не зная ни добра, ни зла,  
ни политического смысла.  
Мы сон вкушаем наяву  
и пьем денатурат без меры,  
но уж когда спалим Москву  
во имя родины и веры,  
тогда, как треснет скорлупа —  
ужо друг дружку позабавим:  
кишкой последнего попа  
последнего царя удавим —  
и понастроим лагерей,  
и проведем газопроводы  
в раю без окон, без дверей,  
где все рабы своей свободой!..

...Посередине жития,  
один как перст себе подобный,  
все чаще ощущаю я  
животный страх, но смех утробный —  
небрежный плод мужских забав,  
бессонниц, легких вдохновений —  
пикантней всех других приправ.  
На помощь, мой веселый гений!

И я жуирую с толпой,  
как политрук с Прекрасной Дамой,  
и скрещиваю взгляд слепой  
с международной панорамой.

Очередной иллюзион.  
Апостол Петр стреляет в папу.  
Царь Петр клеймит его в ООН  
и поднимается по трапу.  
Аплодисменты. Все о'кэй!  
Парад-алле антиутопий.  
И продолжается хоккей  
по всей безъядерной Европе!  
На страже мира — страж ворот.  
И маска от лица спасает.  
Бросок! Удар ногой в живот!  
Счастливчик клюшкой потрясает!  
И рев, и вой, и свист, и стон  
на полпути из грязи в князи,

и вскакивает стадион  
в нечеловеческом экстазе!..

Люблю тотальное добро!  
И что есть силы, что есть мочи  
люблю влагалища метро,  
открытые до часу ночи!..

Любви неистойвой такой  
не знал на поле Куликовом  
Лжедмитрий, некогда Донской,  
и пал в побоище ледовом.  
Красивый труп еще дышал,  
не понимая, что случилось,  
но Юрьев день жидов прижал,  
и сердце Грозного смягчилось.  
И он тогда пришил сынка,  
назначил Ермака Малютой,  
завел в опричнине ЧК  
и начал брать оброк валютой.  
Но поп тишайший, Аввакум,  
мутил народ, и Стенька Разин  
разжег пожар из мрачных дум  
и стал Петру огнеопасен.  
И Петр, естественно, решил  
загнать Америку соседу,  
пришил сынка, но поспешил  
грозить в Афганистане шведу.  
И чтобы не сойти с ума,  
он сотворил себе кумира.  
Но, к счастью, Англия — тюрьма,  
где в моде варварская лира.  
Хан Карл-Адольф-Наполеон  
разбил казаков и калмыков,  
но дикий бабий батальон  
прогнал дванадесять языков.  
Екатерина, сгоряча  
прорвав блокаду «Англетера»,  
пришила мужа-пугача  
и вышла замуж за Вольтера.  
Их первый сын блистал умом,  
второй пять лет на Мальте правил,  
а третий умер перед сном,  
но в рамках самых честных правил  
Так Пушкин, веривший в судьбу,  
был заточен в Святые горы,  
где описал, уже в гробу,  
ветхозаветный залп «Авроры».  
Но мода — деспот меж людей,  
знакомых с властью брадобреев.

Генералиссимус идей  
любил арапов и евреев.  
Он обобщил своих князей  
и, верный классовому чувству,  
в Кремле устроил дом-музей,  
где плакал от любви к искусству.

Любви неистойвой такой..  
Но нет, не начинать же снова!  
Пусть скажет кто-нибудь другой  
в другие дни другое слово.  
А я пойду своим путем,  
путем завещанным, старинным —  
за гением и за скотом —  
и вслед за Богом триединым!..

Пряма, как Ленинский проспект,  
Во мне История петляет,  
и счастья типовой проект  
не зря мой краткий курс питает.

Увы, боюсь войти во вкус,  
но трусоват, как Ваня бедный,  
люблю я варварскую Русь  
любовью странной, безответной.  
Люблю — и если зря, пусть зря,  
пусть не по праву первородства,  
но не по манию царя,  
а по наитию сиротства!

На то, что Летопись мою  
продолжит Время, уповаю.  
А я что вижу, то пою,  
а что пою — то отпеваю!..

Дела давно минувших дней,  
свежи газетные преданья!..  
Живая очередь теней  
в потомках ищет оправданья.  
И перед мысленной чертой,  
еще не преданный без лести,  
я тоже в очереди той  
торчу, как пень на Лобном месте.  
И флаги всех отсталых стран  
стоят в почетном карауле  
в полуподпольный ресторан,  
где в баре есть кинзмараули.  
Народов дружная семья,  
в которой я не без уroda.

Все ближе очередь моя,  
все утомительней свобода...

Не тает прошлогодний снег.  
А завтра — кто в сей мир придет?..  
Толпа людей — сверхчеловек  
и человека ненавидит.  
Ни Третий Рейх, ни Третий Рим  
не ведают, кто третий лишний,  
а третий так необходим —  
себе подобный и всевышний!..

На ком почиет благодать?  
Кто приглашен на белый танец?  
Ужели, братья, опять  
в яйце созреет самозванец?..  
Тишинский, тушинский ли вор?  
Напрасно память напрягаю.  
Но сам пишу свой приговор  
и дерзко руку прилагаю.  
Аз грешен. Господи, спаси!  
Молитва глохнет в стекловате.  
Быть самозванцем на Руси —  
не знак ли вышней благодати?..

В чем истина, спрошу, и где?  
И скромно потирают руки  
пилатствующий во Христе  
и мученица лженауки.  
Их — как нерезаных собак,  
они до истины охочи,  
но любят превращать бардак  
в варфоломеевские ночи.

И, боже мой, откуда знать,  
кто дышит мне сейчас в затылок,  
из чьей руки придется взять  
свой окровавленный обмылок?..

Не дрейфь, пиитик записной,  
и дело шей собственноручно.  
Не нужен выход запасной.  
Безверие антинаучно.  
Конвейер Спаса на Крови  
работает без передышки.  
Живи и Бога не гневи,  
о смерти зная понаслышке.  
Живи и здравствуй! Пей до дна.  
Безмолвствуя, ходи в народе  
и пой, дурак, на злобу дня,  
что ты незлобен по природе!..

Я сплю на разных полюсах,  
я прозреваю в полудреме...  
Апостол Петр стоит в слезах,  
один как перст в казенном доме.  
«Уж если Англия — тюрьма,  
Россия, стало быть, психушка?..»  
Апостол смотрит на дома —  
в каком снесет яйцо кукушка?  
В гостинице, которой нет,  
апостол бродит, как химера,  
и на есенинский портрет  
глядит с любовью изувера.  
А за окном — весна, теплынь,  
и синева небес, и флаги...  
Горит, горит звезда Полюнь  
в своем бетонном саркофаге!..  
«Ликуй же, Третий Рим, ликуй!  
Ужо однажды потолкуем!..»  
«Мин херц, а помнишь ли Кукуй?  
Поди забыл? А мы — кукуем!..»  
Откуда эти голоса?  
Кто их под утро посылает?  
Самозабвенная слеза  
картины жизни застилает.  
Апостол плачет над Москвой,  
не чувствуя в себе предтечу.  
По Питерской, по осевой,  
царь Петр летит заре навстречу.  
Но нет Спасителя Христа,  
и правда стала бесполезной.  
И Вифлеемская звезда  
осветит занавес железный.

И трижды прокричит яйцо,  
и отречется инкубатор,  
и все Садовое кольцо  
заменит круглый эскалатор!  
Опухший глиняный колосс  
воспрянет в луже по колено,  
и миллион бумажных роз  
на волю выпорхнет из плена.  
На круги вечные своя  
вернутся Бродский и Малюта,  
и вздрогнет в сердце, как змея,  
тысячелетняя минута!..

И вздрогнет старая Москва,  
и ей, быть может, станет дурно,  
что правит всем не голова,  
а избирательная урна.



Петр Алексеев, бомбардир!  
Ты создал адский вырезвитель.  
Но ты — души моей кумир,  
а я — высоких зрелищ зритель!  
Из пустоты, из ничего,  
с анекдотической орбиты  
свисает вниз Конец Всего,  
а мы в гробу видали виды!  
И нас не купишь на испуг  
ни по дешевке, ни по пьянке.  
История опишет круг  
и завершится на Лубянке.

Рыдают сорок сороков.  
Опасны на Руси прогнозы,  
И память десяти веков  
прожгли не истины, а слезы...

Целую твой холодный лоб.  
Я помню о тебе, Катюша.  
Уходит вниз тяжелый гроб.  
Ты не нашла на свете мужа.  
Я видел твой последний вздох.  
Господь даруй тебе спасенье.  
Ты умерла тридцати трех.  
Ты отстрадалась в воскресенье.  
Под Химками железный крест.  
И ранний снег до боли светел.  
Не пишет дочь из дальних мест,  
И под землей не ты, а пепел...

И снова прилетят грачи,  
и юный Бережков заплачет,  
и Петр вручит ему ключи,  
и он в пустой карман их спрячет,  
Заплачет мой бесценный друг  
и всем откроет двери рая,  
и нас, толпящихся вокруг,  
вперед пропустит, умирая.  
На кухне, в райской тишине,  
он мир исправить не пытался  
и, плача, улыбался мне,  
как мне никто не улыбался...

И нас, наивных, дураков,  
невинных в некотором роде,  
оплачут сорок сороков,  
когда не будет нас в природе...  
В озонной, в черной ли дыре,  
в могиле братской и небесной,

в июне или в декабре  
мы встанем перед общей бездной?..

Нас мало, истинных калек,  
сожравших пуд российской соли.  
Принципальный человек  
не размножается в неволе.  
А мы — родители детей,  
которым ничего не дали...

Гремит коробка скоростей,  
век нажимает на педали!..  
Все уже круг широких масс.  
«Аврора» чахнет на приколе.  
И в космос щурят рыбный глаз  
гермафродиты поневоле.  
Безумно счастливы, оне  
блаженствуют, как мирный атом,  
когда в надмирной тишине  
корабль стыкуется с собратом.  
Я сам испытывал оргазм,  
во мне все так же трепетало,  
когда я зрел последний спазм  
в металл входящего металла.  
Я созерцал из забвения  
секс-бомбы ядерной строење  
и масс критических ея  
интимное соединенье!..

И ты, Конец Всего, герой  
астральной лирики амурной,  
Не ты ли. . . . .  
: : : : : : : : : :  
. . . . .

...Когда какой-нибудь вампир  
меня обводит нежным взглядом  
и произносит: «Миру мир!» —  
клею безделье позором,  
я в трансе, вне себя, а он  
при мне сношается с народом  
и переходит Рубикон,  
как все, подземным переходом.

Чтобы не видеть эту муть,  
я вырубаю третье око,  
но ни забыться, ни заснуть  
я не могу по воле рока.  
Врубаю вновь и вижу вновь —  
все та же мерзкая порнуха,

— Не безопасность, а любовь! —  
кричу в его цветное ухо.  
Не слышит, ирод, хмурит бровь,  
пот благородный отирает.  
— Не безопасность, а любовь!..  
Но он любви не доверяет.  
Опять о дружбе говорит.  
Какая дружба?!

Взгляд свой вперит,  
Надеется. Благодарит.  
Считает. Одобряет. Верит...  
— Не безопасность, а любовь!  
Бог любит троицу, приятель.  
Я покрываю вашу кровь.  
Любовник я, а не каратель!..

...И не судим, и не сужу,  
и сладок крестный путь познания.  
Чем глубже в землю ухожу,  
тем ближе к центру мироздания.  
Чем дальше забираюсь ввысь,  
тем очевидней чья-то шутка:  
«Ложь изреченная есть мысль!» —  
и мне от этой мысли жутко...

И обреченные слова  
летят в небесную обитель  
и падают в бассейн «Москва»,  
где под водой Христос Спаситель.  
Он тихо смотрит на пловцов,  
над ним бестрепетно плывущих,  
на человеческих ловцов,  
чье место пусто в райских кушах.  
Чье место свято на земле,  
где свет не гаснет дни и ночи,  
и бледный кайф в подводной мгле,  
и хлорка разъедает очи.  
Куда ж нам плыть?..

Вопрос не нов.  
Но повторим его, пожалуй,  
авось не потрепем основ  
Руси Великой, Белой, Малой  
и прочая...

Куда ж нам плыть?..  
Скажи, пророк, ответь, философ.  
Поэтом можешь ты не быть...

Не задавай чужих вопросов!



## Илья Кутик

### ПЯТИБОРЬЕ ЧУВСТВ

#### ВСТУПЛЕНИЕ

andante — allegretto — presto

Пять всадников меня переезжают вброд.  
Есть иглы у ежа, а у души — Нимврод,

вечнозеленый царь, поганая веселость,  
а у того — комар, сквозь гайморову полость

проникший в мозг его, чтобы кусать и жечь.  
Так, если заглянуть через заслонку в печь,

увидишь, что кирпич с изнанки желт и черен,  
хотя извне — румян. Грушницкий и Печориц,

извечный Янус душ... Но у каких менял  
взамен себя как есть я получу — меня?

Пять всадников поток пересекают вброд.  
Смыкает кровь во мне свой ярко-красный рот,

выкатываясь к ним всей нижней губою,  
как будто заслонить им хочет путь собою.

Но те проходят внутрь по трещине губы,  
как отмелью до них — рабыни и рабы,

когда раздался вал в шумящем море Чермном,  
и тотчас же оно спокойным стало, чемным<sup>1</sup>.

О визии мои, вы — наподобье виз  
в ту самую страну, где спутан верх и низ,

но никогда, увы, не одарит Элизий  
меня, спесивца од, таким смягеньем визий,

как день, прожитый тем, что изнутри сосет.  
Пять всадников меня переезжают вброд.

Но дальше нет пути: ведь чуть я в душу глянусь,  
не я в ней отражусь, а мой проклятый Янус.

---

<sup>1</sup> Чемным — воспитанным (укр.).

двуликий, роковой, державный ореол,  
оттиснутый на ней, как решка и орел,

и весь свой монолог — дружком на барабане —  
так и гарцуешь ты на их ребристой грани...

Чего же надо вам? Да, всем вам — раз, два, три и  
четыре, пять... Чего? Историй? Истерики?

Историй? Но от их спокойных падежей  
не вымрут комары, ни иглы у ежей...

Истерики? Ну что ж, пожалуйста, извольте,—  
лишь крутану душой, как барабаном в кольце,

и мой телесный ствол прорежет колкий ток...  
Вы слышали, как кот, свалившись в водосток,  
продергивает ор сквозь ливня голос козний,—  
Карузо этих труб, узлища коррозии,—

по на пустой асфальт выталкивает течь  
не львиный залп его, а грязных брызг картель?..

Так пусть сквозь их Дарьял неистовствует Терек,  
стихи — не матерьял для мартовских истерик!

Лежу, а надо мной рука Творца плывет...  
Пять всадинок меня пересезают вброд.

## МОЛЛЮСК

У моря за щекой есть мятный леденец.  
Когда оно волной колотится у мола,  
и глохнет все и вся, от запаха ментола  
вдали растет трава и зеленеет лес.

А человеческий век нацелен, будто вектор,  
в такую пустоту, откуда — не рука ль  
кого-то, кто незрим, к нам тянется, и некто  
вторичность, словно фтор, втирает нам в эмаль.

Как дожевать кусок, не брезгуя закуской,  
не проклиная брызг, пока еще вода  
дарит меня своей улыбкой голливудской,  
и что ответить ей, что дать ей, кроме «да»?

Что дать ей, кроме «да»? В сухом немецком  
«danke»  
или в английском «thanks», в языковой болтанке,

под шелканье костей, как «рыба» в домино,  
я, как незванный гость, к ней опускаюсь на дно.

И пусть она штормит, и всходят вверх по трапу,  
чтоб в качке уцелеть, и пусть плывут оне,  
я выбираю путь сосать пустую лапу,  
и улыбаться снам, и зеленеть во сне.

### МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

О море!  
O mores! <sup>1</sup>

От волнений и битв —  
только воздух в каморе,  
и от близости моря  
знобит.

Чаю, что ли, напиток...  
Вот два однотипных стекла:  
мой стакан и окно,  
посмотрю сквозь него в то, другое,  
чтобы видеть, как шурится мгла  
сквозь граненые ребра...  
Не скрою,  
мой хрусталик — хрустален и звон издает.  
Я не ведаю, что мне взбредет.

Вз-з, — точатся ножи,  
бр-р, — фыркает лошадь,  
едет! — кричат, соскакивая с деревьев.  
Всадник — под разбойничий нож.  
Лошадь уводят по длинному снегу...

Снег с песком от закатной заварки — гнедой.  
Там прибой идет нарядать неизвестную елку,  
и, вцепившись когтями в его грязно-белую холку,  
чайка правит ездой.  
Вот и берег, но — чу! —  
снег взметнулся с размаху,  
словно кто-то в чаю  
стал размешивать сахар.  
Стало слаще немного,  
песок, растворившись, померк...  
Снег улегся опять, но со дна небосклона  
Время всплыло наверх  
циферблатом лимона.

---

<sup>1</sup> О нравы! (лат.)

Что толку ложечкою звякать?  
Хоть риски Часа вязнут в корке,  
меж них скопившаяся мякоть  
расталкивает переборки.

Время кисло на вкус, а на запах и цвет —  
его нет...

Впрочем, звяканье ложечкой — самообман  
дополнительный, ведь на  
этот звон отзывается только стакан,  
Время же — безответно,  
как и все, что нам дарит иллюзию власти любой  
над собой.  
В объекте каждом, мертвом и живом,  
есть Время, но не в нем самом.

Так чайка, например, взлетев едва,  
без десяти показывает два,  
и фосфорные светятся изгибы  
во тьме — у полиглотки рыбы...

Здесь — нет людей... А где есть люди здесь?  
Все то, что входит в существо надстройки  
и базиса, не тянет выше тройки,  
в которой чичиковы и поднесь...

Есть серые и розовые, но  
людей здесь нет, есть море, море, море,  
чей воздух отзывается в камере,  
и мякотью тяжелых брызг — в окно...

На дне стакана — самый сладкий слой,  
но, как с ним ни сражайся чайной ложкой,  
он оседает сахарною крошкой  
на стенках, ополоснутых волной...

Здесь небо в звездах, словно космонавт,  
но нужды нет в императиве Канта,  
а Время посему всегда вакантно  
и глаз не засоряет, как ландшафт...

Я Цицероном здесь блистать бы мог,  
но все слова здесь превращают в теннис,  
а потому зацыканный мой мозг  
выходит горлом, пузырясь и пенясь...

И только чайки ненасытный крик  
напомнит мне, что это — материк...



## ИЮЛЬ КОТОВ

*Н. Трауберг*

Имущие нмя котов, это — вы,  
которые, сонным предавшись утехам,  
вдыхают, не пошевельнув головы,  
с карниза нагретого ржавое лето.  
Мышиные сны их бугрятся под мехом,  
как мышцы атлета.

Июль — это месяц паломника ласк  
египетской киски, чей визг и обиды,  
и когти в подушечках красных, и воск  
растопленный во многолюбящем лоне,  
и марта кошачьего шумные иды...  
Вы видели, сони?

Но сами того даже искренним снам,  
смотрите, не выдайте видом иль словом.  
Что вам донжуанская слава, что вам  
нелепые страсти, а в старости — лепта  
от солнца — лучами по шкурке, и что вам  
все мурки Египта?..

Молчание — золото ваших пустынь,  
обильных песком и трудом водокачек,  
и речь их — журчанье в полдненную тень,  
а ваша — урчанье, когда невесомый  
Венерина зеркальца солнечный зайчик  
вы ловите дремой.

Коты, но скажите, кто помнит из вас  
воспные песни роскошного Рима?  
Не с ними теперь вы пускаетесь в пляс,  
по комнате фантик бумажный катая,  
вам их заменили буддийская дрема  
и жмурки Китая.

Но если вас ливень в окне испечет,  
ленивцев, объевшихся сном и мечтами,  
когда вспоминает разнеженный кот  
про рыбе густое и сладкое мясо, —  
ваш мех золотой засверкает мечами  
железного Марса.

И в сон ваш пробьется сражение галер,  
в борта запустивших блестящие когти,

и вспыхнет зеленое марево склер<sup>1</sup>  
огнем неумемного рвенья и прыти  
отважной. Антонии ревности, спите,  
дремлите... дремлите...

### ПЯТИБОРЬЕ ЧУВСТВ

Жизнь — внутри, ее еще никто не  
видел.

Г. К. Честертон

#### 1

О пятиборье чувств!  
Опять Борей  
на землю нашу начинает дуться,  
и дерево — по образцу индуса —  
уходит внутрь себя,  
в Сибирь своих ветвей.  
Декабрь — это дека «брей»,  
где все вибрирует, и все же  
не виден миру звук: он сжался под корою,  
как сахарный кулак, как слиток золотой,  
укрытый серою рогожей.

Вот ветка изнутри: трепещущий шатер  
луча — как рупор или конус,  
вершины острием поставленный в упор  
к стволу. Но если я дотронусь  
до ветки и ее бесшумно поверну  
лицом, то скрытый круг сеченья  
с лучом в ней совпадет и станет равен дну  
и конуса, и дну свеченья.

Я, знающий, что ствол над веткою навис,  
катыщийся мускулы атлета  
под кожей, где горит, натянутый на диск  
*оттуда* брошенного света  
малюсенький экран, не видимый во мгле  
*отсюда*, но слышна возгонка  
и мерная возня тех соков, что в стволе  
шуршат, как киноплёнка, —

я и не буду знать, какие в кадрах пор  
сюжеты утекают мимо  
под музыку, с какой сидящий там тапер  
напутствует их пантомиму.

И мне в его шатре вовеки места нет,  
так как и он, намерясь

---

<sup>1</sup> Склеры — белки (*медицинский термин*).

взглянуть в экран Луны, его не видит через  
диз своих диет.

О свет,  
вселенный в небеса и названный Селеной,—  
тебя Юпитер взял  
(ты сам юпитер — луч!), чтобы закинуть в зал  
погашенной вселенной,  
как некое кино, не ясное отсель,  
но служащее целям  
того, кто стал за ним,— один, как Бонюэль  
пред поздним Бонюэлем.

И то, что видим мы отсюда, находя  
лишь пятна,— сон о том, как  
в Данаю он проник дрожанием дождя  
и заронил потомка,  
который, повзрослев... но нет конца, пока  
в глаза небесных камер  
Горгоною грозит персеева рука,  
а мир, закрыв их, замер.

И то, что видим мы, считая за Луну,  
есть луч — безмерно длинный,  
который можно лишь определить по дну,  
не овладев вершиной.

О, световой шатер, чей круглый балаган  
в прозрачный бубен бьет и то откинет полы  
свои, то запахнет; ты вечно как бы полу-  
ткрыт и полу-дан.

Тянись, древесный ствол! Хоть к бряцанью кимвал  
небесных тоже глух ты,—  
засахаренный весь, как крошечный коралл  
на дне китайской бухты...

## 2

Ты помнишь у Курбе:  
растущих, как дубы  
в обнимку,—  
двух могучих асов,  
шагнувших на ковер классической борьбы  
из тесных рисовальных классов?  
Их схватку обнесли барьером, а жара  
прогнала облака, расчистив  
пространство, где никак не выпростает листьев  
их мускулов кора,

А за чертой борьбы, не видя этих двух,  
застыла на отлете  
безликая толпа, отождествляя дух,  
отторгнутый от этой плоти...  
Вот так и человек ушел за ту черту  
и погружен в себя —  
как иней в темноту...

Он колкостью оброс и темен, как магнит,  
среди незримой бури,  
бушующей вокруг... Один своей Сибири  
достойный сибарит.  
Он колкостью оброс, но чувство, что с крыльца  
заснеженного — боком  
съезжает по лыжне, загнувшейся брелоком,  
и сам внутри кольца  
уже висит — как ключ в той связке, где один  
кривляется в замке, тогда как все другие,  
кивая на дверной сердитый дерматин,  
звенят от ностальгии...  
Конечно, жизнь — борьба, но стоит отрешить  
свой разум от ее ухабов и колдобин,  
как ты поймешь, что их вообразить способен  
во много больше раз, чем мог бы пережить,

Нельзя не осязать, не зреть, не обонять,  
себя ж не обанкротив,  
но можно повернуть все пять природных вспять —  
теченья крови против,  
и там, в самом себе лелея свой экран,  
сраститься навсегда пучком душевной ткани  
с тем аппаратом, где таятся сотни Канн,  
а ты — как на кукане  
у них... Так вот она, так вот она — смотри! —  
та подлинная жизнь, которая связует  
всех, кто закрыт извне, — дарит, и наказует,  
и светит изнутри...

## АД И РАЙ

И в эту полночь, в этот темный час  
мы заперты, как в некий длинный ящик,  
где Рай и Ад перемешались в нас,  
как воздух с дымом в легких у курящих.

Они не полюса наверняка,  
но расположены, предполагаю,  
Ад против Ада, Рай напротив Рая,  
по принципу и виду коробка.

Но чуть на мир нисходит эта мгла,  
и ангел Рая, хоть ему не надо,  
в полете чиркнет вдруг о серу Ада,  
мы все прикурим от его крыла.

[ОТРЫВОК]

...О, сколько раз полуночный испуг  
я в темноте хватаю за запястье  
и руку отвожу — который раз...  
Кто может поручиться, что число  
его благополучных пробуждений  
равно числу отходов им ко сну?  
Быть может, в счете затерялся знак  
или число со знаком умноженья,  
которое нас завело б в тупик,  
когда мы подсчитаем дни и ночи...  
Наверное, есть где-то область, где  
они не совпадают, некий облак,  
который покрывает эту часть,  
отсутствующую во всех подсчетах, —  
который, как магнитом, тянет их,  
а отпускает от себя немногих.

Нет истины, поскольку нам ее  
вовсе не найти, и есть она,  
поскольку мы ее все время ищем...

## СМЕРТЬ ЕГОРА ИЛЬИЧА

Началось с того, что Егор Ильич заскрипел. Ах да, виноват, тут надо пояснить, что Егор Ильич — не человек, а в некотором роде шкаф. Старинный книжный шкаф. Человеческим именем обозвал его Семен Терентьевич, покойный дед моей жены. У него была такая чудная привычка давать вещам имена. Письменный стол у него звался Фемистокл Македонович, декадентская кушетка в виде створки раковины — Спандулия Кузьминична, купеческий буфет черного дерева с цветными стеклами — Петр Митрофанович. Лет двадцать назад мы разменялись квартирами и переехали на Стрелецкую, а все эти вещи остались у деда на Соколе, в его триумфальных размеров сталинской квартире. Потом случилось так, что мы с Семеном Терентьевичем разругались, полгода или около этого не виделись, и, представьте себе, за это время его обкрутила бойкая пятидесятилетняя бабенка из лимитниц (а старику шел уже восьмой десяток). И вот по воле этой бабенки, накупившей уродливых полированных ящиков, у которых по-коровьи разъезжалисьжки-прутики, все они — и рассудительный Фемистокл Македонович, и кокетливая Спандулия Кузьминична, и кряжистый Петр Митрофанович — очутились на дворовой свалке, где и встретили свою погибель под топором дворника.

Ну а Егора Ильича мы увезли с собой на Стрелецкую, потому он и остался жив. Служил нам, как говорится, верой и правдой, выдерживал все, что мы в него набивали, — и пудовые тома энциклопедий, и собрания сочинений, растянутые, как мехи гармошки, и годовые подписки толстых журналов, и плюшевые семейные альбомы... Так вот, однажды шкаф заскрипел. Не от сквозняка — Боже упаси! — сквозняков в нашей семье всегда боялись, как чумы. Не то что окна — форточки и те открывали только во дни народных потрясений. Последний раз на моей памяти это было в одна тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, в марте месяце. Заскрипел же Егор Ильич безо всякой видимой причины, сам по себе. Возраста он, конечно, был приличного, однако не смертельного. Судя по архитектуре — переход от позднего лжеампира к югендстилю, — родился он в конце века, а значит, имел девяносто плюс-минус пять лет. В его годы Ворошилов сам ложку ко рту подносил, не говоря уже о Вернадском. Но таков уж русский человек — никак не может он в полной мере взять отпущенное ему природой. Немец, тот из одного педантизма готов до ста лет прожить.

То же и француз: проскочит сто лет, как одну станцию, и не заметит, в гробу только и спохватится... Добавлю, что сделан был Егор Ильич большей частью из дуба: и шпон, и пилястры, и штапик, и мощный карниз — все это был дуб чистой воды. К тому же и несущие брусья против обыкновенного были у Егора Ильича не из бросовой мягкотелой сосны, а из крепкой русской березы. Вполне может быть, что и делали его не в партии, а по какому-нибудь частному заказу. Даже определено так и было.

Представьте себе мощное двусторчатое тело Егора Ильича с прямым карнизом, широким, как полотенце, с пилястрами во всю высоту — вот-вот пробьют потолок, с нижними квадратными филенками, с перламутровыми и ореховыми интарсиями в виде не то цветов, не то русалочьих хвостов, с арочными закруглениями матовых, цвета материнского молока стекол, с таким обширным цветным бандельверком, будто от количества резьбы зависела самая жизнь резчика, — и вы вполне в этом убедитесь.

Поначалу на поскрипывание Егора Ильича мы и внимания не обратили. Правда, нужно учесть, что в квартире нашей не солидный старый паркет, а нынешний «плавающий» — из мелких буковых плашек, кое-как наклеенных на хвойную доску. Он и впрямь под ногою плывет и скрипит, скрипит... Будто не на дерево наступаешь, а на кошачий хвост.

Наверное, мы еще долго пребывали бы в святом неведении, если б не сосед наш по лестничной площадке отставной полковник Матвей Петрович Нечитайло. Он первым заметил что-то неладное. Оно и понятно: в отличие от нас, грешных, сосед имел немалый опыт, насобачившись за годы работы по профилю. А профиль этот был столь непрост, что и тридцать лет спустя отставки Матвей Петрович сохранил в неприкосновенности свои профессиональные качества, среди коих главным значился нюх на непорядок. За этот нюх и ценили полковника на службе, которой отдал он лучшие годы жизни, ибо главной задачей его ведомства было наблюдение за соблюдением.

Название ведомства Матвея Петровича так часто менялось за годы его службы, что уж к старости он стал путаться в бесконечных аббревиатурах. «Когда я служил в ЕКЛМН... нет, когда я служил в ОПРСТ... нет, мы тогда уже назывались ЭЮЯ при АБВГД...» В общем, сам черт ногу сломит, если не подкует язык. Так что, когда я в шутку предложил однажды соседу именовать его полковником Твердого и Мягкого Знака, он ничуть не обиделся, но даже подхихикнул, найдя забавным.

Вернемся, однако, к Егору Ильичу. После замечания полковника стали мы за шкафом следить. Поначалу скрипы вроде и невелики были, — не скрипы, а так, мышинные по-

пискивания. Но затем все как-то помчалось вперед, какой-то общою лавиной, где уж не только остановиться — оглядеться невозможно. Скрипы становились все сильнее и сильнее, особенно по ночам. Несколько раз я даже просыпался в раздражении, но, понимая, что на старика сердиться глупо, умерял свое недовольство до наперстка, вставал с дивана и гладил Егора Ильича по шершавому боку в кровоподтеках облупившегося лака. Это малость помогало, и я ложился спать, чтобы через час снова вскочить с дивана от невыносимого звука.

Нервы мои стали провисать, как провода под снегом: ни с того ни с сего я накричал на жену, чем поверг ее в тихое изумление, запретил сыну и думать о Мещере, куда он собирался с компанией школьных приятелей, и в довершение к этому заперол проект, над которым наш отдел корпел добрых полгода... Ну, разумеется, не совсем чтобы заперол, однако ж премии нас лишили, отчего количество врагов моих возросло грибоподобно.

Наконец я надумал позвонить Якову Мироновичу Шварценбаху, а попросту Миронычу, как звали мы нашего домашнего доктора, который пользовал мою покойную матушку, а перед тем — ее отца. Мироныч принадлежал к старой доброй школе Баумгартена и Кошко-Иорданского, полагавшей, что три столовые ложки кагора натошак и рюмка коньяку за обедом верней поставят на ноги, чем дюжина лекарств с полупроизносимыми названиями. «Природа — лучший врач», — с детства помню эти слова Мироныча, которые он произносил заученно, как граммофонная пластинка, с одинаковыми паузами между словами, оттягивая матушке веко или накладывая на шею компресс. «Уж коли суждено человеку покинуть наш бранный мир, — продолжал далее доктор, — так он и покинет его, без исподнего уйдет, ей-Богу, — хоть там всей ординатурою удерживай его за фалды!» Как ни странно, при таком фатализме врача его больные не торопились уйти в мир иной, напротив, Мироныч один лечивал куда больше людей, нежели какая-нибудь министерская больница с бульдогообразными золотопуговичными швейцарами, коврами и пальмами в кадках на каждом этаже, электрическими кнопками над кроватями для вызова персонала и скальпелями из золингенговской стали. В последние годы Мироныч оставил практику и консультировал лишь семьи старейших своих пациентов; нам, во всяком случае, он никогда не отказывал. Я подозревал, что в молодости он тайно был влюблен в мою матушку; в этом мнении я сильно укрепился, заметив однажды, с каким напряженным лицом смотрел доктор на ее фотокарточку в латушной рамке с завитками наподобие увядших лилий в волосах красавиц, какими их рисовали в декадентских журналах, не догадываясь, что я вижу каждую черточку его лица, отраженного в угловом трюмо, в старинных зеркалах толщиной



в палец, покрытых не дрянным алюминиевым порошком, а настоящей серебряной амальгамой.

На мое счастье, Мироныч был в Москве и, едва прослышав суть дела, в минуту засобирался к нам, как будто нарочно ждал моего звонка. Приехал он через час и оказался таким же полным, веселым и добродушным, каким помнил я его и двадцать и тридцать лет назад. Полнота Мироныча была не той застывшей, слежавшейся, как вата при долгом хранении, полнотой, по которой в любой толпе тотчас угадаешь чиновника из присутственного места, но живую и подвижную, словно ртуть. Масса доктора легко и элегантно обтекала предметы, в момент оптического совмещения совершенно принимая их формы; пожалуй, такой пластики не было и у великого Дю Орнка, не говоря уже о Бассермане, который, по-моему, и прославился только потому, что три раза судился с «Местер-фильм» из-за каких-то там разночтенний в первоначальном договоре по поводу «Голубой мыши».

Не тратя время на обильные приветствия, Мироныч сразу же прошел в кабинет и самым тщательным образом осмотрел Егора Ильича. Сначала он походил вокруг, похмыкал, постукал пальцем по пиястрам и боковинам, затем достал из своего врачебного чемоданчика циклю и кое-где аккуратно поскреб шпон. Раскрыв дверцы, послушал их изнутри фонендоскопом, пощупал полки (книги мы не вынимали, но он и не просил этого).

По выражению лица Мироныча я пытался угадать окончательный диагноз с тем же нарастающим волнением, с каким никогда не рожавшая женщина ждет разрешения от беременности. Но лицо Мироныча в одинаковой степени можно было принять как за суровость, так и за простую озабоченность. Наконец он кончил осмотр и сел выписывать рецепт. Я не смел тревожить его вопросами.

— Вот,— сказал он, протягивая мне рецепт.— Скипидар и керосин, смешать в равных частях и вводить три раза в день. Шприц есть? Ну, что же вы, батенька... Надо купить. Иглы непременно стерилизовать.

— Яков Миронович, скажите правду, он будет жить?

— Надежда есть, но все будет зависеть от течения болезни. Видите ли, голубчик Вадим, дело зашло достаточно далеко и положение, не буду скрывать, архискверное. Во-первых, сильно покороблены верхние брусья, а производить трансплантацию в таком возрасте опасно, если не сказать больше. Во-вторых и в главных, древесина Егора Ильича в свое время была сильно подточена жуками-точильщиками... Видите, сколько ходов? Сейчас этот процесс возобновился. Радикально избавиться от жуков в домашних условиях, к сожалению, невозможно. Для этого надо шкаф поместить в закрытую камеру и обкурить специальными газами. Такая камера есть только в Четвертом управлении. Лет десять

назад я бы вам это устроил, но я тогда и я теперь — это две большие разницы или четыре маленькие, как говорят в Одессе...

Мироныч поднял голову и посмотрел на меня поверх очков слезящимися коровьими глазами.

— Сейчас, батенька, все будет зависеть от вас. Если аккуратно вводить лекарство во все пораженные точки, возможно, ваш Егор Ильич и до морковкина заговенья протянет, может, нас с вами еще переживет, меня-то уж во всяком случае...

Потом мы выпили чаю, поговорили о том о сем, повспоминали старые времена, когда и вещи, и люди были как-то прочнее, надежнее, а уж если погибали, то не исподволь, а в прямом бою, с открытым, так сказать, забралом.

— Эх, будь ваш шкаф помоложе,— вздохнул доктор, и глаза его загорелись,— прописал бы я ему для полировки светло-желтого шеллака да в крепком терпентинном спирту... А теперь поздно, шпон у него хрупкий — в минуту не режжешь.

На прощание — стыдно вспомнить — я стал совать Миронычу двадцатипятирублевую бумажку, на что он вдруг страшно обиделся, хотя в прошлые годы это было в порядке вещей. Я предположил, что мала сумма, но привел этим старого доктора в еще большее негодование.

— Не практикую! — Тяжело соны, он вырвал у меня из рук свой плащ.— Я не из-за денег к вам поехал. Пусть бы у вас ребенок заболел — я пальцем о палец не ударил бы, так-то вот. Но тут коленкор особый. Если хотите знать,— тут он засопел еще тяжелее,— мне Егор Ильич жизнь однажды спас.

Я деликатно покачал головой в неопределенном направлении, подозревая, что ум старика двинулся в обратный путь — к золотой поре детства.

— Небось родители вам рассказывали...

— Нет...— невольно удивился я.

— Ну, как же. Искали меня некоторые... люди в пятьдесят третьем, дома нельзя было показываться. Я, видите ли, врач и еврей в одном лице, а это тяжелый случай, что-то вроде унтер-офицерской вдовы. Ваши-то меня и приютили, два месяца я у вас жил, а вас, Вадим, на всякий случай к тетке в Ленинград отправили...

Бог ты мой! Я припомнил вдруг, как ночью, ничего не объясняя или объясняя так, что это было все равно что ничего, меня подняли с постели, наскоро собрали, на улице уже стояло такси, и мы с отцом помчались на Ленинградский вокзал. Только что кончились зимние каникулы, я записался наконец в секцию канадского хоккея и внезапно влюбился в рыжую Майку Архипову из соседнего двора... Помнится еще, во время ночных сборов, когда я хотел было зайти в кабинет отца, чтобы взять свою любимую бронзо-

вую пушечку, которая, если зарядить ее дробинкой и порохом, взаправду стреляла, — мать в последний момент заметила меня и, приглушенно крикнув, схватила за руку. «Туда нельзя», — сказала она с таким выражением лица, что я даже не осмелился спросить, почему.

— Прожил я у вас недели две, — продолжал Мироныч, — и тут, видно, кто-то донес, что в квартире есть посторонние. Пришел участковый, а с ним еще какой-то в штатском. Пока Андрей Николаевич разговаривал с ними через дверь, матушка ваша — светлая голова! — догадалась: вынула у книжного шкафа нижнюю полку да и запихнула меня туда. Снизу-то дверцы сплошные, ничего не видно. А наверху на две трети застеклено, в этом и весь эффект психологический: раз дверцы стеклянные, а за стеклом книги, да еще какие книги — все Ленин да Сталин! — и мысли не возникает, что там может быть человек...

Я с сомнением очертил глазами фигуру Мироныча. Он заметил это и довольно закудахтал:

— Правду, правду говорю... Я ведь тогда хоть и полноват был, но меньше, чем нынче-то, а уж гибкий, как клинок. До войны даже акробатикой занимался. На празднике Осоавиахима изображал тетиву лука: такая, знаете, сценка «Вильгельм Телль и Муссолини». Гнул за милую душу, так-то. Значит, поняли, батенька, вводить смесь во всякое отверстие. И не забудьте: скипидар брать только живичный, никаких заменителей. Мое почтение!

Позднее в тот же вечер к нам заглянул сосед. Был он сильно возбужден против обычного, размахивал какой-то газетой, тыкал в нее пальцем, приговаривая: «Давно бы так! Слава Богу, дождались!» Занятый мыслями о Егоре Ильиче, я пропускал мимо ушей все, что говорил полковник. Заметив мою отрешенность и не получив ответа на какой-то вопрос, Матвей Петрович фыркнул, как кот, достал носовой платок, чья грубая, рельефная плотность и растрепанная бахрома заставляли подозревать, что вырезан он из старой скатерти, и стал с надрывом и виртуозной продолжительностью звука сморкаться. Это было признаком великого возмущения.

Тут, подобно старым романистам, следует отступить и сказать несколько слов о наших отношениях с соседом. На первых порах после переезда мы довольно часто принимали у себя Матвея Петровича; бывали недели, когда он появлялся у нас каждый день — во-первых, как старожил здешних мест, просвещавший нас относительно всяких маленьких хитростей, связанных с работой магазинов, прачечной, химчистки и т. д., а во-вторых, не скрою, говоря словами поэта, мне было «и весело как-то и страшно» оттого, что рядом находится человек, над которым незримо витает тень Азраила. Ибо было время, когда от его воли зависела... ну, да что говорить, и так понятно, Лицо полковника было

похоже на разваристую тульскую картошку, когда ее только-только вынули из кастрюли на тарелку и еще не успели размять; ходил он в мешковатом драповом пальто с потертыми от забивания «козла» рукавами, но мне чудились крутые граненые скулы и черная, влитая, блестящая, как от дождя, кожанка, на которой слоновой костью желтеет деревянная кобура маузера с откидывающейся на стальной пружинке крышкой.

Шли месяцы, холодок в груди приелся и растаял, вечерние посиделки стали раздражать, как и постоянные воспоминания соседа о трех эпизодах из его служебной биографии. Первый и второй были как сямские близнецы: в одном случае рассказывалось о том, как брали банду налетчиков в Марьиной роще, в другом случае тоже брали налетчиков, но только на 2-й Мещанской. Третий же случай был поразителен; в то время, когда ведомство Матвея Петровича, обретя кристально четкую, вдохновенно-геометрическую структуру, приступило к работе по кристаллизации всех остальных ведомств и полковник (то есть тогда еще до полковника ему было далеко, но будем называть его так для удобства, ибо тогдашнего чина его я не знаю) дни и ночи отдавал своему делу со страстью неопита, хотя имел уже порядочный профессиональный стаж,— так вот, в это самое время к нему на допрос (Матвей Петрович выражался деликатнее — собеседование) привели вдруг абсолютного тезку! Даже не в квадрате, а в третьей степени. То есть человека, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадали с его собственными.

Разумеется, это был казус, игра случая, и товарищи по службе тут же придумали многие шутки на сей счет, начиная с того, что, заходя в кабинет, нарочно путали собеседователя (то есть ведущего беседу) с собеседником (то есть поддерживающим беседу по мере надобности собеседователя), и кончая произношением фамилии Нечитайло на еврейский или кавказский лад (поскольку собеседник Матвея Петровича имел нескрываемую восточную внешность). Шутки шутками, но роковое совпадение могло дойти до ушей большого начальства, и неизвестно, какой оборот приняло бы дело. Опять же и непоследливый ум товарищей по службе мог бы совершить более далекое путешествие, нежели тропинка шуток и розыгрышей, и выйти на большую дорогу *предположений*. Ну а кристаллизация предположения в уверенность происходила быстрее, чем высыхали чернила на бумаге бланка,— уж это Матвей Петрович знал как нельзя лучше.

Нужно было что-то делать!

Передать собеседника другому собеседователю? Опасно: лишнее внимание. Да и как мотивировать? Ну, положим, повод найти можно, но что толку — ведомство все равно одно и начальство одно на всех. Поверить в кристальность

тезки-собеседника и отпустить его на все четыре? Ну, это прямая вышка. В момент заподозрят неладное, проверят, а там не кристалльность, а сплошная вата... Так-так-так... А если самому поменять фамилию? Просто так, без повода — подозрительно. Развестись, чтобы жениться второй раз и принять фамилию жены? Долго, чертовски долго, а тут каждый час дорог... И в этот момент, рассказывал Матвей Петрович, духовые заиграли в его груди — озарило!

В момент собрался он и поехал к старой матери, дотлевавшей свой век в подмосковной деревушке Меткино. Целый день провел он у нее и, нажимая с умом, чтоб не пережать (вот где пригодился опыт-то, сын ошибок трудных), потихоньку-полегоньку уговорил старуху написать заявление, что, дескать, Матвей, ее родной сын, рожден ею не от законного мужа Ивана, а от соседа Петра, погибшего после в имперналистическую, стало быть, и отчество должен иметь другое — не Иванович, а Петрович, если по справедливости. В этом и заключалась идея Матвея Петровича. Перемена отчества — вещь тонкая, малозаметная, а вместе с тем, она уже значительно отдаляла его от тезки-собеседника.

Мать, правда, поначалу никак не могла понять, зачем ему это надо, пугалась и все причитала: «Мотя, родной, да что ты, да как же это, да разве можно от отцовского-то имени отречься, он же во гробе перевернется, когда узнает...» — «Можно, мать, — сказал он жестко — как цепом шваркнул, — теперь все можно, что во благо. Это раньше народ в суевении жил, самого себя боялся». — «Сынок, а как же узнать-то, что во благо, а что так, поперек хвоста шерстинка?» — «На это, мать, специальные люди есть, они и предвещают... А касемо имени — это пережиток. Если надо, я и от отца откажусь — куда там имя!..» — «И от меня, Мотя?» — «Да при чем здесь ты? Я ведь так, фигурально выражаясь...»

И ведь действительно — выкрутился! Выправил, как положено, документы на новое отчество, довел дело собеседника до полной кристаллизации и зажил дальше в поте лица своего. Первое время новое отчество, конечно, резало слух, но скоро привык (в чем немало помогла жена, произнося непривычное имясочетание по многу раз за вечер согласно его просьбе). Даже и понравилось ему, что звучит теперь отчество не мягко, как диванный валик, а твердо и раскатисто. Да и, говорят, имя Петр означает «камень». А камень — это тот же кристалл, ячейка общества, так сказать.

— Выходит, по правде, — заключал свой рассказ сосед, — я Иванович, а по реальной жизни своей — Петрович. Я даже думаю иногда, что, может, и впрямь отцом моим был Петр, черт его знает! Впрочем, плевать. Главное, спася и своим умом,

Согласитесь, такую историю любопытно услышать раз, от силы два. Но если вам долдонят это ежевечерне, тут уж волком взвоешь. Особенно раздражалась моя жена. При полковнике она еще сдерживалась, но едва он уходил... В общем, пришлось мне однажды мягко намекнуть соседу на определенные обстоятельства, не позволяющие нам проводить по отношению к нему политику открытых дверей, а когда он намеков этих не понял, расшифровать их языком стихотворца Ивана Баркова.

Полковник круто обиделся. Месяц выдерживал он характер, но на большее, видно, не хватило пороха, и вот опять его коренастая фигура стала заслонять наш дверной проем. По молчаливому уговору посещал он нас теперь только раз в неделю, обычно по вечерам в пятницу. Шахматы, телевизор, беседа — вот три кита, на которых громоздилось наше с ним общение. Игрок он был неплохой (в свое время, по его рассказам, даже председательствовал в шахматном клубе на Якиманке), зритель — средний, а собеседник — никудышный. Чрезвычайно наглядно это проявлялось, когда он начинал размышлять о благоустройстве отечества. Мнения при этом он высказывал столь чудовищные по невежественности и безапелляционности, что, казалось, еще минута — и даже кроткий Егор Ильич не выдержит, захлопает дверцами, застучит от негодования дубовыми ногами.

Помнится, один раз полковник заявил, что нашел способ, как решить продовольственную программу для Москвы и Московской области. Нужно, пояснил он, накрыть бассейн «Москва» стеклянным колпаком и выращивать под ним лебедей на убой. Мол, место это святое, и потому лебеди должны расти, как на дрожжах.

Вот как странно был устроен ум Матвея Петровича. Материалист до мозга костей, он почему-то допускал существование не предусмотренных материализмом вещей. Выражалось это примерно такой формулой: Бога нет, и потому все разрешено, но есть Святой Дух, и поэтому все возможно. Не знаю, как с такими воззрениями он столь долгие годы удерживался на службе, хотя, очевидно, в те годы он или скрывал их, или имел в зачаточном состоянии.

Вернемся к достопамятному вечеру. Заметив возмущение Матвея Петровича, я стал оправдывать рассеянность визитом доктора и открывшейся болезнью шкафа. Что тут было! Видели бы вы в тот момент глаза полковника... Нет, это были не глаза, это были перезревшие, готовые лопнуть маслины! Лицо соседа стало цвета много раз использованной копировальной бумаги, руки затряслись, он весь перекорежился, словно корни дерева, растущего на обрыве; разве что скрежета зубовного не издавал при этом. Некоторое время он молча дышал, надувая щеки, как трубач из немого кино, но вот плотину прорвало.

— Ваш! Шкаф! Симулянт! — закричал полковник в телеграфном стиле.— Здоров! Как! Бык! Пахать! Нем! Можно! Вот! Вот!..

Тут Матвей Петрович подскочил петухом к шкафу и, не успев я глазом моргнуть, как он что есть силы ударил кулаком по деревянному боку. Я ахнул. Бедный Егор Ильич пошатнулся, закричал всеми своими фибрами, но устоял.

— Ага! Видали! — Полковник торжественно помахал железным своим кулаком в воздухе.— Вот вам и больной! Мнимый, прошу заметить!

— Но был врач сегодня, смотрел его и сказал...

— Врач?! — Лицо соседа перекошилось так, что, казалось, еще чуть-чуть — и он вывихнет глаза.— Да они все...— Тут он прибавил слова, которые русскому слуху, разумеется, известны с малолетства, но которые не принято отображать в литературе на потеху дурному вкусу толпы.

Что тут будешь делать! Волнолом разума бессилён перед разъяренной стихией чувств, но все же мне удалось утишить волны полковничьего гнева, выдвиг на него бочку маслянистых увещаний, улыбок и прочего жеманного вздора. Тем не менее полковник еще долго выпускал пар, открывая в недрах своего существа то один, то другой клапан. Расстались мы в тот вечер даже при некотором подобии дружелюбия. Конечно, я тоже мог бы обидеться на соседа и указать ему на дверь, но... в том-то и дело, что он для меня был в некотором роде и не человек даже, а образ, миф, скульптура,— черт его знает, как это назвать! Ну, в общем, не станете же вы обижаться на дерево только за то, что оно стоит на месте, а не бежит вместе с вами. А если вы хотите заставить дерево бежать, вам придется либо очеловечить его, либо срубить и взвалить себе на плечи. Не уверен, правда, что вас хватит больше, чем на два-три шага.

Казалось, инцидент исчерпан. Но прошло несколько дней, и я был неприятно поражен продолжением этой истории. Зачем-то понадобилось мне зайти в жэк — не то за какой-то справкой, не то за перерасчетом жировки, не помню. И вот, стоя в очереди к нужному окошку и разглядывая на стенах мрачные плакаты по гражданской обороне, отпечатанные, верно, еще в походной типографии Батяя, услышал я за спиной шепотливый разговор — негромкий, но и не столь тихий, чтобы он остался тайной двонх. Говорили о том, что вот, мол, этот самый с бородой и в очках содержится у себя в квартире шкаф по имени Егор Ильич, который здоров совершенно, но прикидывается больным, чтобы через это получить группу инвалидную и пенсию с государства. Придумал же эту махинацию сам хозяин, ибо шкаф есть шкаф и до такого не докумекал бы.

Из сплетни явно торчали уши полковника. Возмущенный донельзя, я хотел было возразить шептунам, что Егор Ильич

действительно болен, но пенсия по инвалидности ему не нужна, потому что он уже получает пенсию по старости, которая к тому же на целую десятку больше, чем если бы он получал пенсию как инвалид. Однако, поразмыслив, я сдержался, понимая, что любые слова мои все равно будут истолкованы в дурную сторону. Так, застигнутый у разбитой витрины магазина случайный прохожий в ответ на свое лепетание «воздухом вышел подышать» в лучшем случае получит саркастическую усмешку блюстителя порядка, а то и усмешки не дождетя, бедняга: подхватят его гуси-лебеди под белы ручки — и в воронок.

Домой я вернулся в прескверном настроении. С тех пор как заболел шкаф, меня стали раздражать самые, казалось, незначительные мелочи. С размаху, не снимая пальто, я сел на диван против Егора Ильича.

За что они ненавидят меня? — подумал я с горечью. Разве что украл я у этих людей, или обидел их нечаянным словом, или косо взглянул на них? Видит Бог, в этом доме, а может, и в целой улице я самый тихий и незлобивый. Живу, как мышь: шмыг на работу, шмыг обратно. Ни пьянок у меня, ни гулянок. К сыну друзей — и то лишь по выходным пускаю, музыку заставляю их в наушниках слушать, специально четыре пары купил. Чтобы соседям никакого экспорта вуги-буги или хэви метал, уж не знаю, как это у них сейчас называется. В других квартирах — и гуляют, и пьют, и окна бьют, один я — белая мышь... Чужой я для них, вот что. Другой. За это и не любят. Гордый, мол, не хочет жить, как все, брезгает... И уж, конечно, если выбирать между мною и полковником, то выберут его. И поверят ему, а не мне. Само слово-то как звучит: пол-ков-ник! Хоть и в отставке, а чин. А главное, служил человек в ответственной-шем месте и в ответственнойшее время, жизнь, можно сказать, положил на алтарь отечества, а если и не жизнь, то уж, во всяком случае, чего-нибудь да положил из того, что можно было положить на алтарь в то время. А время-то было славное. Конечно, лагеря, конечно, культ, но в магазинах все было, и водка была рубль с хвостиком, а пили меньше, а работали больше, а цены снижали, а маршал Жуков на белом коне принимал парад Победы, а у народов был отец, заступник милостью Божьей, разве что патриархом не помазан на царство... Перед такой пирамидой становишься песчинкой, каплей воды из незавернутого крана (повезло тебе, радуйся, что не завернули!) А вот как закроют кран до предела или, пуще того, откроют на всю катушку — хлынет поток, подхватит тебя, перемешает с миллионом других капель, унесет в каменное лоно канала имени Москвы — теки, голубчик, повторяй извечный путь варягов, нашедших эковские телогрейки...

Так сидел я и думал, а дело шло к вечеру, и низкие лучи солнца косили из окон перистым веером... Поднял я голову,



а Егор Ильич стоит грустно и будто читает мои мысли. И чувствую я — переживает он больше моего. Вот, дескать, сколько тебе хлопот со мной — другой бы хозяин давно разобрал на дрова или в дом престарелых сдал, а ты, мол, возишься со мной, как проклятый, муку мученическую претерпевая. Не-ет, покачал я головой, ты для меня не просто шкаф, не просто Егор Ильич, ты для меня память живая — о тех память, кто вызвал тебя к жизни, кто ставил в тебя книги, кто отражался в стеклах твоих. Ты для меня надежда, что и я не буду забыт, когда придет мой час...

Тут показалось мне, что дверцы Егора Ильича блестят как-то по-особенному, словно слезы по стеклу потекли. Хотел я встать, проверить это, да сил не хватило. Только глядел я, глядел на Егора Ильича, да и сам пару раз сморгнул... Так и не знаю до сих пор: то ли впрямь плакал добрый старый Егор Ильич, то ли виною всему игра света вечернего... Бог весты!

За неделю достал я скипидар и керосин, раздобыл и шприц, рискуя прослыть наркоманом. Стал тщательно делать инъекции; все, как говорил Мироныч. Но, увы! Егору Ильичу становилось хуже и хуже. Уже остов его явно не выдерживал нагрузки. Треск и скрипы, раздававшиеся по ночам, были ужасны; казалось, что шкаф расплзается по швам, что еще немного — и он рухнет на паркет бесформенной грудой, где перемешаются обломки столярного труда и гениальные озарения человеческой мысли.

Я вынул из Егора Ильича потрепанное собрание сочинений Сталина, но это не помогло. Пришлось пойти дальше. За Сталиным последовал Ленин, затем наступила очередь «Истории государства Российского», переплетенной в четыре огромных фолианта, по три тома в каждом; потом пошли издания более мелкие, как-то: «Дом и домоводство» Марии Ределин в двух книгах с двумястами рисунков и гравюр, брошюрка Л. Школьника «Одесское Монте-Карло», «Воспоминания бывшего разбойника» Эмин-Аги Борчалинского, «Жизнь колхозницы Васюнкиной, рассказанная ею самой», «Переписка Николая II и Великих князей», марксовское издание Гауптмана и многое-многое другое — с виду разношерстное и собранное вместе по воле случая, а на деле исполненное того непостижимого таинственного смысла, каким соединены все случайности жизни.

Вынимал я книги постепенно, а одну — некоего Евецкого «Во власти страсти, или Почему я убил: исповедь осужденного» — оставил-таки во чреве Егора Ильича. Нельзя было показать ему окончательную никчемность его существования и тем самым лишить воли к жизни. Вынимаемые книги я тотчас уносил в другую комнату, чтобы взгляд Егора Ильича лишний раз не тревожился, натываясь на следствии своей болезни.

Между тем болезнь обострялась. В одну из ночей Егор Ильич почувствовал себя так плохо, что пришлось вызвать «скорую». Уж эта наша бесплатная медицина!.. Во-первых, приехала машина только спустя сорок минут после вызова, а, во-вторых, врач «скорой» оказался каким-то новичком, чуть ли не студентом-практикантом. Представьте себе: у него не было с собою даже молотка. Хорошо еще, что в чемоданчике у медсестры оказался казенный порошок. Она быстро развела его в холодной воде и, добавив немного опилок, замазала наиболее вопиющие трещины. Но со скрипом ничего поделать они не смогли: сослались на то, что ПВА и БФ им выдают теперь втрое меньше необходимого из-за чрезвычайного роста токсикомании. Врач даже рассказал мне, как неделю назад из-за нехватки ПВА у них на глазах умерло бюро черного дерева работы чуть ли не Можорея, и они ничего не могли поделать! «Ну, буквально ничегошеньки!» — со всхлипом добавила сестра.

После отъезда «скорой» я вышел на балкон и долго курил в свежей темноте...

Эх, Россия моя, Россия, птица-тройка неизбывная! Разбежалась ты, разлетелась, как чайка, — так, что никому уж не схватить тебя под уздцы, не остановить. Летишь ты вперед под громовой перестук копыт, звон бубенцов, сумасшедшие окрики возничего и не слышишь за этим шумом тихого моего голоса. Не прошу я у тебя ни маковых калачей, ни сахарных куличей, ни пайков цековских, ни особняков московских. А прошу я одного: услышь малых детей своих, что выпали из повозки на повороте крутом, да так и остались лежать, аки кутята слепые. Приумерь свой бег, обороти к ним лицо свое — ведь и они дети твои, молоко твое сосавшие, тебе в колыбельке агукавшие... Не отврати их от своего царства — дай им хлеба и лекарства. Знаю, знаю, что в беге твоём, в устремленности вечной нет места низкому, сиюминутному — даже возниц меняешь ты на ходу, — а все же вспомни о несчастных птенцах своих — детях Арбата в белых одеждах, панках и металлистах, доярках и трактористах, поэтах и наркоманах, афганских ветеранах; да хотя бы о том же Егоре Ильиче — вспомни!

Приступы болезни участились. Шкаф колотило; дверцы со стеклами дрожали так, будто в них стучали палками воставшие против векового гнета мятежники. Неотложка стала постоянным гостем в нашем доме. Бывали ночи, когда мы кидались к телефону по три-четыре раза. Нам предложили госпитализировать Егора Ильича, но я отказался, понимая, что если шкаф и перенесет перевозку по тряским московским дорогам, то уж больничная обстановка, когда из-за нехватки места больные лежат даже в коридорах, где вечный шум и сквозняки, угробит его наверняка,

Ночью я дежурил в кабинете у Егора Ильича, а отсыпался днем, для чего пришлось взять отпуск за свой счет. Даже жена моя, человек достаточно добрый, в конце концов не выдержала.

— Ну, что ты возишься с этим шкафом, как курица с яйцом перед Пасхой,— стала говорить она.— Если тебе жалко его выбрасывать, давай подарим Толику с Алкой. У Толика золотые руки, он его разберет и сделает какие-нибудь полки. Помнишь, как он ловко над унитазом повесил верх от буфета?

— Так ведь шкаф-то погибнет! — возражал я.

— Ну и что? Мы все не вечны,— с железным спокойствием отвечала жена.— О живых надо думать. Ты вот о нем беспокоишься, а сам? Ты что, считаешь, в твоём возрасте и с твоим сердцем эти ночные посиделки подарок? А не ровен час, чего случится с тобой — как же мы с Колей жить будем, об этом ты подумал? Нет, с Егором Ильичом надо кончать! Не хочешь отдавать Толику — сдай в дом престарелых.

— Это уж совсем на верную смерть...

— Нас не касается. Подписано — и с плеч долой.

— Боже, я и не знал, что ты так цинична...

— Станешь тут циничной! Превратили квартиру в дурдом и еще чего-то хотят!

Я посмотрел на шкаф. Немая мольба отразилась в стеклах Егора Ильича. Мне даже показалось, что занавесочки за дверцами чуть колыхнулись — с робостью и уничижением: мол, извините, сам понимаю, что зажился, в тягость вам стал, но, Христа ради, молю: не гоните старика...

— Нет,— отрезал я жестко,— никаких Толиков, никаких домов престарелых. Вспомни, что Гоголь сказал: «Пример сильней правил». Сегодня мы Егора Ильича выставим, а завтра нас дети вышвырнут.

— Ну, тогда я уйду,— в сердцах бросила жена.— Буду жить у матери, пока твой шкаф не сдохнет.

Уговоры не помогли, и жена на самом деле перебралась к матери. Сын же тем временем умягчил мое сердце неожиданными успехами в занятиях с репетитором, и я в приступе великодушия отпустил-таки его в байдарочный поход на Мещеру. Таким образом, остались мы в квартире сам-друг с Егором Ильичом.

За всеми этими заботами я несколько раз не поздоровался с соседом, что было воспринято им как последняя степень моего к нему презрения. Обида стала двигателем Матвея Петровича. Повсюду посыпались его письма с обвинениями в мой адрес — столь нелепыми, что я и не знаю, откуда он их брал, разве что списывал у Кафки. Домой ко мне то и дело заявлялись должностные лица — то участковый, то делегация из жэка во главе с управдомом, то чиновница из райсобеса. Разумеется, все они понимали анекдотичность

заявлений соседа, но бумага есть бумага — на нее надо-бен ответ. Да и дым в нашем отечестве, хоть и сладок и приятен, но, как известно, без огня не бывает. Так что приходившие под благовидными предложениями — а нет ли в квартире каких протечек? или проживающих беспрописно? или, может, помощь нужна престарелым и одиноким? — все они непременно норовили зайти в мой кабинет, чтобы хоть мельком глянуть на Егора Ильича.

Хождения эти продолжались с месяц. Но вот в одну из ночей, кажется с субботы на воскресенье, я проснулся вдруг в холодном поту. В квартире было душно, но мне показалось, что я завернут в ледяную простыню. С сердцебнением поднялся я с дивана, чувствуя в висках такое давление, будто голову мою опустили глубоко-глубоко в океан, в какую-нибудь Марннанскую впадину. Еще не глядя на Егора Ильича, ощутил я что-то неладное. И вправду: едва я повернул голову, как раздался неопикуемый треск и скрежет. Прямо на моих глазах зазмеился, разрываясь, шпон, с пистолетными выстрелами отлетели резные накладки, выскочили интарсии, перекошились пилястры, раскололись стекла дверец... Страшное утробное урчание послышалось внутри шкафа, разошедшиеся брусья вырвались из стяжек, и все стало рушиться.

Оцепенев от ужаса, смотрел я на агонию. Казалось, сама природа принимала в ней участие. Абсолютный мрак зиял за окнами. Шумели деревья. Ветер сабельными выпадами бил в стекла. Где-то над нами, этажом выше, хлопала незакрытая форточка, на пятый или шестой удар стекло ее разбилось. Я вздрогнул и очнулся. Вскочив с дивана, я подбежал к Егору Ильичу, попытался поддержать его, подпереть хотя бы плечом, но было поздно. Стены шкафа окончательно разошлись и с грохотом рухнули. Одна дверца отскочила в сторону и пребольно ударила меня по колену. Пытаясь ее поймать, я не рассчитал движения и лишь порезал осколками стекла руку. Сгоряча я было не обратил на это внимания, но, включив свет, увидел, что останки шкафа закапаны моей кровью. Все еще в горячке, наспех перевязал я руку и, задыхаясь от духоты, подскочил к окну. Рванула раму — и в ту же секунду, словно дожидаясь этого, ударила молния и загремел гром. Вслед за тем стеною хлынул ливень...

Порывы ветра швыряли мне в лицо пригоршни брызг, но я боялся отойти от окна или повернуться к нему спиной, чтобы не встретиться с остекленевшим взглядом мертвого Егора Ильича...

Не помню, сколько времени простоял я так; уж, верно, несколько часов, пока не начало светать. Под утро ливень прекратился, и свежая прохлада волнами пошла от небес, омытых до бледной синевы. Запели ранние птицы. На ближних деревьях сверкала влага... Я стоял у окна в майке и

трусах, но, странное дело, совсем не ощущал холода. Скорее наоборот, горячая дрожь пробегала по моему телу. До сих пор для меня остается загадкой, как я не заболел после той ночи...

Наутро, когда я занимался всякими подготовительными делами: доставал гвозди и лак, чтобы привести Егора Ильича в достойный вид, звонил жене, друзьям, в похоронное бюро и прочее, и прочее, — пришли соседи из квартиры напротив с известием, что в эту ночь умер и полковник! Я принял известие спокойно, хотя и с небольшим удивлением: прежде я думал, что такие люди не умирают или уходят умирать в лес, как собаки. Обнаружилась смерть Матвея Петровича случайно: накануне он позабыл закрыть дверь квартиры на задвижку, и ночью она распахнулась от сквозняка. Утром кто-то из соседей заметил открытую дверь, позвал полковника, но никто не откликнулся. Почуввав неладное, сосед зашел в квартиру и обнаружил Матвея Петровича лежащим на полу кухни лицом вниз с бумагою, зажатую во рту, с дико вывернутой рукой.

В некотором смысле можно сказать, что Матвею Петровичу повезло. Если б закрыл он дверь, то лежал бы так до скончания века: жил-то он одиноко, охотников ходить к нему в гости практически не было. Единственный родственник полковника — племянник Никита — жил у черта на куличках, не то в Чертанове, не то в Бирюлеве, и у дяди появлялся едва ли раз в году.

Смерть полковника совершенно помирила меня с ним. Я даже стал помогать вскоре разысканному и приехавшему Никите советами относительно организации похорон, ибо оказалось, что он не имеет об этом ни малейшего представления.

Мне и самому в те часы был дорог хороший совет. Выяснилось, что ни на одном московском кладбище невозможно получить место для захоронения Егора Ильича. Единственное, что предлагали, — кремацию и то Бог знает где, в каком-то Николо-Архангельском крематории, за кольцевой дорогой. Это никоим образом меня не устраивало. Во-первых, не хотелось мне по-язычески сжигать Егора Ильича вопреки отеческой традиции; во-вторых же, три раза в год — в день смерти шкафа, на Пасху и родительскую субботу — пришлось бы с великими муками на перекладных добираться до этого самого Николо-Архангельского.

По старой памяти съездил я было на Востряковское кладбище, где лет десять назад хоронил товарища, но оказалось, что старый директор посажен, а новый — пуганая ворона, и не успел я раскрыть рта, как меня благополучно сровняли со двора. Правда, на выходе меня догнал кто-то из рабочих и дал понять, что помочь беде в *принципе*

можно, но назвал при этом столь чудовищную сумму бакшиша, что я даже не нашелся что сказать.

Вернувшись домой, я застал Никиту в финансовых муčenjaх. Вопреки слухам племянник не отыскал в квартире дяди ни заветной кубышки, ни чулка с золотыми десятками, ни сберкнижки с пятнадцатью тысячами на срочном вкладе — ни вообще ничего. Было время, когда племянник частенько гостил у полковника и тот ссуживал ему незначительные суммы, всегда твердо оговаривая срок отдачи. Но однажды Никита просрочил долг, возможно совсем пустяшную сумму. Однако Матвей Петрович в сердцах чуть ли не проклял племянника и наотрез отказал ему на будущее в какой-либо помощи. Думаю, что дело здесь не в корысти — такого, говоря по правде, за полковником не водилось, а в том, что нарушение срока отдачи долга было *непорядком*, то есть тем, чего Матвей Петрович категорически не терпел. Кстати, теперь, задним числом, я понимаю, что болезнь Егора Ильича столь сильно возмутила соседа оттого, что он узрел в ней хаос, вопиющий беспорядок, вызов чуть ли не всему мирозданию.

В общем, Никита, сильно рассчитывавший на кубышку, сам должен был раскошелиться на похороны. Из похоронного бюро он вернулся совершенно убитый. Оказалось, что в наличии имеются гробы только двух с половиной метровые, с каким-то особенным глазетом — серебряные змейки по золотому, ценою 121 рубль 37 копеек. Особенно Никиту поразили эти 37 копеек.

— Хриstopродавцы! Креста на них нет! — изливал он негодование на весь подъезд. — Такие деньги с мертвых дерут — постыдились бы!

Я деликатно заметил, что деньги дерут все-таки не с мертвых, а с живых, так как платит не сам усопший, а его еще живые родственники.

— Какая разница! — махнул рукой Никита. — Сейчас не разберешь, кто живой, кто мертвый. Самому помереть, по крайней мере, легче, чем другого похоронить... Дурья жизнь! А мне еще поминки заказывать, да за автобус платить, да могильщикам, да оркестр...

Тут я удивился.

— Помилуйте, — сказал я, — но если ваши расходы столь значительны, зачем же такое излишество как оркестр?

— Ну, как же, мне сказали, что дядю по чину положено хоронить на Новодевичьем, а там без оркестра неудобно...

Жена потянула меня в сторону. «Послушай, — горячо зашептала она, — я кое-что придумала. С этим тюфяком можно легко договориться. Предложи ему похоронить дядю в нашем шкафу».

— Господи! Что ты говоришь?! — изумился я.

— Да тише ты! — прошипела жена. — Я-то в своем уме, а вот ты, похоже, из ума выжил. Ты что, всерьез надеешься

достать место на кладбище? Да кто ты такой: номенклатурщик, торговец, фарцовщик? То-то и оно. К тому же прикинь: на двоих и расходы вдвое меньше.

А что, подумал вдруг я, пожалуй, в словах жены есть свой резон. Вся эта суета настолько сбила меня с толку, что я ухватился за идею жены, как за соломинку. Я взял Никиту под локоть и отвел в сторону, подальше от любопытствующих.

— Послушайте, друг мой,—вкрадчиво сказал я, стыдясь сусальности своего голоса,— как я понял, вы человек небогатый.

— Очень небогатый,— поспешно уточнил племянник.

— Так вот; что, если я предложу вам следующую вещь: мы хороним вашего дядю в нашем шкафу. Не торопитесь с ответом, подумайте, сколько выгоды: вы ничего не платите за гроб, это раз, а во-вторых... во-вторых, половину расходов на похороны я беру на себя.

Никита, раскрыв рот, мучительно соображал, не кроется ли здесь какого-то подвоха. Видно было, однако, что предложение кажется ему чертовски заманчивым.

— Да... но как же это...— нерешительно произнес он наконец.— Двое в одной могиле, кто ж это разрешит? И потом, шкаф вместо гроба — это как-то странно...

— Они же не по отдельности будут лежать, а один в другом,— растолковал я Никите.— И разрешения никакого не надо, говорю вам как бывший юрист. Вы — владелец трупа и имеете право хоронить его в любом предмете. А насчет шкафа вы сомневаетесь напрасно — у него форма типичного гроба. Но зато какого! В таких гробах и маршалов не хоронят. Да что говорить — пойдемте, я покажу вам...

Да, Егор Ильич не ударил в грязь лицом и после смерти. Даже останки его, скрепленные мною на живую нитку, выглядели столь величественно, что Никита был поражен. Особенно прельстили его пилястры с перламутровыми интарсиями — вот еще одно доказательство того, что мишура и побрякушки имеют большую власть над человеком, нежели самый предмет, который они украшают.

Дело было решено.

Но, как говаривали в старину, загад не богат — сто раз поворотит назад. В тот же день, когда Никита поехал в ведомство Твердого и Мягкого знака, чтобы выправить надлежащие документы, вдруг выяснилось, что бумаги полковника не то утеряны, не то сданы на хранение в такой архив, из какого получить их ну никак невозможно — скорей лев возляжет рядом с ягненком, и ребенок поведет их.

Эйфория Никиты враз сменилась меланхолией, а уж меру моей печали и представить трудно. Мысленно я уже любовался благородными сукровичными стенами Новодевичьего кладбища с белым цветочным орнаментом и посто-

вым у входа, строгими рядами могил с величественными пирамидами из мрамора, гранита и лабрадора на новой территории и живописными часовенками, склепами и усыпальницами в старой части кладбища, которая ближе к монастырю... Уже одно то, что Егор Ильич окажется на кладбище, где покоится прах Гоголя и Булгакова, вызывало во мне благоговейный трепет...

Удар, разрушивший мои надежды, был столь силен, что дальнейшее я помню смутно, как во сне. Да если бы и сохранил я кристальную ясность памяти, разве можно описать на русском языке, на благодатном, осиянном русском языке весь последовавший за тем сумбур вместо музыки? Какой Маркес опишет то, как после долгих мытарств и унижений мы наконец сыскали на Ваганькове кладбищенскую крысу, продавшую нам из-под полы участок, сберегавшийся для продажи под фальшивой табличкой «Майор Петров»; как за десять минут до назначенного вывоза позвонили вдруг из похоронного бюро и сообщили, что заказанный нами автобус сломался, а других машин в запасе нет, так как несколько автобусов на заказах, а на остальных работники автобазы уехали в подшефный колхоз на уборку картошки, и вообще в этом месяце такая запарка, такая запарка, представьте себе: из обещанных шести аккумуляторов прислали только два, манжет нет, сальников нет, рулевые тяги забыли, как и выглядят, а Ивану Гавриловичу все равно — ему ведь полгода до пенсии, вот он и тянет абы как, но мы вам автобус пришлем, не беспокойтесь, не сейчас, а попозже, часика через три, когда вернется 48-74, он сейчас поехал в Митино, так что ждите; как, послав похоронную контору туда, куда она возит своих клиентов, мы с Никитой выскочили на улицу и полчаса под дождем ловили машину; как наконец поймали мы мебельный грузовик Мострансагентства и за бешеную цену договорились с шофером и грузчиками о перевозке шкафа; как, сев в такси, мы велели грузовику со шкафом ехать за нами; как пьяный в стельку шофер грузовика на Нижней Масловке оторвался от нас и погнал на Большую Академическую, решив, что шкаф нужно отвезти в мебельную комиссионку; как, прибыв к магазину, грузчики выгрузили шкаф и внесли его в торговый зал; как в этот момент у шкафа раскрылись дверцы и оттуда выпал несчастный полковник в военной фуражке, в своем почти неношеном мундире; как у старшего товароведа — пожилой женщины, матери троих детей — при виде этого случился обморок и пришлось вызывать «скорую помощь»; как мы тем временем колесили по всей Москве в поисках утраченного грузовика; как чертыхались и проклинали нас могильщики вместе с подъехавшими на кладбище музыкантами, а также работники столовой, где были заказаны поминки... Нет, описать все это невозможно... в бессилии я бросаю авторучку...



Скажу только, что шкаф с полковником мы сыскали и привезли на кладбище уже в двенадцатом часу ночи. Разумеется, все давно разошлись по домам, и у котлована были только мы с Никитой да двое рабочих, оставшихся за большие посулы.

Я пришел в себя, лишь когда шкаф с полковником опустили на веревках в яму, и комья глины застучали по деревянному телу Егора Ильича. Никита светил фонарем вниз, рискуя свалиться в могилу. Безучастно глядел я на это... как вдруг что-то поворотилось внутри меня. Жар, будто от костра, ударил в лицо. Мне показалось, что земля разверзлась на мгновение у моих ног и ужасом страшной бездны, до дна которой не дойдет ни один голос, дохнуло на меня. Все вокруг стало зыбким, колеблемым, как на морском дне; взор мой замутился, словно на лицо мне натянули резиновую перчатку...

Господи Боже мой!

Я понял вдруг, что это не Егор Ильич, это я лежу на дне ямы,— ну, точно, я — смотрите: тот же нос, и щеки, и глаза, и даже стекла очков так же треснуты! — а в моей утробе поконтят полковник в строгом мундире с каменным лицом цвета слоновой кости... Вот сейчас меня засыпят землей, навалят на грудь мою тысячепудовую ношу, а в животе моем будет ворочаться, поудобнее устраиваясь для вечного сна, полковник. Коленки его упрутся в меня изнутри, и столь худы, столь остры они, что боль от них сильнее и невыносимее того, что давит сверху. И никуда, ни-ку-да не деться от этой боли, ибо, пока последний атом мой не перейдет в вечное вещество земли, до той поры не избавится мне от полковника внутри меня.

— Стойте! Стойте!! — закричал я, опомнившись. Я бросился к рабочим, выхватил лопату у одного, оттолкнул другого.— Вынимайте шкаф! Сейчас же! — Голос мой сорвался.

— Шизик какой-то,— скривился недоуменно могильщик и вопросительно глянул на Никиту — расчеты с ними вел он.

— Я заплачу! Вдвое, втрое заплачу — что хотите,— продолжал кричать я,— только оставьте шкаф в покое!

Наверное, вид мой — дорогой костюм с галстуком, вкопец перепачканный глиной, выпученные глаза, лопата наперевес — был столь нелеп и ужасен, что противоречить мне не решились. Растерянный Никита молчал. Могильщики, которым я тут же сунул по двадцать пять рублей, проворно завели веревки, подняли шкаф и вынули из него полковника...

Бог знает что было бы дальше, но, по счастью, выяснилось, что у одного из рабочих есть в запасе хороший сосновый гроб, припрятанный в гранитной мастерской, тут же, на кладбище, и что, раз такое дело, он готов отдать его по божеской цене. Для себя, мол, берег, да что уж с вас

возьмешь — пользуйтесь. Взял он, однако, предостаточно, но зато Матвей Петрович обрел наконец успокоение.

Не знаю, стоит ли продолжать?.. Впрочем, повинуюсь долгу рассказчика, скажу еще несколько слов.

Спустя неделю, похоронил я и Егора Ильича — на старом подмосковном кладбище в Звонницах, где живет моя дряхлая тетка. Здесь много маленьких посадских домиков, подобно былинному богатюрю, по пояс вросших в землю; в воздухе разлита замечательная сосновая свежесть. На улицах тихо и покойно, как может быть покойно в маленьком провинциальном городке, куда еще не забрела железная стопа Минводхоза или Угленефтедобычи. Дороги, правда, крыты асфальтом, но машины ездят редко; скорее увидишь козу, жующую клубную афишу перед покосившимся двухэтажным купеческим ампиром горсовета, или пяток гусей, важно шествующих к хозяйственному магазину, разместившемуся в облупленной церквушке с маленькими стрельчатыми окошками в самом верху апсид, отчего свет на прилавки всегда падает прямо, как плотницкий отвес.

Несколько раз в году ранним утром я отправляюсь на Павелецкий вокзал. Народу в электричке в это время мало, и мне удастся сесть у самого окна. Свисток. Электричка дергается и быстро набирает ход. Склады, пакгаузы, серые дома, снова склады... Ничего, я терпелив. Еще немного, и я увижу озимое поле, а за ним траурную каемку леса. Я откидываюсь на спинку сиденья. В руках у меня букетик сухого вереска. Если поднести его к уху и слегка сжать в руке, можно услышать легкий шелест — будто бабочка бьется крыльями об оконное стекло.

Михаил Левитин

**Я СНИМАЮ «КРЫСОЛОВА»,  
ИЛИ МЕРТВЫЙ ТЕЛЕФОН**

К вам замысел вернется  
Преображенный замыслом чужим  
И в нем себя вы не узнаете...

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

Создатель.

Жена.

Друг.

Соавтор.

Юноша.

Девушка.

Иностранка.

Малозначащие слуги просцениума.

**ЯВЛЕНИЕ 1**

Создатель вывозит Жену в кресле. Она прекрасна  
и безучастна.

Создатель. Я расскажу тебе сюжет. Я знаю, ты устала от моих сюжетов. Но этот — чужой. Чужой, но, как все мои, — бессвязный. И оттого бесконечно правдивый. Сюжет о чуде. О нас с тобой и о ком-то еще. Но это не важно. Вечный сюжет.

Жена. А что-нибудь будет понятно? Ты измучил меня и зрителя малопонятными замыслами.

Голова друга (*из-за кулис*). Му-у-у...

Создатель. Этот очень простой и страшно реальный. Петроград, двадцатые годы...

Жена. Вот видишь — почему так давно? И обязательно — двадцатые? Значит, действне, как всегда у тебя, происходит на кладбище. Ведь то, что мы не знаем, — мертво?

Создатель. Но там про любовь. А она вечна,

Друг (*из-за кулис*). Му-у-у...

Жена. Про любовь? Но ведь ты не умеешь любить.

Создатель. Я не умею?

Жена. И совсем не знаешь нас, женщин. Мы — реальность, а ты всегда бредишь.

Создатель. Я не умею любить?

Друг (*из-за кулис*). Му-у-у...

Создатель. Неужели трудно послушать?

Жена. Почему — трудно? Бесполезно. Жизнь устлана твоими бреднями, куда ни ступишь — бредни. Или ты хочешь вылечить меня? Этим не вылечишь,

Создатель (*упрямо*). Петроград, двадцатые. Сенной рынок. Голод. Все торгуют чем могут. Юноша встречается девушку. В руках у них книги. Они пришли продавать книги. Одна из книг «Дон-Кихот». Разговорились о книгах. Девушка прелестна. Таких теперь не делают. Маленькая и, несмотря на бедность, опрятная. Юноша, наоборот, неухоженный, длинный, нелепый, у ворота рубахи недостает пуговицы. Промозгло. Юношу знобит. Ему кажется, что он заболевает. Она приподымается на цыпочках и откуда-то взявшейся английской булавкой скальвает ему у горла рубаху. Волосы девушки у его щеки. Крупный план. И музыка, музыка. Он просит оставить ему номер телефона. Она водит пальцем по воздуху, диктуя, все так же приподымаясь на цыпочках, он переписывает номер в книгу, и тут облава. Они теряют друг друга. Через час он продаст книгу какому-то человеку и только потом вспомнит, что там записан ее телефон...

Жена. Ужасно!

Создатель. В тот же день, вернувшись домой, он заболевает тифом. Английскую булавку он еще раньше спрятал в коробочку и положил в карман. Единственная память о ней. Его отвозят в больницу. Повальный тиф. Вокруг него люди мрут как мухи. Он выживает только потому, что не выпускает из рук коробочки с английской булавкой. Выйдя из госпиталя, он узнает, что потерял квартиру. Его посчитали мертвым. Там теперь другой жилец. Он остается на улице.

Друг (*входя*). Рассказ Александра Грина «Крысолов», журнал «Россия» номер 3, 24-й год, Петроград. Интересно, интересно.

Создатель. Знаешь!

Друг. Да, я человек просвещенный. (*Дает жене цветы.*) Это тебе. Он за всю жизнь не догадается. Как ты себя чувствуешь?

Жена. Слушаю сказки.

Друг. Му-у-у...

Создатель. Не мешай мне, пожалуйста, я ведь тебе не мешаю жить.

Друг. Ах ты, мой бедненький! Зачем тебе вся эта история?

Создатель. Я снимаю кино.

Друг. Да? Сейчас, здесь?

Создатель. Я снимаю кино.

Друг. Интересно, интересно. Но где же камера, свет, хлопушка? Где великие атрибуты кинематографа?

Создатель. Я не могу поставить технику между собой и актером, между собой и богом.

Друг. Но это же кино!

Создатель. И все-таки я снимаю «Крысолова». (*Жене.*) Скажи ему,

Жена. Наверное, так.

Друг. Ничего не понимаю. Не проще ли написать сценарий, добиться постановки, сделать картину? Тебе дадут.

Создатель. Но это означает признать, что театр чего-то не может.

Друг. А разве нет?

Создатель. Нет.

Друг. Ты переживешь всех нас. Переживешь, помрешь в девяносто лет и все, что успеешь, вывернешь на свой лад. Таких, как ты, долго держат на свете, кому-то это нужно. Вечный двигатель, постоянная течка. Что тобой движет? Признайся. Честолюбие?

Создатель. Уйди.

Друг. «Крысолов»? Почему «Крысолов»? Это отпугнет людей. Где ты видел сегодня крыс?

Жена. Каких крыс?

Создатель. Не слушай его.

Друг. Как, ты не знаешь? Там полным-полно крыс, он тебе не все еще рассказал. Этот сумасшедший тип нашел лаз в пустующие залы Центрального банка, устроился ночевать, и на него напали крысы, самые настоящие крысы!

Жена. Но ты говорил — любовь!

Создатель. Дослушай меня...

Жена. Зачем ты говорил — любовь?

Друг. Му-у-у...

Создатель. Тебе придется слушать меня, тебе придется, потому что никакой дурак не станет больше развлекать тебя любовными историями, тебе придется, потому что, кроме меня, ты не нужна никому, воплощенная добродетель, сука парализованная, дрянь, дрянь. Она, видите ли, слушать меня не хочет!

Друг. Да, ты гуманист.

Создатель. Я не наблюдателен, ужас в том, что я не наблюдателен. Общее сильное впечатление волнует меня, я чувствую способность передать его движение во времени и пространстве, я способен слиться с волной, стать волной, мне не страшно. Но я не способен понять, о, до чего же я ничего не способен понять, не пытаюсь понять.

Жена. Это правда.

Создатель. Красота взмаха, порывы юности, движение ради движения, вздох ради вздоха. Дайте мне защитить мое незнание, не участвовать в этой игре со смертельным исходом, идите за мной, идите за мной, не может быть, чтобы я не вывел вас из тупика...

Друг. Когда ты умрешь, я о тебе толстую книгу напишу...

Создатель. Пиши, пиши...

Друг. Но только — когда ты умрешь.

Жена. Прекратите!

Друг. Я говорю: деталь в кино — первое дело,

Создатель. Я знаю.

Друг. Бог кино — деталь. Какая-нибудь стрекоза...

Создатель. Я понимаю.

Друг. Есть у меня на примете один человек. (*Уходит.*)

Создатель. Любимая!

Жена. Не подходи ко мне.

Создатель. Но это я на него, на него, ты не поняла!

Жена. Никогда не повышай на меня голос. Никто никогда не повышал на меня голоса, и если ты еще раз сделаешь это...

Создатель. Клянусь, только дослушай...

Жена. Помни — я слушаю тебя без охоты, без всякой охоты, просто мне некуда деться.

Создатель. Хорошо, хорошо. Борис не соврал. Юноше действительно подсказали, что переночевать можно в заброшенных залах Центрального банка, и тайным ходом провели туда. Мы снимаем нескладную фигуру со свечечкой в руке, он идет сквозь анфилады комнат, бесконечный лабиринт, белый-белый от бумаг, сваленных впопыхах на пол, отсюда бежали, отказываясь от того, что раньше было смыслом их жизни — бухгалтерских книг, облигаций, счетов. Рябит в глазах от всей этой белизны, испещренной значками букв и цифр. Смеркалось. Юноша шел. Удаляется маленькая фигурка. Растет гора бумаг. Он идет почти погребенный в бумагах. Шорох, шорох. Будто вместе с ним, вокруг него кружатся люди. «А если это место обитаемо?» — подумалось ему. Юноша шел.

Жена. Где ты? Я не вижу тебя.

Создатель (*издалека*). Это кино.

Жена. Я боюсь. Где ты?

Создатель. Это кино.

Жена (*голос ее звучит в бесконечности*). Я боюсь.

Создатель (*один*). Убежал, убежал! Всегда верил, что убегу, и вот убежал! Ищи меня теперь! (*Поднимает свечу.*)

Голос. Свечечку-то пригасите, а то как запылывает. (И сразу подхватывают какие-то: Осторожней с огнем, осторожней с огнем...)

Создатель. Кто вы?

Голоса. Мы — слуги просцениума, всего лишь слуги просцениума...

Создатель. Кто разрешил вам вмешиваться?

Голоса. Сострадание, сердоболие, почитание, благоговение...

Грубый голос. Спалишь театр, а потом все за тебя и отвечай!

Создатель. Что?! (*Поднимает с пола и швыряет в их сторону книгу.*)

Голоса *(удаляясь)*. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха...

Создатель. Дрянь, мелочь, статисты, не способные разделить великое, ни на что не способные, вон из кадра! Дураки! *(Хватается за сердце.)* Нет, не уходите, я пошутил, братья, сподвижники, помру без вас! *(Прислушивается.)* Ушли дураки, о какие бесконечные трусы и дураки... Я сниму этих крыс не в фокусе, великолепными цветными пятнами они расползутся по экрану, как пятна нефти по воде. *(Поднимает свечу. Видит юношу, сидящего неподвижно.)* Ага, ты уже здесь, мой мальчик? Если я кого и хотел видеть, то это тебя. Давно ждешь? *(Не дождавшись ответа.)* И чем дальше юноша продолжал углубляться в коридоры, тем явственней понимал, что он уже не юноша и пора, пора отдохнуть... Что, проголодался? Не вставай! В этом рассказе все есть. Поддай мне, пожалуйста, перочинный нож. Сейчас я вскрою шкаф, и ты убедишься, как великолепно все задумано. *(Возится с замком.)* Я сниму этих крыс не в фокусе, цветными пятнами. Ты подойдешь и потянешь на себя дверцу, а они, выпрыгнув из шкафа, зависнут в движении, стоп-кадр, и на нем титры: «Крысолов», и твоя фамилия первой. Оценил? Неужели когда-нибудь мы с тобой были способны на большее? Приготовились! Тишина в кадре! Мотор! Мотор! Ну, открывай же дверь, открывай, что ты сидишь неподвижно, время уходит! Черт тебя возьми! *(Сам открывает дверцу.)* Кис, кис, кис... У какая дрянь! Стой, назад, они разбегаются, убегают, убей их, убей, останови, нужен дубль, где я возьму других? *(Обессиленно.)* Тебе трудно было встать? За что ты наказываешь меня? Ты недоволен тем, что я бросил ее одну? Пусть помучается, ты еще маленький, не знаешь, бабы это любят. *(Кричит.)* Мне надоело возвращать ее к жизни, меня бы кто вернул! *(Пауза.)* Вот мы и подошли к сцене пира. В шкафу юноша увидел несколько плотно упакованных корзин. В первой он обнаружил немалое количество головок сыра разных сортов, так вот, что здесь делали крысы! во второй — колбасы, в третьей — сигары, сдоба, шоколад, в четвертой... *(Выхватывает бутылку вина.)* Выпьем за нашу удачу! Знаю, знаю, плохая примета, за удачу не пьют, но ведь мы снимаем понарошку, по как будто, все равно из этой затеи ничего не получится. Главное — не задумываться, откуда все это взялось, главное — чудеса. Видишь, они уже начались. Голодный да насытится. Ты какие сигары предпочитаешь? А, да мы же с тобой не курим... А в виде исключения, а ради фильма? Поплыли... *(Закуривают.)* О сколько счастья, сколько счастья и сколько света и тепла — тарарамтатам! Ты помнишь, помнишь, помнишь? *(Пауза.)* А это ты помнишь, помнишь? Еще бы ты не вспомнил — воспоминания у нас одинаковые. А ее ты помнишь? Не ту, что сидит сейчас в кресле, делая вид, что обойдется без меня, а

другую, юную, которая не могла обойтись? Господи, воля твоя, я бы с охотой умер в тот момент любви, двадцать лет назад, еще тогда. *(Пауза.)* Должен вам сказать, молодой человек, что вы ведете себя заносчиво, не стоит вам забывать, что взяты вы в картину только моей милостью, а так ваш типаж ну никак не годится, просто ты жутко смахиваешь на меня, а вот я тебя сейчас сниму с роли к чертовой матери, немедленно сниму. *(Юноша встает.)* Стой! Куда?! Ах, какие же мы гордые, строптивные, слова сказать нельзя! Пей, лежи, наслаждайся одиночеством, крысы куда-то ушли... *(Напевает.)* Послушай, послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Будь добр, позвони ей, пожалуйста, скажи, что со мной ничего не случилось. Тебе что, руку лень протянуть? *(Юноша протягивает ему трубку с обрезанным проводом.)* Мертвый телефон! Крысы! Прделки крыс, мы отобрали у них пищу! Вот гады! Но надо же что-то делать — она там с ума сойдет. *(В трубку.)* Девушка, девушка, немедленно соедините меня, она там волнуется, срочно, мне нужно срочно! *(Юноше.)* Попроси ты, у тебя должно получиться. Этот фокус с мертвым телефоном. Самое главное, ради чего я снимаю «Крысолова». Ты попроси, у тебя получится, восстановится связь. Твоя юность, твоя любовь. Черт возьми, она была права, я безрукий, не могу ничего починить. Коммутатор, коммутатор! Он позвонил, ему ответили. Он назвал номер телефона, так как запомнил в воздухе расположение цифр, когда она диктовала. 12307, нет, 12703, его не дослышали, переспросили — 12508? Да, да! Это был тот самый ее телефон. Алло, алло! У меня не получится, у меня уже ничего не получится. Слишком слабый импульс. В том-то вся и суть, что в мертвом телефоне забились жизнь, ради этого и весь сыр-бор. Сделай чудо. Не хочешь? Сволочь! Алло, алло!

Жена. Я слушаю тебя, я слушаю тебя, почему ты молчишь, они подошли и рассматривают меня в упор.

Создатель. Кто? Крысы?

Жена. Я не знаю, ничего не могу разобрать, что они говорят, где ты?

Голоса *(из темноты)*. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха...

Создатель. Где ты находишься, сообщи мне, где ты находишься?

Жена. Там, где наш дом...

Создатель. А где наш дом? Что ты молчишь, я спрашиваю, где наш дом?

Жена. Там, где ты оставил меня,



Жена в кресле, Создатель, Соавтор.

Создатель. Вы прочитали рассказ?

Соавтор. Да.

Создатель. И что?

Соавтор. Безнадежно. Но меня предупредили, что ваш замысел безумен.

Создатель. Значит, вы отказываетесь?

Соавтор. Как я могу отказаться, если я уже пришел? Только не вздумайте относиться ко мне как к поденщику, у меня дома, если хотите знать, две тысячи страниц романа, и в нем все, что я думаю о нашей жизни.

Создатель. Ладно, ладно...

Соавтор (Жене). Можно, я у вас руку поцелую, мне это необходимо.

Создатель. Разреши ему.

Жена. Хорошо.

Соавтор. Для того чтобы писать, мне нужно кого-то обожать. Можно, я буду обожать вас?

Жена. Можно.

Соавтор (Создателю). Для чего вы ввязались в этот бред, ведь он никого не заинтересует, ни у нас, ни за границей, я знаю.

Создатель. Уходите.

Соавтор. Я профессионал, в том-то и штука, что мне уже некуда идти. Получив задание, я мгновенно включаюсь в работу. Но мне нужна ваша уверенность, что это кому-то нужно, что это получится, впустую я не работаю.

Создатель. Это мне нужно.

Соавтор. Достаточно. Ни слова больше. Итак, записывайте. Предложения хлынут потоком, мы захлебнемся, прошу вас конспектировать, что успеете.

Жена. Мне очень важно, чтобы было понятно.

Соавтор. Всем важно. Петроград, двадцатые...

Жена. Это я уже слышала.

Соавтор. Это слышали. Но дальше — вокзал. Юноша нездешний, он бежит в столицу от голода, от войны. Вместе со всеми. У него никого нет. Это важно. Сиротство. Юность, погубленная гражданской войной. Вставай, проклятым клейменный... Вокруг мародерство. В город прибывают мешочники. Вокзал оцеплен милицией. Облик юноши чист, почти иконописен. Он не вызывает подозрений. В пути к нему прибился непонятный тип. Юноша доверчив. Тип предлагает помощь в поисках жилья и работы. Облава. Типа уносит поток. Юноша один среди бегущих вопящих людей. Крупный план. Встреча с Петербургом. Панорама. Казанский, Адмиралтейская, Аничков. Основная идея — молодость облюбована преступным миром, чтобы прикрыть свои черные дела. Работа ВЧК. Дзержинский. «Вы жертвою

пали в борьбе роковой...» Революция в опасности. Юноша попадает на Сенной рынок. Он пытается продать единственную книгу, которая у него есть. «Дон-Кихота». Встречает ее. Она тоже торгует книгами. Из-за ангара за ними не переставая следит какой-то человек. Юноша и девушка разговорились. Она рассказывает об отце, как он, ученый, всеми силами помогает революции. Юноше зябко. Девушка, приподымаясь на цыпочки, подчеркиваю — на цыпочки, скрепляет ворот рубахи с отлетевшей пуговицей английской булавкой. Милиционеры идут по рынку. Мы — красная кавалерия... Они ищут кого-то. Наблюдавший за нашими детьми скрывается за ангаром. Мы успеваем заметить, что это тот самый вокзальный попутчик. Полицейские и воры, представляете? Он просит у нее телефон, она диктует, водя пальцем по воздуху, приподымаясь на цыпочки, подчеркиваю — на цыпочки, он записывает прямо в книгу. У вас есть таблетки от головной боли? Облава. Милиция преследует мешочников. Юноша посреди бегущей в разные стороны, воющей толпы. Это есть наш последний... Революция в опасности. Через час он продаст книгу какому-то старику. Еще через некоторое время сползет в беспамятстве по стенке в каком-то переулке. Тиф.

Создатель. Вы — сумасшедший?

Соавтор. Нет, я — профессионал, в том-то и штука, что я профи, и ваш бред меня интересует только как желание доказать, что всему на свете можно придать товарный вид. Нет вещей непроходимых — есть несделанные.

Создатель. И давно это у вас?

Соавтор. У меня две семьи, четверо детей, я не работаю впустую, просто права не имею. (Жене.) Вам понравилось?

Жена. Очень. Но как же любовь? Такие чудные молодые люди.

Соавтор. Я не забыл о любви. Любовь — это стержень, на нем все держится.

Создатель. Тогда — крысы...

Соавтор. Мешочники, белогвардейцы, контрреволюционеры... Залы Центрального банка — притон. Юноша для отвода глаз.

Жена. Кого из своих детей вы любите больше?

Соавтор. Я люблю всех одинаково.

Друг (входит с цветами). Это тебе. Он за всю жизнь не догадается. Как ты себя чувствуешь? Ну, старый грешник, объяснили тебе, что к чему?

Создатель. Он — талант.

Друг. Да? Как-то ты заговоришь, когда прочтешь его роман! Он — гений.

Жена. Ты знаешь, как-то стало действительно вдруг все-все понятно...

Голоса. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха.

Создатель. Друзья мои, проявитесь! К нам пришел автор.

Голоса. Здравствуйте, здравствуйте! В каком состоянии духа пребываете? Что пописываете?

Друг. Как ты их, однако...

Создатель. К нам пришел автор и принес новый сценарий. Вы довольны? В нем очень много песен, реприз, танцев, интермедий, как вам? И главные роли для всех!

Голоса. Дайте, дайте, господи, роли, благословение, дайте, жаждем, господи, утоли, утоли...

Создатель. Раз, два, три, четыре, раз, два... Легкая разминочка! Не разговаривайте! Вторая справа, подбери живот!

Вторая. Это вы мне?

Создатель. Да.

Вторая. У меня «месячные».

Создатель. А у кого придатки простужены? Шаг вперед! Раз, два, три, четыре...

Голоса. У всех, у всех...

Создатель. А у кого температура, при которой не играют, но они пришли? Раз, два...

Голоса. У нас, у нас...

Создатель. Молодцы! А кто любит искусство в себе больше, чем себя в искусстве? Раз, два, три, четыре...

Голоса. Мы, мы, мы!

Создатель. Приглядывайтесь, автор, приглядывайтесь! Здесь они — ваши кумиры, герои, калеки, ваши выразительные человеки, приглядывайтесь, кто выразительней, и выбирайте. Но сначала — канкан. Прошу!

Звучит канкан. Он длится бесконечно. Все валятся с ног.

Создатель (*указывая*). Останешься ты, ты и вот ты. Остальные не нужны.

Голоса (*растворяясь*). Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха, спасибо, спасибо.

Грубый голос. Нам были обещаны слова.

Создатель. Что?! (*Швыряет в них книгу*.)

Голоса (*слабо*). Дайте слово...

Друг. Зачем они тебе, если ты их не любишь? Лучше брось.

Создатель. Люблю.

Друг. Ничего у тебя не получится. И всегда ты меня расстраиваешь, хоть не приходи. (*Жене*.) Как ты его терпишь?

Создатель. Больно вот тут.

Жена. Объясни, сделай понятным то, что произошло сейчас, я хочу понять, я имею право,

Создатель (*одному из оставшихся*). Потяните на себя дверцу. Да, да, вы. Я к вам обращаюсь. Сейчас оттуда выскочат крысы. Внимание! Мотор! Тяните! Чего вы медлите?

Юноша. Мне поручено сказать... Мы ненавидим ваше искусство...

Создатель. Тяните, тяните!

Юноша. Оно антиэстетично, античеловечно, антигуманно...

Создатель. Да будешь ты тянуть, черт возьми, или нет? (*Сам рвет дверцу, выскакивают крысы, юноша падает.*)

Юноша. Ах!

Жена. Прекрати, не хочу, ты слышишь, не хочу!

Друг (*Соавтору*). Обратите внимание — он ее методично сводит с ума.

Соавтор. Я обратил.

Создатель. Вы все видели только что, как человек, не вникая, отказался выполнить задание, не вникая, что последует за этим, не догадываясь, что я сниму этих крыс цветными пятнами деформированными оптически, они застынут в движении и пойдут на них титры, а там его имя, исполнителя, первым...

Вбегает Девушка.

Девушка. Не прикасайтесь к нему! Как вам не стыдно, воспользовались властью, а он боится крыс, да, он их боится, потому что не у вас, а у него отца сожрали в тюрьме крысы, да, крысы, в блокадном Ленинграде, врага народа, крысы в тюрьме. Они тоже хотели есть. Вы не смеете нас унижать! Мы — люди, а вы? Вы — творец? Только оно никому не понятно, это ваше творчество, это я от имени людей говорю.

Создатель. Девочка, девочка, я давно заметил тебя, ты Офелию будешь играть, Дездемону, Заречную...

Девушка. Ничего я у вас играть не хочу. (*Юноше.*) Пойдем. Пусть остается со своими крысами.

Создатель. Никто, кроме тебя, никто, кроме тебя. Он должен преодолеть отвращение, пойми. Это ведь путь к тебе. Он должен испытать такое одиночество, о котором страшно рассказывать, и только тогда понять, что спасение одно — ты. Я сам ненавижу крыс! Но что я могу поделать, если это единственный путь к тебе.

Жена. К ней?

Девушка. Ты что-нибудь понимаешь?

Юноша. Дайте, я еще раз попробую.

Создатель. Э-э-э, попробуешь! Да, они все уже давно разбежались. Давай лучше телефонную сцену. Ты берешь совершенно мертвый, с отрезанным шнуром аппарат, и что ты слышишь?

Жена. Что можно услышать в мертвом аппарате?

Юноша. А что я хочу услышать?

Создатель. Вот! Это вопрос. И ты получишь на него ответ. Ты хочешь услышать ее голос.

Юноша (*прислушиваясь*). Я слышу зуммер...

Друг. В мертвом аппарате? Бред.

Юноша. Кажется, я слышу зуммер. Послушайте.

Создатель. Я тебе верю. Сейчас тебе ответит телефонистка, она спросит номер, что ты ей скажешь?

Юноша. Номер.

Создатель. Да, но откуда ты его возьмешь, книга-то продана!

Юноша. Книга продана.

Девушка начинает чертить в воздухе цифры.

Юноша. Нет, нет, как же, я отчетливо помню, сейчас, сейчас... 12307?

Создатель. Не стоит ему подсказывать.

Жена. Он должен сам вспомнить, понимаете?

Девушка. Хорошо.

Юноша. 12703? Боже мой, неужели я не вспомню?

Создатель. Тебе что — нечего ей сказать?

Юноша. Не мешайте мне, да, да, коммутатор, да, да, я назову вам сейчас. 12703?

Девушка. Вспомни, пожалуйста.

Юноша. Как, как вы сказали? 12508, да, да, именно 12508. Она не расслышала меня и переспросила правильно!

Создатель. Это вмешалось чудо.

Друг. Чудо кинематографа?

Создатель. Чудо театра.

Жена (*тихо*). Просто жизни.

Юноша. Где вы находитесь?

Девушка. Кто это говорит?

Юноша. Прошу вас, не переспрашивайте, все может кончиться в любое мгновение. Я тот, кто продавал книги, мы встретились на Сенном... Вы мне еще английской булавкой ворот скололи, я потерял ваш телефон, адрес, пожалуйста, где вы живете?

Девушка. Как же вы звоните, если потеряли телефон?..

Юноша. В это нельзя поверить, все расскажу при встрече, адрес...

Девушка. Да, да, я припоминаю вас... Как, однако, все это странно...

Юноша. Адрес, пожалуйста.

Девушка. Ну, хорошо, записывайте: 5-я линия, дом 7, квартира 2. Где вы находитесь? Что, что? Не слышу!!!

Соавтор. Он звонит, чтобы сообщить девушке об об-

наруженных в шкафу продуктах, через отца девушки он хочет предупредить ЧК.

Создатель. Как?

Соавтор. Я говорю — он звонит, чтобы предупредить ЧК.

Создатель. Ну да, конечно, конечно. Товарищи, скажите нашим, что мы здесь... и так далее. В случае чего отстреляемся. Но последний патрон... так и скажите... последний... они поймут...

Голоса. Эгей, э-ге-гей...

Создатель. Вот они... поднимаются массы... расхватывают роли... продолжается исполинский спектакль, в котором нет места для нас с тобой.

Врываются Слуги просцениума.

Голоса. Вихри враждебные веют над нами, темные силы! По этажам! Крысы контрреволюции где-то здесь.

Соавтор. Прекратите профанацию, прекратите профанацию! Он делает из меня дурака!

Друг. Пусть бесится, таким я его люблю!

Создатель. Все, все, все! (Соавтору.) Ты кто — комиссар? А я белополяк! Вяжи, ребята, комиссара!

Голоса. Мы это раз Зимний брали, попробовал бы ты в папаше летом, юпитера-то жарят, ах, гнида, надоело, надоело...

Соавтор. Остановите их.

Создатель. Сами, сами...

Соавтор. Но я же не режиссер, я не умею!

Создатель. А зачем же тогда народ волновать? Сколько раз стреляла Яровая в Ярового?

Соавтор. Остановите их!

Создатель. Сколько будет еще стрелять?

Жена. Пусть эти люди уйдут.

Создатель. А справедливый гнев масс?

Жена. Нахлебались мы этого гнева.

Соавтор. Вы увидели в моем замысле конъюнктуру и похабину, вы исказили мой замысел, и все потому, что вы ни на йоту не знаете, что надо зрителю!

Создатель. Я?

Соавтор. Вы.

Создатель. Я не знаю, что надо зрителю?

Жена. Не знаешь.

Друг. Му-у-у...

Создатель. Э-ге-гей!

Голоса. О-ё-ёй!

Создатель. Расходись, ребята... Тут такое выяснилось... Всем спасибо. Гасите юпитеры! Театр погружается в траур. В связи с тем, что я не знаю, что надо зрителю.

Голоса. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха...

Юноша. Нам тоже уходить?

Создатель. Да.

Соавтор. Нет, останьтесь. (*Создателю.*) Вы никогда не сдвинетесь с места, пока не поймете, что сюжет в кино надо гнать. Делая картину, следует помнить, что в ряду зрительских впечатлений она не первая и не последняя. Как и мы с вами — не первые и не последние.

Создатель. На конвейер меня поставить хочешь? Нет, шалишь, соавтор, я — единственный. (*Другу.*) Ты хоть объяснил бы ему, куда он идет.

Жена. В сумасшедший дом.

Соавтор. Можно, я вашу руку поцелую? Теперь я снова могу работать, вам не сбить меня. Итак, после телефонного разговора юноша остается один, силится не уснуть, но он еще слишком слаб после тифа...

Создатель. Просто выпил много.

Жена. Молчи.

Соавтор. Ночью он услышал приближающиеся к двери шаги. Движение началось издалека. Чувствовалось, что идет хозяин и идет за своим. Юноша бросается к шкафу, пытается затолкать назад остатки еды. Поздно! Шаги приближаются. Вот они совсем рядом, у самой двери. Неожиданно женский голос произнес: «Ничего не бойтесь, идите за мной». Шаги стали отдаляться в том направлении откуда пришли. Юноша приоткрыл дверь. Мятущийся язычок свечи. Он двинулся вслед.

Появляется Иностранка.

Иностранка. Здесь делают советский авангард?

Создатель. Что?

Иностранка. Мне дали адрес, сказали — здесь здорово. Это театр?

Создатель. Театр, но сейчас здесь снимают кино.

Иностранка. О, Тарковский, Кончаловский, я знал, я видел. Восхитительно, я совсем-совсем ничего не понял! Это здорово! Мое имя Санта Крус Панорама.

Друг. Здесь делают все, что вам нужно. Вы сами от себя или от фирмы?

Иностранка. Я и есть фирма.

Друг. Очень хорошо. Сейчас мы вас во все сразу и посвятим...

Иностранка. Только не прерывайтесь, я люблю в процессе, все почему-то прерываются из-за меня.

Друг. Нет, нет, мы себя уважаем. (*Соавтору.*) Продолжай.

Соавтор. «Осторожней, осторожней, следите за свечой, не потеряйтесь, сюда, идите сюда», — шептал женский

голос, чем-то напомнивший юноше голос... Шерли Макк-лейн.

Иностранка. Шерли? Это прелестно.

Соавтор. Звуки блюза сопровождали их на всем пути, далекого нездешнего блюза, напоминающего, что человек не одинок, что кроме тифа и голода есть еще тропические страны. Теперь казалось — женщина не шепчет, а поет под томительный аккомпанемент джаза: «За мной, идите за мной...»

Создатель. Что он говорит?

Друг. Молодец!

Иностранка. Где происходит действие!

Жена. В России.

Иностранка. В России? Это правильно.

Соавтор. Внезапно женщина дунула на свечу, свеча погасла, один неосторожный шаг, и юноше показалось, что он летит в пропасть. Чудом зацепившись за что-то рукой, он повис над огромным освещенным залом...

Иностранка. Это восхитительно. Вы актриса?

Жена. Я жена.

Иностранка. Я недавно похоронила мужа, тоже русского, о, он был очень талантлив, он был так талантлив, что я за всю нашу совместную жизнь так и не поняла, чем же он все-таки занимался. Эти русские гении!

Друг (*Иностранке доверительно*). Они встретились на рынке. После революции, знаете? Голодуха в России, они бы рады бежать, да некуда. Кругом милиция, ЧК. Она такая маленькая, маленькая и беспомощная. Он такой большой-большой и беспомощный, она и прижалась к нему, знаете, вот так...

Иностранка. Любовь?

Друг. Русская любовь, русская! Та, когда никаких преград, когда вокруг тиф, крысы, телефоны обрезаны, а они, несмотря ни на что, ни на что, по такому вот (*показывает*) обрезанному телефону объясняются друг другу в любви. А тут еще он номер потерял, такая история.

Иностранка. Я понимаю, понимаю, не все, но понимаю, я по происхождению русская, мы все там немного русские...

Жена. Где?

Иностранка. Там... (*Показывает рукой.*)

Соавтор. Посреди зала за круглым рулеточным столом сидели господа в смокингах. Казалось, весь цвет подпольного бизнеса собрался в зале.

Создатель. Дурак, это же крысы, когда же вы наконец поймете, что его действительно морочили крысы?

Друг. Помолчи, помолчи. (*Иностранке.*) Это и есть создатель. Только мы разрешили ему немножечко отдохнуть.

Иностранка. Я понимаю,



Создатель. Крысы обладают даром внушения. Они могут превратиться в кого угодно. Помнишь, мы были с тобой на море, помнишь?

Жена. Успокойся, успокойся.

Создатель. Мы были на море. Она остановилась купить мороженое. А я пошел по набережной дальше. Вечер. Я четко помню, что впереди меня шла огромная, с крутыми боками женщина, она переваливалась, закрывая от меня горизонт, тело ее пахло жарким, крутым потом. А потом что-то щелкнуло в мозгу, и я увидел, что передо мной не спеша, шевеля жирными боками, шагает крыса, самая обыкновенная крыса. И тогда мне так стало за тебя страшно...

Иностранка. О, это очень оригинально.

Друг. Да куда уж...

Создатель. Ты хоть помнишь тот вечер?

Жена. Я помню все вечера, в которые была здорова.

Создатель. Это все крысы, понимаешь, крысы! Они не могут простить мне, что я их разгадал.

Иностранка. У нас и это есть, у нас все есть, но это так оригинально, что за это уже не платят.

Друг. Да? А если адаптировать?

Иностранка. Как?

Друг. Ну, приспособить? К тамошним условиям?

Иностранка. Неплохо. Но кто это сделает?

Соавтор. Я.

Друг. Ну, конечно же, боже мой!

Иностранка. Кто он?

Соавтор. Я — профессионал. Продайте мне «Крысолова». Я увлекся. Продайте «Крысолова». Я должен дойти до конца. А вы, вы не справитесь, вы безнадежны, продайте, я извлеку из этой истории, что можно, вы ее не узнаете.

Создатель. Бери даром, засранец.

Соавтор. Оскорбляйте, оскорбляйте. Я увлекся, этого вы у меня не отнимете, спасибо вам, что я увлекся, и вам, обожаемая, дай вам бог здоровья. И вам, что рекомендовали, и вам, что появились, мисс Санта Круис Панорама. Пойдемте, пойдемте, здесь нет того, что вы ищете, он — не авангард, авангард — это я.

Иностранка. Правда?

Друг. Несомненно.

Соавтор. Нам надо обо всем договориться. *(Уходят.)*

Жена. Кажется, я становлюсь кинематографистом, вижу одни подробности, меня разглядывают, я разглядываю. Ты не прав — природа неподвижна. Она колышется только вокруг суетящегося человека. Но стоит человеку застыть, как все вокруг засыпает. И здесь уже ничего не поделаешь.

Создатель. Тут нужна девушка. Такая, как ты. Тогда. Но это невозможно, такой, как ты, нет, и значит, история не повторится, все кончено.

Голоса. Слава Освободителю! Смерть Крысолову! Слава Освободителю! Смерть Крысолову!

Создатель. Это кто там голову поднимает?

Голоса. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам успеха...

Создатель. Идите, идите сюда, не бойтесь.

Голоса. Дайте понятного, славы, воздуха, жизни, успеха, дайте, дайте...

Голос. Да неужели ты, зараза, не видишь, что театр задыхается?

Создатель. Я снимаю кино.

Голос. Пошел ты в задницу со своим кино!

Голоса. Голосуем, голосуем, хотим другого, из наших хотим, чтобы знал нужды, поощрял, поощрял, родного хотим, тепла хотим, человечности...

Девушка. Но мы же его совсем не знаем! Надо дать ему шанс! Я верю — надо дать ему шанс.

Юноша. Только попробовать.

Голоса. Напробовался, в дерьме сидим, вот где он у нас, все выпендривается, выпендривается, искусство принадлежит народу, оно должно быть понятно.

Создатель. Так все-таки понято или понятно? В конце концов понято или понято?

Голоса. Какая разница, снова нас убалтывает, все выпендривается, смерть Крысолову, слава Освободителю!

Голос. Сами уйдете или как?

Создатель. Можно мне позвонить домой?

Голоса. Нечего звонить, нечего, сказано, уходи, значит, уходи, посоветоваться хочет, какие тут советы, телефон занимать...

Создатель. Нет, нет, я по этому, по своему, по буафорскому. *(Поднимает трубку.)* Тишина...

Юноша. Вы подождите немного. Должен появиться зуммер.

Создатель. Должен?

Юноша. Да. Если очень нужно.

Создатель. Мне нужно. Но у меня слабый импульс, слишком слабый импульс.

Девушка. Вы ждите.

Создатель. Да, да *(ждет)*, она там волнуется, как у нас, как собрание прошло, не нужно от нее ничего скрывать. Коммутатор! О, кажется что-то, движение есть.

Голос. Я слушаю вас.

Создатель. Девушка, девушка, коммутатор, немедленно соедините меня, она там волнуется, мне нужно срочно.

Голос. Я спрашиваю: номер?

Создатель. Представляете, мне ответили, мне! Но это же невозможно!

Голос. Гражданин, ваш номер?

Создатель. Мой? Я не помню... Какой у нас номер? Она ведь продиктовала мне, я записал его в книгу. (*Юноше.*) Подай мне книгу, пожалуйста. Я ее продал! Да, да, тому длинноусому за бесценнок, можно сказать подарил, а там ее номер, ее номер! (*Юноше.*) Помогите мне, быстро вспоминать, быстро. Девушка, одну минуточку, сейчас, ну, пожалуйста, вспоминай, вспоминай!

Юноша. 12307!

Девушка. Нет.

Юноша. 12703?

Девушка. Нет.

Голос. 12508? Даю 12508.

Создатель. Да, да, 12508, откуда вы знаете? Алло, алло!

Голос. Занято.

Создатель. Этого не может быть! С кем ей говорить? У нее, кроме меня, нет никого!

Голос. Соединяю.

Создатель. Алло, алло! Алло, это ты?

Жена. Я.

Создатель. С кем ты говорила? У нас мало времени.

Жена. Так, чепуха. Как ты?

Создатель. Мы будем с тобой говорить по мертвому телефону — единственные абоненты единственной забытой страны. Это ты?

Жена. Ну, конечно, я. Не бойся, родной мой, не бойся, крыс больше нет, сегодня в ловушку попала последняя, я выслеживала ее все то время, пока ты был занят «Крысоловом», я уже тогда знала, что ты не можешь ошибиться совсем, дыма без огня не бывает. Верь мне, крыс больше нет, я убила последнюю.

Создатель. Вы слышите — крыс больше нет, крыс больше нет! Театр закрывается!

Голоса. А нам что делать? Найдем работу в другом месте. Понаставили ловушек, тоже мне творцы, гении, а говорили — о любви, о любви...

Голоса затихают.

Друг (*входя с цветами*). Ну, как вам нравится мальчик? Он так всучил ей сценарий. Юноша приезжает в Рим, в поезде с ним знакомится подозрительный субъект, подпольный торговец наркотиками. Облава. Он приходит на рынок продавать книги. Знакомится с ней. Она закалывает английской булавкой... Ну, дальше вы сами знаете. И бьюсь об заклад, мы получим «Оскара», получим. А вы как думаете? Му-у-у...

Марк Наумов

## В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА

Было бы уже совсем темно, если бы не зеленоватые, высоко вознесенные ртутные фонари. Проползшая по заиндевелому стеклу тень пешеходного мостика подсказала Гуляеву, что они проехали станцию Сортировочная и сейчас будет поворот на последнюю прямую, на родимый Новочерниговский проспект. Он поерзал, стараясь расставить ноги пошире, но куда там! Не то что ногу переставить, а и вздохнуть поглубже не было простора. Но все же к этому крутому и тряскому повороту следовало как-то подготовиться. Гуляев нежнейшим движением, чуть-чуть поддегивая, стал сгибать левую руку, обремененную портфелем. Портфель, раздутый будто бы обожравшийся уличный пес, еле-еле слабыми толчками пополз вверх. Но как ни сторожился Гуляев, он все же поколебал равновесие, едва-едва установившееся в автобусе. Недовольно заворочался сосед слева. Гуляев скосил глаза. Здоровенный парнище лет семнадцати-восемнадцати, на голову выше его, патлатый и прыщавый, с крошечной шапкой на затылке, в замызанной нейлоновой куртке, крепко попахивающий вином. У Гуляева даже дыхание перехватило, он поспешно опустил голову, лишь бы не встретиться взглядами. Он было прекратил свои попытки, но деваться все же было некуда, надо было что-то делать. Он снова потянул портфель вверх и почувствовал нежданную свободу и легкость, как если бы из портфеля дорогой вытащили все его выстрадавшие в очередях предпраздничные покупки. Он было так и подумал, опустил глаза и увидел, что сосед его как-то неловко избочась подталкивает портфель снизу. Гуляев благодарно покивал, перехватил портфель в правую руку и, выпростав левую, зацепился ею за поручень. Теперь возмущенно заверещал Колюнька, потому что Гуляев отяжелевшей правой рукой больно прижал его под коленками к себе.

— Потерпи, потерпи, сынок, — выдохнул Гуляев, — вот мы сейчас повернем на нашу улицу и уже почти приехали.

— Очень долго! — хныкнул для порядка Колюнька, но, вообще-то, ему было не до того, он набирался впечатлений, поворачивая голову почти вкруговую, по-совиному.

Гуляев был занят своим. Он, морща нос, пытался вертнуть очки на вспотевшую переносицу, но без толку. Наконец Колюнька небрежно-великодушным движением водрузил очки на место.

— Спасибо, сынок, — шепнул Гуляев, — выручил.

— Спорим, еще сильнее выручу! — запальчиво выкрикнул Колюнька.

И прежде чем Гуляев нашелся что ответить, Колюнька подался вперед и, как бы вставая в стреминах, ухватился за поручень рядом с отцом. Гуляев открыл было рот заругаться, но так ни слова и не вымолвил, пораженный. Он впервые увидел рядом со своей рукой руку сына. Они повторяли друг друга, как подобные фигуры, как разноформатные отпечатки, с одного негатива. «Боже,— подумал Гуляев,— как это все-таки получается? Нет, я все понимаю, гены там, двойная спираль ДНК... Но каким образом я все же повторяюсь? Чудо... Я действительно не исчезну совсем...»

— А где твои варежки? — тихо спросил Гуляев. — Почему ты в такой мороз без варежек?

— Они высохли,— спокойно ответил Колюнька.

— Как высохли? — не понял Гуляев.

— В сушилке,— терпеливо объяснил Колюнька,— после гуляния.

— Как же это так?! — возмутился Гуляев.

— Как-как! — в свою очередь потерял терпение Колюнька. — А вот так!

— Гражданин, вы портфель ваш грязный мне на колени не ставьте.

— А ты бы взяла да встала, уступила бы место с ребенком-то.

— Сама и уступай, раз такая умная.

— Могла бы уступить, так уступила бы, твоего приказа не дожидаясь. Да мне не подняться, сверху прижали.

— Ну и сиди тогда, помалкивай. А он ничего, молодой еще, постоять может. Мы в его годы с детьми сутками за хлебом выстаивали.

— Ты-то стояла, видно! До сих пор все с голодухи пухнешь, остановиться не можешь!

— У меня обмен, а ты дура старая, потатчица, дети поди из тюрьмы не вылазят!

— Спекулянтка!

Гуляев заметался глазами, ища, куда бы спрятаться, но свара утихла сама собой, да и свободы у него было не больше, чем у гвоздя, вбитого в вязкое дерево.

— Давай мне,— безнадежно меж людей тыкала руки доброжелательница, сидевшая за спиной у Гуляева,— у этой злыдни совести нету.

— Где уж! Вся у тебя! — тоном ниже отозвалась задетая Гуляевым бабка. — Давай мне дитё. Иди, милый, к бабе на ручки, в окошко посмотрим, к водителю заглянем, как он там руль крутит... Портфель-то давай сюда, господи! — раздраженно прикрикнула она на Гуляева.

Спустив Колюньку и портфель на колени к дородной бабке, Гуляев все только повторял: «Спасибо, спасибо!» —

а сам весь обмяк и как-то растекся внутренне, потому что весь путь, длинный, нескладный, с двумя штурмовыми пересадками, был уже позади, и безумие предпраздничных магазинов было уже позади, и весь бестолковый день, когда все уже полны предвкушений, но еще вынуждены работать, был позади. Да и весь этот год, который охотнее оправдывал опасения, чем надежды, тоже был позади. Впереди была коротенькая спокойная прогулка по хрустящему снегу вдоль уютно освещенных домов, под черным небом с ярко-белой морозной луной. Впереди был самый желанный вечер недели, вечер перед выходным. Шли последние минуты еженедельной гонки, когда он особенно неприятен был самому себе, в липнущей рубашке, с гудящими подпухшими ступнями, нечистой, зудящей кожей лица и ладоней. Сейчас казалось, что для счастья нужно всего ничего: горсть холодной воды в лицо, мягкая, просторная обувь, горячий ужин.

— Пап, пап, а это что? — на весь автобус спросил Колюнька, который вполне освоился на коленях у старухи и ползал по ней, будто имел на это право. — Почему гинлярды на заборе?

— Глирянды, деточка, — придушенным шепотом поправила бабка, пытаясь погладить его по головке. — Ты по-сунься чуток, милый, а то мне не дыхнуть.

— Коля! — покраснев, прошипел Гуляев. — Коля!

Но Коля не обращал внимания.

— Это базар такой, там елочки продают, — прохрипела старуха. — У тебя есть елочка?

Колюнька покивал, потом повернулся к Гуляеву и уставился на него безмятежным взглядом.

— Большая? — спросил он.

— Что? — не понял Гуляев.

— Елочка у меня большая? Как в саду?

— А-а-а... — протянул Гуляев.

Елки дома не было. Ирина напоминала несколько раз, но как-то не настойчиво. Он пытался достать, но тоже, видно, не очень настойчиво, ничего не вышло. А тут еще как назло в автобусе стало на момент тихо и отвечать приходилось как бы для всех.

— Идем, пора выходить, наша остановка, — Гуляев потянулся взять Колюньку, но тот забрыкался и закричал злым голосом: — Нету елки, нету, вези меня обратно! Вези сейчас же обратно в сад! Там у нас елка! Поехали в сад! В сад хочу!

Гуляев тянул бьющегося сына к себе и чувствовал, с какой упрямой неохотой выпускает его легкое, прикладистое тельце старуха.

— Папаши! — прошипела она дежурным голосом. — Ребеночка в чужие люди спихнул и рад, лишь бы на стороне таскаться. И было бы что путное, — она прищурилась на

Гуляева, у того даже пальцы подобрались в войлочных ботинках,— а то ведь так, без слез не взглянешь...

Это ему уже доводилось слышать неоднократно, от разных людей и разными словами. Его жалели, и осуждали, и пытались наставлять, и пошли бы они все куда подальше!..

Автобус затормозил наконец, скрипуче разжал двери и стал бурно извергать содержимое, будто бы на заключенных в нем людей действовали внешние, отдельно от них существующие силы. Кого выбрасывало боком, кого спиной, кого по несколько раз поворачивало в потоке, и он вылетал на морозную волю с выпученными шальными глазами и судорожно разевающимся ртом. Кто-то, будто бы спасаясь, пытался зацепиться за поручень, но нелюдская сила потока отрывала и выбрасывала вовне и такого. Гуляев, обремененный своей ношей, не имел, конечно, возможности противиться натиску. Он, напротив, изо всех сил старался держаться стремнины и лишь подставлял ноги, принаравливаясь к общему ритму. Колюнька, удивленный и напуганный катавасией, на малое время потерял бдительность, перестал брыкаться и кричать и вновь спохватился уже на улице.

— Назад вези! — снова заплакал он.— В сад!

Гуляев слышал голос доверия, оскорбленного предательством. Гуляев вздохнул поглубже, и ноздри его слиплись. Мороз... Этот крик закончится ангиной в лучшем случае. Но как его успокоить? Объяснить, что сейчас он должен высиживать на службе от сих до сих, чтобы не дать зацепки Ермилову, который только и ищет, как бы не пропустить его в старшие, сохранить место для какого-нибудь своего шурика... А не урвав от рабочего дня, достать елку нет никакой возможности... Или рассказать, как нагло и грубо надул его тот же Ермилов, втянув в авантюру с покупкой елок в лесничестве. Записал, взял деньги, обнадежил, а потом привез пяток елок для лучших людей, а с остальных деньги собирали, как сам он сказал, для накладных расходов. Еще посмеялся: «В получку верну, а пока извини, праздник на носу, сам понимаешь!» Пришлось скоросрылиться в сочувственно-понимающую улыбку... А что сделаешь? Не это же объяснять сыну. И, спуская его с рук, Гуляев сказал:

— Замолчи сейчас же! Как тебе не стыдно? Такой большой!

Но Колюнька лишь пуще залился, повторяя все свое про садик и про елку, и Гуляев поставил портфель на раскатанный, по-морозному чистый снег, присел на корточки, приблизил свое лицо к лицу сына, красному, зареванному, с раскрытым, по-младенчески еще квадратным ртом, на миг зашелся от жалости и от восторга перед этими ровными, белыми, необыкновенной красоты зубами. Через эти зубы по дрожащему языку в горло и дальше врывался ледяной

холод, тут же принимаясь за свою злую работу. Надо было что-то делать. Вокруг, справа и слева, торопясь, шли, бежали, запинались, шаркали, скользили чужие ноги. Мужские и женские; в туфлях, ботинках, сапогах, валенках, все разные и все в одном схожие — они не останавливались.

— Сынок, ну что ты, ей-богу, что ты разревелся, мне слова не дал сказать. Есть у нас елка, просто я ее спрятал, чтобы подарок был на Новый год... Понимаешь? Подарок... Сюрприз...

— Подарок? — Колюнька сразу успокоился. — Как Дед Мороз? Ты ее в лесу спрятал?

— В лесу, в лесу, чтоб одна не скучала. Вот мы сейчас с тобой придем домой, поьем чаю, и я за ней поеду. Ты проснешься, а елка уже дома, все вместе наряжать будем.

Дальше все было, как мечталось — черное тихое небо, уютные огни жилья, тишина, чистый воздух.

— А правда?

— Что?

— Елку спрятал?

— Правда сынок. Ты проснешься, а она дома.

Колюнька взглянул на него и замолчал.

— А мы вас уже заждались, — приветствовала их Ирина, — где это вы гуляете, товарищи Гуляевы? Мы ждем, спать не ложимся, — приговаривала она, подтаскивая к себе Колюньку. Сашенька, оттопырив губы, деловито ловила мамины волосы и наматывала их себе на ладошку.

— Молока привез? А то кормить ее уже нечем. Что так долго? Господи, почему он без варежек? Виталий, почему он без варежек? Он что у тебя, ревел на морозе?

— Нет! — угрюмо заявил Колюнька. — А чего она тебя за волосы дерет? Тебе же больно!

На этих словах Ирина наконец дотянулась до Колюньки и стала целовать его в лоб, в нос, в щеки, он только пофыркивал.

— Раздевайтесь же наконец, что вы как на вокзале! Слава богу, наконец все дома. Почему все-таки так поздно, Виталий? В чем дело? Наверно, его последнего забрал?

— Очереди, — сказал Гуляев, — да еще пришлось на работе немного задержаться. Вдруг заглянул Храмов, попросил показать материал.

— Храмовы, Ермиловы, Рубцовы... Каждый день у тебя дела да случаи... Господи, кончалось бы уж все это хоть как-нибудь, только поскорей!

— Кончится; кончится, не переживай. Так дальше будет идти, вместе со мной кончится и вскорости.

Ирина молча отмахнулась, прижала Колюнькину голову к своему бедру, перехватила поудобнее Сашеньку, пошла с ними в комнату. В дверях она обернулась:



— Ну пусть ты не врешь, ну, скажи, зачем тебе какой-то Храм, да чтобы он еще предпраздничный вечер стал тратить на твой... твою... твои труды?

— Храм имеет прямой выход на Рубцова, — начал Гуляев, — а тот председатель совета, где мне защищаться, если доживу... Да не лезь ты не в свои дела! — взорвался он. — Сколько просить? За такой случай благодарить надо, не знаю как... А, ладно! Может, ты дашь мне поесть?

— Сначала я накормлю детей, а потом мы с тобой поедим, если ты принес что-нибудь съедобное, а то в доме ничего... Он действительно не плакал на улице? Господи, целую неделю не видишь ребенка и в первый же вечер доводишь его до слез! А почему ты не переодеваешься?

— Я сейчас уйду.

— Уходишь? — Ирина подняла брови. — Куда же?

— По делу.

— Ну, ладно, — Ирина скрылась в комнате, стала тихонько уговаривать Сашеньку, чтобы та посидела в кровати, потом бегом бросилась собирать ужин для Колюньки, поминутно возвращаясь в комнату.

— Уходишь и уходи. Без тебя даже спокойнее. Коленька, милый, иди мой ручки и садись!

В ответ из комнаты донесся грохот рассыпающихся кубиков и недовольный голос:

— Сейчас!

— Не сейчас, а сейчас же, — в гневе закричала Ира. — Ты еще у меня здесь будешь!..

— Мама старалась, всего наготовила, а ты «сейчас»! — подхватил Гуляев. — В садике, наверное, не фокусничаешь, делаешь, что велют, без всяких разговоров...

— Не делаю, — так же угрюмо откликнулся Колюнька. Тут Гуляевы-старшие переглянулись и прыснули.

— Так куда ты теперь наладился, на ночь глядя? — спросила Ира, засовывая Колюньку под кран.

— За елкой.

— За чем, за чем?

— За елкой же, господи боже мой!

— Я не слышу, вода шумит.

— За ел-кой!

— Ну чего ты кричишь? За елкой... Где ты сейчас ее возьмешь? Раньше надо было чесаться, а не ждать, когда тебе всякие твои дружки предоставят.

— Возьму, где все люди берут...

— Ты возьмешь, — Ира вывела из ванной сына, глянула на мужа, у него опять подобрались пальцы, — взял один такой... Жаль, я с коляской не достала, вот было бы смеху... Деньги сначала у своего Ермилова выручи, которые на елку отложили. Доставала еще нашелся...

— Все? — очень тихо спросил Гуляев.

Жена не ответила, села за стол слева от Колюньки, за-

была про елку, про деньги да и про все иное тоже, погрузилась в созерцание того, как насыщается сын. Лицо ее стало спокойным и мудрым.

Ни слова больше не говоря, Гуляев вышел из кухни в коридор, сел на табуретку под вешалкой, стал переобуваться для улицы.

— Когда ждать? — не оборачиваясь, спросила Ирина.

— Помнишь, где спрятал? — набитым ртом проговорил Колюнька.

Гуляев задержался в дверях:

— Помню.

Он совершенно не представлял, куда ему идти. Но даться было некуда, надо было что-то делать.

Морозный сумрак охотно поглотил его. Гуляева познабливало, как это бывает после преждевременно и грубо прерванного сна. Вокруг не было и памяти о покое и безмятежности, которые сопровождали их с сыном от остановки до дома. Тонко и зло подвывал ветер, мятежно металась в облаках луна, одни окна гасли, а другие загорались, будто бы дома обменивались тайными знаками. Повсюду возникали непонятные тревожные звуки — вроде и свист, и пьяная ругань, и жалобные крики, хотя все это вполне могло быть пением ветра. Холод быстро пронял его, тем более что теперь нельзя было согреться предвкушением тепла. Действительно, куда же ему идти? Он прищурился, вглядываясь в бензиново-морозную дымку, висевшую над седой рекой проспекта. Гилянды елочного базара вроде бы еще тле-ли. Он оглянулся. В противоположную сторону проспект был уже по-ночному пуст. Дождаться автобуса теперь можно было неопределенно долго. Он быстро пошел в сторону базара. Сначала он шагал бодро и прямо, четко отмахивая руками, будто перед строем. Но затем плечи пошли вперед, лицо вниз, руки в карманы, и он стал похож на всякого человека, бегущего от холода.

По времени базар уже закрылся, но калитка была распахнута, вокруг забора чернели, местами еще дымились, кострища с непрогоревшими остатками ящиков. Снег был вытопан, засыпан хвоей, обломанными хлыстами верхушек. И ни одного человека вокруг. Гуляев заглянул внутрь. Две черные, непомерно толстые фигуры мыкались в дальнем от входа углу. В свете сильного прожектора было видно, что они передают с рук на руки что-то мелкое. Гуляев пошел к ним. Базар был завален еловыми лапами, голыми стволами, почти сплошь засыпан хвоей, и, конечно, ни одной елки.

— Простите, пожалуйста...

Ему не ответили. Он откашлялся и почти крикнул:

— Простите, пожалуйста!

— Райка, — прохрипела одна из фигур, — ты чего калитку не запираешь?

— Да разве ждешь, что в этокое время кто припрет-ся,— пробормотала Райка, оправдываясь.

Обе женщины обернулись к Гуляеву. На обеих поверх меховых безрукавок были надеты просторные телогрейки, а сверх натянуты черные халаты, сверх меховых шапок накручены платки, обе в огромных валенках, а лица у обеих были не то что красные, а черно-фиолетовые, распухшие и даже на взгляд шершавые. Обе враз зарычали на Гуляева:

— Чего вам?

— Мне бы елку...— начал Гуляев, с ненавистью в себе ощущая, как неотвратно сползает на жалостно-молящее, виноватое поскуливание,— елочку бы мне. Детишек двое, с работы никак не вырваться, начальство лютует...

— Нету елок,— стараясь придать своему хриплому рыку человеческое звучание, сказала старшая, та, что пеняла за открытую калитку,— сами видите, все расторговали. Вам часика два пораньше, тут еще валялось кое-что...

— Да не мог я пораньше,— заныл Гуляев,— сынишку с пятидневки вез, куда же с ним на руках... Ну, может, случайно какая завалаялась, плохонькая какая-нибудь... Я это, я не бесплатно...— пролепетал он.

Обе тетки снисходительно заулыбались.

— Конечное дело, не бесплатно, а за деньги,— сказала старшая,— да нету у нас, не видите, что ли? Хоть сам весь двор обыщи, нету! Вы, может, намекаете, что мы себе оставили? Так нам не надо, у нас уж наряжены...

— Так ни одной и нету? — совсем уж упавшим голосом долдонил свое Гуляев. Он видел, что дело безнадежное, есть елки, нету их — ему все равно не достанется, но деваться ему было некуда.— А может, подскажите, где есть? — он почему-то стал подмигивать, но, по счастью, продавщицы этого не заметили, потому что он стоял спиной к прожектору.

— Ну-у, гражданин, где ж теперь, ночь ведь... Вы уж завтра, может, повезет...

— Нет,— сказал Гуляев,— мне не повезет. И мне сегодня надо.

— Мало кому чего надо. Нету!

— Надо. Сыну обещал.

— Плохо твое дело. Слушай, Рай, может, ему попробовать на Лесную?

— Точно! — подхватила Рая.— Верно, подруга. На Лесной всегда ханьги отираются...

— Это улица, что ли, Лесная? — спросил Гуляев.

— Ну нет! — засмеялась, как прокаркала, Рая.— Больно просто жить хочешь! Это станция Лесная! Знаешь где? Сейчас автобусом до Сортировочной, а там на электричке через две на третью. Понял? Да что это тебя так перекосило, милый? Все-таки не край света...

— Так время сколько! Пока доберусь, а как обратно?

— Ничего,— махнула рукой старшая,— электрички, они до двух. А дело воровское: чем позже, тем лучше...

— Воровское,— удивился Гуляев,— почему?

— Как же не воровское? Ханыги, они что же, по лицензиям рубят? Квитком они тебя не снабдят.

«Действительно, как же без квитанции? — подумал Гуляев.— А, елки-то еще нет... Но все же...»

— Ну что? — с недобрим интересом спросила женщина.— Нужна елка или уже не очень-то и нужна, сынок перебьется?

Гуляев вздохнул:

— А где это... Ну, эти, с елками?

— Где, где! Поищешь. Конечно дело, под фонарями они не толкутся. Под платформой пошарь, за туалетом или вот еще вперед по ходу пройдешь, там усадебка обходчика заброшенная, так, бывает, за тем забором... Ищи, в общем. Кто ищет, тот всегда найдет! — пропела Райка под конец, и обе хрипло рассмеялись.

Гуляев побрел к выходу.

— Живей шевелись! — весело крикнули ему вслед.— До утра не обернешься!

«Всегда так,— думал Гуляев,— всегда я опаздываю к раздаче на чуть-чуть и после очень много унижительной и утомительной суеты. Почему я, к примеру, не защищался в срок, когда от меня этого ждали и все бы прошло как по маслу? А теперь я будто отставший от самолета — ни документов, ни денег и всем кланяюсь, чтобы помогли или хотя бы не мешали... Вот уж истинно, без слез не взглянешь...» Мысли его потекли по накатанной, езженной-переезженной колее: о несложившейся судьбе, о невнимании и непонимании, возможных и предполагаемых кознях снизу, сверху и сбоку. Он был способен неопределенно долго упиваться своими страданиями, если его не прерывали. И сейчас фары ярко полоснули дорогу впереди и накатанный снег блеснул, как хорошая полировка. Гуляев обернулся. Автобус медленно кивал светящимся трафаретом, сбавляя ход перед остановкой. Гуляев рванулся бежать наперегонки с ним, страшно боясь опоздать. Всего бежать-то было метров сто, и Гуляев мчался, не экономя сил, выкладываясь сполна. Автобус все-таки опередил его, и Гуляев неожиданно ловко, стремительно, прямо с разбега влетел через раскрывающиеся дверцы в салон. Он глубоко и мощно дышал, свежий воздух прокачал легкие, проветрил мозг, выдул оттуда застоявшуюся затхлость. Гуляев победно осмотрелся, но свидетелей его триумфа не оказалось — автобус шел почти пустой. Несколько подержанных, неопределенного облика мужичков дремали там и сям, одинаково привалившись к окнам. Гуляев сел боком, удобно вытянул ноги в проход. Начало было удачным. «Ничего,— думал он,— еще не ве-

чер, у меня еще масса времени впереди, почти целая жизнь, я еще много успею, покажу, кто я такой... А Ермилов... У-у-у, Ермилов, ты у меня еще попляшешь! Надо же! Всего и дел что пробежал сто метров, а до чего стало хорошо! Надо немного заняться собой, зарядку делать, что ли, или, может, бегать по утрам... И завтра! Именно завтра, прямо сразу, никаких поблажек-оттяжек! А она-то чего скажет? Плечами пожмет... Ничего! Ей тоже придется немало пожимать плечами и разводить руками. Очень уж она точно про меня все знает... Пусть поудивляется...» Он уже отдышался, но неподнятость, легкость, даже легкомыслие какое-то не оставляли его. Если бы всегда так! Нет, непременно надо бегать по утрам. Так просто и такой эффект! Автобус, дребезжа и взрыкивая, несся по пустому шоссе, больше нигде не останавливаясь. «Станцию бы не проехать,— забеспокоился Гуляев,— что-то он больно лихо...» Он стал приглядываться. Но, странное дело, бесцельно наезженный путь сейчас, в неурочное для него время и по-иному начатый, был неузнаваем. Гуляев забеспокоился еще больше, уже не смог усидеть на месте, прошел вперед, через лобовое стекло вглядывался в набегающую улицу, хотя прекрасно понимал, что мимо не проедет. Это торжество пустого беспокойства было глубоко унижительно. «Не в том дело, что хорошо пробежался,— усмехнулся Гуляев,— а в том, что догнал». И снова перед ним возник пешеходный мостик через пути. Автобус подчалил к остановке.

На платформе Лесная фонари горели через два на третий, а то и реже. Платформа стояла между путей в глубокой выемке. Гуляев был совершенно один, лишь будочка кассы и щит расписания сиротски темнели посередине. Гуляев подумал, не спросить ли ему там, но не решился. Он прошел по платформе вперед от города, спрыгнул на землю, заглянул, слегка присев, под платформу. Там стояла уже вовсе кромешная тьма и, несмотря на мороз, пованивало. «Надули,— почему-то спокойно подумал Гуляев,— чтобы я без лишних слов отвязался. Так бы я еще канючил, время отнимал, а так по-быстрому ушел, еще и расшаркался». Он медленно, бесцельно пошел меж путей от города. Сзади завыло. Инстинкт горожанина требовал, чтобы он нашел стену, прижавшись к которой можно пропустить мимо себя опасность. Однако здесь стены не было. Он оглянулся. Треугольник слепящих прожекторов неподвижно висел над рельсами, но вдруг будто бы что-то взорвалось и пошли грохотать мимо почти невидимые, сгустками мрака в темноте вагоны и платформы. Гуляев отчетливо, через ступни всем телом ощущал тяжелое биение колес. Он почему-то остановился, пережидая, хотя пути их, поезда и человека, никак не пересекались. Когда товарняк кончился, истаял в темноте парой красных фонариков, Гуляев почувствовал, что оглох. Если раньше он просто не прислушивался, считая,

что находится в тишине, то теперь понял, что тишины не было, было сплошное переплетение приглушенных, далеких, невнятных звуков, будто бы рвалась очень тонкая, прозрачная, но все же осязаемая ткань. Теперь же стало действительно беззвучно, и это было очень неприятное ощущение. Он несколько раз сглотнул, и мир снова ожил, зашептал и зашелестел. Впереди него лежала тьма, проколота редкими лучиками путевых огней. Он оглянулся. Тускло освещенная платформа казалась отсюда по-праздничному яркой, манящей, как избавление. «Конечно, накололи,— еще раз сказал Гуляев,— какие здесь к чертовой матери елки... Хватит,— твердо решил он,— нечего здесь высматривать, пора домой. Что же это, в самом деле! Все люди как люди, в тепле, у телевизоров... А я как последний пес! Мало ли, что обещал. Выше лба уши не растут...» Он твердо решил вернуться, но продолжал идти вперед, мелко и суетливо пробуя перед каждым шагом невидимую землю. Он очень боялся попасть в стрелку. В детстве он то ли слышал, то ли читал про обходчика, который попал в стрелку, был ею пойман, и потом через него прошел поезд. Сейчас эта прочно забытая история всплыла вместе со многими другими страхами. Он многократно уже в мыслях поворачивал назад, к свету, городу, дому, но продолжал медленно пробираться вперед в темноту и неприятную неизвестность. Впереди вдруг что-то изменилось, темнота сгустилась в облако вовсе уже непроглядного мрака. Гуляев выставил вперед руки и вовремя — ладони уткнулись в шершавые занозистые доски. «Забор, что ли? — сообразил Гуляев. — Может, это и есть обходчикова усадьба?» Он пошел вдоль забора, осторожно перебирая по нему руками. Ноги запинались через доски, бревна, битый кирпич, обрезки балок. «Вот уж правда, черт ногу сломит», — подумал Гуляев, и не успела завершиться эта мысль, как он зацепился брючиной за какой-то штырь, едва удержался на ногах и неожиданно для самого себя длинно и тоскливо выматерился.

— Это кто тут бога гневит? — продребезжал рядом, почти над ухом у него стариковский голос. Гуляев застыл, не то, чтобы испуганный, а растерявшийся, не понимая, что и откуда. Он, оказывается, уже успел привыкнуть к темноте и одиночеству. — Судя по выговору, вы человек интеллигентный, пристало ли вам осквернять себя подобным непотребством? — продолжал голос.

— А вам-то что? — нелепо во тьму спросил Гуляев.

— Да нет, ништо, нам ништо, — ответила тьма. — Так мы просто...

— А... а... вы, простите, что здесь делаете?

— А вы?

Гуляев затоптался на месте, не зная, что ответить. Сказать про елку — а вдруг это милиционер. Поймал этого... ханыгу с елками и теперь задерживает покупателей... Хотя

вряд ли... Понося себя за нелепые страхи, он продолжал молчком мяться и перетаптываться. В темноте слепяще вспыхнула спичка, осветила сухое, заросшее, морщинистое лицо, замаскированное глубокими черными тенями. Огонек съжился, потух, остался красным глазком тлеющей папиросы.

— За елкой небось?

Гуляев кивнул, а потом, спохватившись, ответил:

— Да. А вы не знаете случайно, где может быть?

— Где может, не знаю, а где есть — знаю. Ну, чего смолк? Радуйся! Берешь?

— Давайте, — сказал Гуляев. Радости он не испытал. Самым отчетливым чувством была тревога: а сколько с него запросят? Может, у него столько и нет. Ведь деньги, отложенные для этой цели, действительно ухнули в ермиловскую авантюру. С собой у него было три рубля с мелочью. Один юбилейный, которые он недавно решил откладывать, получил сегодня в гастрономе на сдачу, потом один бумажный, каждодневный, и он старался расходовать через раз, и мелочью рубль пятьдесят семь, сегодняшняя сдача и со вчерашнего рубля остаток. В общем, по меркам обычного дня он был просто богат. Однако сейчас это богатство поблекло. Вдруг этот запросит пятерку? Даже наверняка! На бутылку же небось. Тут трояком не обойтись.

— Ну, давайте, — сказал Гуляев. — Где она у вас тут?

— Один момент, — ответил старик. Все оттуда же, из тьмы, явилась елка, почти невидимая, на ощупь же ядреная, густая, тонко и нежно пахнущая.

— Сколько? — переглотив, спросил Гуляев.

— Как это сколько? — неискренне удивился продавец. — Что ж ты за товаром идешь, а цен не знаешь? Как у государства, плюс сто процентов за рыск. — Он сказал «рыск», но чувствовалось, что нарочно так сказал, изгилялся. — Я полагаю, самое малое — красненькая.

Гуляев непроизвольно сжал в кулаке горсть меди. Он не умел торговаться, не имел к этому ни охоты, ни навыка, которому и неоткуда было взяться. Но деваться ему было некуда, надо было что-то делать. Открывая рот, он не знал, что скажет.

— Вы... Ты что? С крыши сорвался? Рубль — самая цена. Вы... ты же чем торгуешь? Она с квитанцией-то половину стоит, а так...

Старик, верно, не ожидал, что пойдет такой разговор, не готовился.

— Не нравится — не бери, — бормотнул он, но видно было, что это невсерьез. Он тоже живой человек, торчать на морозе для него тоже не составляло удовольствия. — Ладно, — сказал он, — раз ты такой, давай пятерку, и до свидания.

Гуляев попытался сообразить, что бы у него могло пой-

ти за два рубля, но ничего не находил. Шапка? Часы? Чепуха... Может быть, шарф? Он пощупал свалывшуюся шерсть. Глупости все это...

— Три,— сказал он и сам услышал в своих словах мрачное упорство, почти угрозу.

— Черт с тобой,— неожиданно засмеялся старик.— Снизойдем, тем более ты мне почин сделал.

Гуляев выпростал из кармана сжатый кулак и пересыпал степлившиеся монеты и смятую бумажку в ладонь продавца. Тот, не считая, сунул их себе в карман.

— Держи.

Гуляев протянул руку, накололся сквозь шерстяную перчатку, обхватил липкий ствол, ощутил заметный вес. Видно, крепкая попалась елочка, с твердым, налитым силой стволом, обильной сочной хвоей. Гуляев молча повернулся и пошел обратно, на станцию, приноравливаясь к ноше.

— Эй,— окликнул его старик,— ты на электричке бы не ехал!

Гуляев приостановился. Действительно, как же он теперь будет добираться, с елкой и без квитанции? Он ощутил себя беспомощным, отовсюду видным невидимому врагу.

— А как?

— Ладно,— засмеялся старик,— научу уж тебя в качестве бесплатного приложения. Ты платформу пройди скрозь, дуй через пути налево, поднимайся из выемки и там в заборе пролом. Туда вылезешь, вперед пройдешь мимо пакгауза и за него направо. Там, значит, слева автохозяйство, забор такой приметный, бетонный, а справа склады лесные — забор деревянный и поверху проволока. Вот меж теми заборами вперед до шоссе. А на шоссе-то по левой руке там увидишь, автостанция, городских маршрутов два, не то три. Бог даст, застанешь еще какой-нибудь.

— Спасибо,— буркнул Гуляев и пошел.

— Счастливо добраться,— донеслось до него.

«Счастливый путь,— думал Гуляев,— очень-очень счастливый путь». Он не заметил, как дошагал до платформы, опершись свободной рукой, вспрыгнул на нее и крепко, звонко зацокал твердыми каблуками по обледенелому бетону. Елку он нес за середину ствола в опущенной правой руке, как винтовку без ремня. Она приятно отягощала. Он чувствовал себя тугим и легким, каждый шаг был как взлет. Пустая прежде платформа ожила, на ней маячило несколько, не более десятка, черных, клубящихся паром дыхания, сутулящихся фигур. «Электричка, должно быть,— подумал Гуляев,— зря не соберутся. Да чего я буду добираться, плутать, ждать какого-то автобуса. Сел на электричку, р-раз — и дома. От Сортировочной я хоть пешком доберусь. Сяду! Бог не выдаст, свинья не съест...» Он оглянулся — не видно ли электрички, но там ничего внятного не просматривалось. С другой стороны, от города, что-то забрезжило над путя-



ми. Гуляев подошел к кассе. Привалившись спинами к доске расписания стояли двое ребят. Они мирно, вяло и исключительно матом переговаривались между собой. Гуляев хотел уже пройти мимо, но то чувство, которое обычно вело его по жизни между острыми и сомнительными ситуациями, отказало или притупилось на какое-то малое время, побежденное непривычным ощущением силы и уверенности. Что-то неуловимое и неназываемое во взгляде, повороте головы, постановке плеч, походке, что-то незаметное и не могущее быть сокрытым вызвало контакт, разность потенциалов между Гуляевым и теми двумя. Сразу установились ясные всем трем отношения преследователей и жертвы. Один из парней, помладше и помельче, не отлепляясь от доски окликнул его:

— Слышь, мужик, где елку взял?

Гуляев показал свободной рукой через плечо назад и пошел мимо, глядя под ноги, сдерживая дыхание и шаг, чтобы не вызвать немедленного нападения. Впереди, у остановки первого к городу вагона роилось несколько человек. Но туда было не успеть, да и без толку. Ребята шли за ним и в полный голос спорили, к кому они сейчас завалятся с этой елкой — к Вальке на Старофабричную или к Людке в Калабашино. Теперь они пререкались между собою зло, обсуждая достоинства и недостатки самих девиц, хат и подруг. Во главе угла стояло, какая, чего и сколько может выставить. Видимо, появление на их горизонте елки пробудило новые намерения, которых не было минуту назад. Вообще, они очень оживились, происходящее их развлекало. «Бросить,— подумал Гуляев,— отвяжутся, псы». Но это было невозможно, надо было что-то делать. Впереди неясный свет оконтурился, отвердел, превратился в созвездие-треугольник, зависшее над путями. Гуляев еще не понимал, что будет делать, но, когда платформа задрожала и тепловоз поравнялся с ее краем, не своим, звериным точным прыжком Гуляев слетел с платформы и пересек рельсы перед оскаленной мордой ревущего локомотива. Он круто наискось взлетел по снежному склону выемки, а сзади со стоющим грохотом проходил бесконечный товарняк и запоздало и гневно выл тепловоз. Гуляев добрался до забора над выемкой и оглянулся. Платформа была хорошо видна, луч зрения на нее шел над мелькающими крышами вагонов. Те двое стояли над местом, откуда Гуляев прыгнул и, видимо, орали друг на друга, нелепо размахивая руками. Обостренное ненавистью зрение доводило до Гуляева их глупые, пьяные, прыщавые морды с гнилозубыми провалами ртов, через оглушающий говор поезда слух доносил бессмысленную матерщину. «Автомат бы», — мелькнуло у него. Он побежал вдоль бетонного, вертикально решетчатого забора.

Старик браконьер объяснил все наглядно и толково. За проломом Гуляев очутился в начале неширокого, очень пря-

мого проезда между двумя высокими глухими заборами. Поверху у них шла проволока в две нитки, накатом наружу и цепочка неярких ламп под жестяными тарельчатыми отражателями. Цепочки фонарей сходились вдаль, и это создавало ощущение бесконечного глухого коридора. Снег в проезде был зализан и до зеркального блеска раскатан машинами. Вдоль бетонного забора он грудился сугробами по пояс и выше, согнанный, очевидно, грейдером.

Гуляев шел нога за ногу, ему казалось, что он поднимается по эскалатору, работающему вниз,— так безнадежно неподвижно было вокруг. Больше всего ему хотелось присесть в такой мягкий, удобный, заманчивый сугроб, привалиться, подобрать ноги, прикрыть глаза. Он знал, разумеется, что этого делать нельзя и что он этого не сделает, но это было единственное, чего ему хотелось теперь по-настоящему. Наконец впереди, но еще далеко, затлели разноцветные окна высоких жилых домов. Он пошел веселей по своему коридору, начиная чувствовать невнятные, неотдельные еще звуки, поле звуков, которое окружает и пронизывает жилое место, даже когда оно спит. Но вот звуки оформились, он различил поющие голоса, сначала высокие женские, потом грубые мужские, не в лад забренчали гитары. Гуляев остановился, осмотрелся. Заборы были глухи и высокие, путь назад замыкался такими же сходящимися цепочками фонарей, как и впереди. Его обложили. Он прятался, убежал, увиливал, не становился поперек дороги, уступал, помалкивал, опускал голову, не поднимал глаз, бывал незаметен до полного отсутствия себя, но они все-таки нашли и обложили его. Неожиданно близко и сразу возникли эти, с хоровым пением. Он не поднимал на них глаз, он видел юные, пьяные, бессмысленные лица в окладе сальных волос. Его не успокаивало присутствие девушек. Боевые подруги... Валька-дешевка и Людка-шалашовка... Они были уже близко, их было много, они перегораживали весь проезд. «Господи! — взмолился он. — Не надо! Не боли я боюсь, но глумления». Деваться было некуда, но что-то ведь надо же было делать. Он пошарил глазами по земле и увидел витой арматурный прут, проклюнувшийся из-под прибитого снега. И тогда он взмолился еще раз, прося, чтобы этот прут не был ни вцементирован, ни вморожен, а дался бы ему в руки. Потом он сделал шаг к нему, переложив елку в левую руку.

— Елка! — ломая песню, завизжала одна из девиц.

— Ой, правда, елка! — подхватила другая.

Гитары сразу перестроились, и вся компания повела в необщем, своем ритме «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...»

Гуляев увидел себя в середине хоровода. Они плясали, будто бы совершали некий важный, желанный обряд. Лица их были сосредоточены, они были красивы и значительны сейчас, и никакое зло не могло от них исходить. Одна из де-

вушек уронила шапку, и вокруг ее головы вилось пышное облако по-праздничному ухоженных блестящих волос. Гуляев встал в рост, опершись на елку, и долго еще стоял после того, как они все со смехом и гитарным перезвоном пошли дальше, оставив ему запах вина и косметики.

— Поторапливайся, дядя! — долетел до него басовитый окрик. — Автобус сейчас тронется, бегом давай.

Он тихо-тихо открыл дверь и, пока раздевался, слышал, как жена в комнате шепотом бормотала самодельную песенку: «Почему человечата все глупее, чем котята, чем щенята, чем телята и все прочие зверята...» — Она перекладывала Сашеньку на сухое, стараясь ее не разбудить.

Гуляев подумал, что этот мир ласки и тепла и тот мир суеты, смятения и холода не соприкасаются, они разномерны и разнопространственны, а он что-то ни здесь, ни там...

— Принес,— громко шепнул он, открыв дверь в комнату.

— Закрой,— ответила ему жена,— тут ребенок голенький, а от тебя холодом, как с улицы.

Потом она вышла в коридор:

— Как же ты добрался, ведь уже часа два, наверное? — Она поежилась, запахнула плотнее халат. — А елка хороша! Только вот однобокая какая-то.

Гуляев пригляделся. Точно! Наколол все-таки, старый мерзавец! Подсунул в темноте пышной, разлапистой стороной, а другая почти совсем без веток. Придется ее в угол, что ли, пристраивать. Надо же что-то делать...

— Уж какая есть,— сказал он, чувствуя, что снова заводится, еще немного — сорвется или заплачет. — Спасибо такую достал. Она мне далась...

— Ты герой! Это надо же, подвиг — отец детям елку принес! Памятник тебе за это! Есть будешь? — спросила она после молчания.

Гуляев не ответил, пошел в ванну отогреться под горячим душем.

— Правда, елка! — кричал Колюнька, прыгая по квартире под «Пионерскую зорьку». — Правда, елка, правда, елка! Будем наряжать! Новый год завтра? — уточнил он. — Мы до вечера успеем?

— Успеем,— тихо сказал Гуляев. — А ты вчера мне не поверил, что сегодня будет елка?

Колюнька насунился и замолчал. Было ясно, что он не ответит.

## Алексей Парщиков

### ВАРИАЦИЯ

Нас ли время обокрало  
и, боясь своих примет,  
соболями до Урала  
заметает санный след?

Сколько ходиков со звоном  
расстилают сеть путин,  
темен сонник тех законов,  
мы — одни, и я — одни.

Еду, еду, крестит поле  
дикий воздух питьевой,  
цепкий месяц входит в долю —  
грызть от тучи мозговой.

Все смещается отныне.  
Дух к обочине теснит.  
Циферблаты вязнут в глине,  
образуя семь орбит.

И на стрелках, как актриса,  
сидя в позе заказной,  
запредельная вылиса  
вертит веер костяной.

\* \* \*

### I

Улитка или шелкопряд,  
по черной прихоти простуды,  
я возвращался в детский сад  
и видел смерть свою оттуда.

В сомнамбулической броне  
наверняка к ядру земному  
с повинной полз к родному дому,  
а дом курился на спине.

Внизу картофельный шахтер  
пискавым глазом шевелил,

и рвались угли на простор  
от птеродактилевых крыл.

Я встретил залежи утрат  
среди ракушечного грунта,  
нательный крест Джордано Бруно  
и гребни эллинских дриад.

## II

Природа пеплами жива  
да фотографиями в раме,  
как перед новыми снегами  
кто ходит в лес, кто по дрова.  
Дышать водой, губить медведя  
и нацарапать на бревне —  
когда я спал, приснилось мне..

## ПЁТР

Скажу, что между камнем и водой  
червяк есть промежуток жути. Кроме —  
червяк — отрезок времени и крови.  
Не тонет нож, как тонет голос мой.

А вешний воздух скроен без гвоздя,  
и, пыль скрутив в горящие девятки,  
как честь чужую, бросит на лопатки,  
прицельным духом своды обведа.

Мария! пятен нету на тебе.  
Меня ж давно литая студит ересь,  
и я на крест дареный не надеюсь,  
а вознесусь, как копать по трубе.

Крик петушиный виснет, как серьга  
тяжелая, внезапная. Играют  
костры на грубых лирах. Замолкают  
кружки старух и воинов стога.

Что обсуждали пять минут назад?  
Зачем случайной медью похвалялись,  
зачем в медведей черных обращались,  
и вверх чадящим зеркалом летят?



## ГОРБУН

Ты сплел себе гамак из яда  
слежения своей спиной  
за перепрыгиваньем взгляда  
одной насмешницы к другой.

А под горбом возможна полость,  
где небозём на колесе,  
и резали б за пятипалость  
надменную, но слепы все.

## АВТОСТОП В ГОРАХ

Пока мы голосуем у окраин,  
мой дух похож на краденый мешок:  
снаружи — строг, а изнутри — случаен.

Пустых пород приподняты слои,  
под фарами они скрипят, крошатся,  
и камешек ползет, как мозг змеи.

Ремни геометрических сандалий  
ослабив, ты хребтов заводншь гребни,  
мизинцем растирая кровь на кремне.

Вовлечена в шоссейный оборот,  
ты тянешь сны за волосы. Твой рот  
самовлюбленной ртути на смоле,

И поголовья бабочек багровых  
друг друга подымали на рога,  
от белокровья крючась на дорогах.

И души асов, врезавшись могли  
из меди перепрыгнуть в алюминий  
и вспыхнуть в километре от Земли,

И трасса поутру была рыжа,  
и прожита в течение ножа.  
Тень кипариса на угле. Жара.

## БЕССМЕРТНИК

У них рассержены затылки.  
Бессмертник — соска всякой веры.  
Их два передо мной. Затычки  
дна атмосферы,

Подкрашен венчик. Он — пупцовый.  
И сразу вправленная точность  
середки в церемонный цоколь  
вменяет зрителю дотошность.

Что — самолетик за окошком  
в неровностях стекла рывками  
бессмертник огибающая? — сошка,  
клочок ума за облаками!

Цветок: не цепок, не занозист,  
как будто в ледяном орехе  
рулетку, распыляя, носит  
ничто без никакой помехи.

Но: с кнопок обрывая карты,  
которые чертил Коперник,  
и в них завертывая Тартар,  
себя копирует бессмертник.

Он явственен над гробом грубо.  
В нем смерть заклинила, как дверца.  
Двухспинный. Короткодвугубый.  
Стерня судеб. Рассада сердца.

## ВОЛОСЫ

Впотьмах ты подстриглась под новобранца,  
а говоришь, что тебя обманули,  
напоминая всем царедворца.  
С хлебом и флагом сидишь на стуле  
и предлагаешь мне обменяться  
на скипетр с яблоком. Нет приказа  
косам возникнуть — смешна угроза,  
но жжем твои кудри, чтоб не смеяться.

Всех слепящих ночами по автостраде  
обогнали сплетенные, как параграф,  
две развинченных, черных, летучих пряди,  
тюленьям подобны они — обмякнув,  
велосипедам — твердея в прыти;  
протерев на развилке зеркальный глобус,  
уменьшались они, погружаясь в корпус  
часов, завивающихся в зените,



Я выпустил тебя слепящим волком  
с ажурным бегом, а теперь мне стыдно:  
тебе ботинки расшнуровывает водка,  
как ветер, что сквозит под пляжной ширмой,

Гляжу, как ты переставляешь ноги.  
Как все. Как все, ты в этом безупречен.  
Застенчивый на солнечной дороге,  
раздавленный, как вырванная печень.

Собака-водка плавает в нигде,  
И на тебя никто ее науськивает.  
Ты вверх ногами ходишь по воде,  
и в волосах твоих гремят моллюски.

## АПОЛЛОН, МАРСИЙ

«Твой нежный глаз — и саженец и почка,  
а на груди два сильных колеса,  
ты взвешиваешь свет умно и точно  
в глазах, как на весах, как на весах».  
Он флейту раздевал и одевал,  
меняя тренировочные гаммы,  
но божества торжественный овал  
глядел на звук насмешливо и прямо.  
Топча широкоплечую траву  
и разминая солнечное тело,  
бог встал и вдруг направился к нему.  
Похолодало. Флейта улетела.  
«О музыка, прививка темноты,  
когда видны лишь собственные уши,  
пастух достиг предельной высоты,  
но я спою заманчивей и лучше».  
Так молвил Феб, взирая сверху вниз.  
В его руках волшебная кифара,  
как рыбий хвост лучистый или фара,  
со дна морского выбрала каприз.  
И, будто погруженные в бассейн,  
сидели эти греки на поляне.  
Автомобили шли в ночной красе,  
летали люди на аэроплане.  
«Я завершил», — отвечивал певец.  
Пока толпа кричала «невозможно!!!»,  
он заживо с соперника снял кожу.  
Олимп сиял. Росли стада овец.  
И пресным плачем плакал весь народ,

мертвея, слезы складывались в реки,  
там утонули рыцарей доспехи,  
а пароходы ездят взад-вперед.

## ЧАС

Я прекращен. Я — медь и мель.  
В чуланах Солнечной системы  
висит с пробоинами в шлеме  
моя казенная модель.

Я знал старение гвоздей.  
На стенке противоположной  
висит распяты не новей,  
чем страх упасть. И это — ложно.

Что ожидает Капернаум,  
что ожидает всякий город,  
зачем и ты лицом развернут  
в мою крошащуюся заумь?

Дитя песка, я жил ползком,  
и пару глянцевых черешен  
катал по небу языком.  
Землей их вкус уравновешен.

Кукушки, музыка — часам  
всегда даровано соседство.  
Три форкнады по бокам,  
а я — их зрячее наследство.

Как выпуклы мои пружины!  
Вослед за криком петушиным  
сестрицы кончили с собой.  
Пустые залы. День второй,

## ТРЕНОГА

На мостовой, куда свисают магазины,  
лежит тренога, и, обнявшись сладко,  
лежит зверек нездешний и перчатка  
на черных стеклах выбитой витрины.

Сплетая прутья, расширяется тренога,  
и соловей, что круче стеклореза  
и мягче газа, заключен без срока  
в кривящуюся клетку из железа.

Но, может быть, впотьмах и малого удара  
достаточно, чтоб, выпрямившись резко,  
тремя перстами щелкнула железка,  
и напряглась влюбленных пугал пара.

\* \* \*

Мне непонятен твой выбор.  
Кого?

Ревнителя науки,  
что отличает звон дерева от мухи  
за счет того, что выпал  
снег?

Здесь, я бы сказал, какая-нибудь тундра ада,  
и блеклые провидцы с бесноватой  
прической, как у пьющих балетоманов,  
тебя поймают в круг протянутых стаканов.  
Здесь

нет разницы в паденье самолета, спички,  
есть пустота, где люди не болят,  
и тысячи сияльных умываний твой профиль по  
привычке  
задерживает на себе, как слайд.

Ты можешь идти в любую сторону и — в обе,  
а время — только понарошке.  
Учебником ты чертишь пантеру на сугробе.  
Такая же — спит на обложке.

\* \* \*

Я приручен к янтарю, что жужжит в серебре,  
моя ироническая врагня,  
мой промысел уже, чем шрам на ребре и бедре,  
чем пьянице улица посередине.

Как в тканом отделе — повсюду рептильный испуг.  
По пятому кругу я хвастаюсь стольной ораве.  
Слежу, чтобы камень пчелиный, кусаясь в оправе,  
не жег тебе рук.

\* \* \*

Бритва сияет в свирепой ванной,  
а ты одна,  
как ферзь точеный в пене вариантов,  
запутана,

и раскаленный лен сушильных полотенец,  
когда слетает с плеч,  
ты мнишь себя подругой тех изменниц,  
которым некого развлечь.

На холоду, где коробчатый наст  
и где толпа разнообразней, чем  
падающий с лестницы,

там нас  
единый заручает Час и Глаз.

## ЛЬВЫ

М. б., ты и рисуешь что-то  
серьезное, но не сейчас, увы.  
Решетка  
и за нею — львы.

Львы. Их жизнь — дипломата,  
их лапы — левы, у них две головы,  
со скоростью шахматного автомата  
всеми клетками клетки овладевают львы.

Глядят — в упор, но никогда — с укором,  
и растягиваются, словно капрон;  
они привязаны к корму, но и к колокольням  
дальним, колеблющимся над Днепром,

Львы делают: ам! — озирая закаты.  
Для них нету капусты или травы.  
Вспененные ванны, где уснули Мараты,—  
о, львы!

Мы в городе спрячемся, словно в капусте,  
в выпуклом зеркале он рос без углов,  
и по Андреевскому спуску  
мы улизнем от львов.

Львы нарисованные сельв и чашоб!  
Их гривы можно грифелем заштриховать,  
я же хочу с тобой пить, пить, а еще  
я хочу с тобой спать, спать, спать.

## ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТВОЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ

Ты — мангуст в поединке с мужчинами, нервный мангуст.  
И твоя феодальная ярость — взлохмаченный ток,

Смольным ядом твой глаз окрыленный густ.  
Отдышись и сделай еще глоток!

Игра не спасает, но смывает позор.  
Ты любишь побоища и обморок обществ.  
Там, где кровь популярна, зло таить не резон,  
не сплетать же в психушке без зеркала косы на ощупь!

Твой адамоподобный, прости, обезьян убежал на море,  
говорят, оно может рассасывать желчь однолюбного мира,  
Бульки в волнах, словно банки на сельском заборе,—  
это девицы на шпильках рванули в гаремы Каира.

## ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ

У жениха, как седло, обличье.  
И заводился — с пол-оборота.  
Мизинчик невесты, увы, обидчив,  
султаны в прическе, на веках — золото,  
кварцы — в висках, и мерцает ухо.  
Застенчивость — угнетенье духа.

Ты встретился с ними на перекрестке,  
заглох мотор, и уснули шафер,  
шофер и братики-переростки,  
и тренер-жених со сватами замер.  
Невеста в центре, как цвет зари,  
и в воздухе стало ножей, как в Цезаре,

Налетчик на свадебные кортежи,  
ты убегал, на судьбу прицкнув,  
и вот в гараже ты рыдаешь между  
двух искореженных мотоциклов,  
на топот ног и стук — отворяй! —  
ты отвечаешь себе: пируй!

Луженый волчонок, в ночной кантовке  
ты ищешь выход калибру и метке,  
пустыня-крючок и бар-мышеловка —  
тряси и пинай их — не померкнут,  
контур за контур сцеплены вспышки  
во всю дуговую твоей размашки!

Ты вызываешь воспоминанья —  
твердое небо и грузный лайнер  
короной спускался в штыках сияний  
над Черным морем, идя на Адлер,  
кулак духоты и отпечатки  
пальцев на облаках вечерних,

И красная простыня утопилась,  
виясь и кусая свои края,  
и грянули рыбы вглубь, как перила,  
а ты — ладонями горя —  
в свадебном споре, в толченом пуху  
заплечность небес ощутил наверху,—

чего ты не помнишь? Где твоя свита?  
Ты удалился от чепухи.  
Сброс траекторий. Выжимки света.  
Личинки размеров. Часов черенки.  
Здесь к смерти своей ты приурочишь  
кого захочешь, кого увидишь...

## СВОБОДНЫЕ СТИХИ

Возлюбленная моя ответную страсть присвоила.  
В пустоте ненавязчивой, т. е. без напряжения  
я живу развлеченными доступными воину,  
целиком поглощенный азартом слежения

за вещами, масштабов не знающими, замечай! —  
(а понравится эта забава — присвоишь себе)  
если блюдце к губам поднести и подуть на чай,  
то волна поспешит, образуя подобие ленточек  
в нашем гербе.

## РЕАЛЬНАЯ СТЕНА

Мы — добыча взаимная вдали от условного города.  
Любим поговорить и о святынях чуть-чуть.  
Со скул твоих добывается напыленное золото,  
дынное, я уточнил бы, но не в справедливости суть,

Нас пересилит в будущем кирпичная эта руина —  
стена, чья кладка похожа на дальнейшее стадо коров.  
Именно стена останется, а взаимность  
разбредется по свету, не найдя постоянных углов.

## УДОДЫ И АКТРИСЫ

В саду оказались удоды,  
как в лампе торчат электроды,  
и сразу ответила ты:  
— Их два, но условно удобно  
их равными принять пяти,

Два видят себя и другого,  
их четверо для птицелова,  
но слева садится еще,  
и кроме плюмажа и клюва  
он воздухом весь замещен.

Как строится самолет,  
с учетом фигурки пилота,  
так строится небосвод  
с учетом фигурки удода,  
и это наш пятый удода.

И в нос говоря бесподобно,  
— Нас трое, что в общем удобно,  
ты — Гамлет, и Я и Оно.  
Быть или... потом — как угодно.  
Я вспомнил шное кино.

Экспресс. В коридоре актриса  
глядится в немое окно,  
вся трейнинг она и аскеза,  
а мне это все равно,  
и ей это до зарезу.

За окнами ныло болото,  
буря, как злая банкнота,  
златых испаренне стрел,  
сновало подобье удода,  
пульсировал дальний предел.

Трясина — провисшая сетка.  
Был виден, как через ракетку,  
удода летящий волан,  
нацеленный на соседку  
и отраженный в туман.

Туда и сюда. И оттуда.  
Пример бадминтона. Финты.  
По мере летанья удода  
актриса меняла черты:

как будто в трех разных кабинках,  
кобета в трех разных ботинках,  
неостановимый портрет,  
босая, в ботфортах, с бутылкой  
и без, существует и — нет,

гола и с хвостом на заколку,  
«под нуль» и в овце наизнанку,  
лицо, как лассо на мираж,

навстречу летит и вдогонку.  
Совпала и вышла в тираж!

Так множился облик актрисин  
и был во весь дух независим,  
как от телескопа — звезда,  
удод,— он сказал мне тогда:

Так схожи и ваши порывы,  
как эти актрисы, когда вы  
пытаетесь правильно счесть  
удодов, срывающих сливы.  
— Их пятеро или..? — Бог весть!

## БОРЦЫ

Сходясь, исчезают друг перед другом  
терпеливо —  
через медведя и рыбу — к ракообразным,  
облепившим душу свою.  
Топчутся. Щурятся, словно меняя линзы,  
обоим ясны пояса на куртках.

Вес облегает борцов и топорщится,  
они валят его в центр танца,  
вибрирующего, как ствол,  
по которому карабкаются с разных сторон вверх,  
соприкасаясь пальцами,  
но не видя напарника.

Казалось, сражаются на острие!  
Нет, в кроне,  
распирающей лунный шар. Ищут  
противника среди ветвей. Наконец,  
обнимаются, удивляясь,  
как оправа очков в костре.

Первый — узловатей затопленного источника  
и влажен.  
Сыпучесть второго такая,  
что  
успел бы заполнить ухо  
скачущей птахи.  
Снится обоим: камень, курок или рукоятка,  
яблочко от яблонн,  
Каин и Авель.



## ЕЖ

Еж извлекает из неба корень, темный пророк,  
тело Себастиана на себя взволок.

Еж прошел через сито — так разобщена  
его множественная спина.

Шикни на него — погаснет, будто проколот,  
из-под ног укатится, ожидай — за ворот.

Еж — слесарная штука, твистующий бодрячок,  
в растворимый купальник страх его облачен,

К женщинам иглы его тихи, как в коробке,  
а мужчинам сонным вытаптывает подбородки.

Исчезновение ежа — сухой выхлоп.  
Кто воскрес — отряхнись! — ты весь в иглах!

## КОРОВА

Расшитая, рельефная, в шагу расклешенная корова,  
разъятая на 12 частей,  
Тебя купает формалин,  
от вымени к зубу не пятится масляный шар,

Словно апостолы, части Твои, корова,  
разбрелись, продолжая свой рост,  
легким правым и левым Киев основан,  
выдохнув Лавру и сварной мост.

Твоим взглядом последним Рим заколдован,  
Афины, Париж;  
каждый Твой позвонок, корова,—  
прозрачной пагоды этаж,

## ПРЕДМЕТЫ ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ

### ШКЕЛЕТОВА ЖЕНА

Зашел я как-то к Шафайро — работал он надомником, делал театральные реквизиты и куклы.

— Прошу!.. Я не один, правда... — он кивнул в угол.

Там, в углу, сгорбившись, уныло стоял на подставке скелет, лицо которого (то бишь череп) излучало печаль и скорбную гримасу. От сочленений шли нити к ваге, вага концом была зажата промеж книг, торчавших из шкафа.

— На нитях работает?.. Куда ж такое?

— В «Ералаш»... Сюжет из школы... Отплясывать будет в классе...

— Да уж... не весел больно.

— Ничего... — Шафайро, ухмыльнувшись, указал в другой угол, где в оцинкованном ведре покоился второй череп, сменный — улыбающийся до оскала зубов.

— Знаешь, — он полез под кровать, извлекая коробку с чешским пивом, — давай-ка за него! Чтоб получилось... За скелета и шкелетову жену!

— У него и жена есть?

— На нитях работает?.. Куда ж такое?

— Должна ж быть...

Приятель кивнул.

И он рассказал следующую историю.

Было время, когда в Первый медицинский институт сдавали скелеты. Свои, конечно... Рискнувший на это получал деньги, после чего оставалось лишь ждать, когда «по бесхозности» (то есть после смерти кости юридически не принадлежали родственникам) человек, вернее уже труп, поступал в специальную камеру, где аниматор, или, как его там, — препаратор, отделял мясо от костей, кости нумеровались, отправляясь на положенные свои места — пока наконец полный скелет (подвешенный или на подставке) не вставал для обзора студентам где-нибудь в препараторской или аудиторной нише.

Работавшая при институте бухгалтерша, уже немолодая, падкая на деньги женщина, уговорила своего мужа (он был истопник) пристроить, как она выразилась — «своим ходом и по знакомству», мужний скелет.

Тот, сообразив, посчитав за дармовые деньги — это, а также, что собственный скелет ему, истопнику, после смерти не так уж нужен, — согласился... не подозревая, что скорая.

до всего жена, откупясь от мужа двумя литрами спирта, положит тотчас всю сумму на свою книжку, мало беспокоясь, когда мужнины кости пойдут в дело.

От столь откровенной расчетливости и бабьего обмана (ибо скелет принадлежал, как считал истопник, ему, а во все не жене) — он сильно запил, пока не угорел в собственной котельной, после чего законным путем отправился в институт, где вскоре и предстал в красе своих новых костей в стеклянном ящике вестибюля у парадной лестницы.

Сидевшая у входа дежурная, знавшая всех учащихся — вновь поступивших и выбывших, а также весь состав — преподавателей, аспирантов, доцентов и профессоров (ныне здравствующих и тех, кто успел отправиться на тот свет), всех знавшая и знающая все, светившаяся и сияющая доброй старческой улыбкой — кривила и делала ужасное лицо, как только проходила мимо мужнинных костей бухгалтерша, и тогда с губ дежурной слетало страшное ругательство, переходящее в шипение:

— У шштоб тебя!.. Шскелетова жена!!!

После обильного пивопития нам вдруг пришла мысль прогулять нашего Топу (так мы его назвали) по свежему воздуху. Мы вышли на Страстной бульвар. Бережно поддерживая его с двух сторон, поправляя елозившие кости и шляпу на черепе — на улице было ветрено, — мы собрали такую толпу зевак, что раздвигать людей приходилось руками. Мы просили:

— Граждане! Дайте ж пройти!.. Эка невидаль! Ему это вредно... Посторонитесь!

— Позвольте полюбопытствовать, — обратился к нам старичок в велюровой шляпе. — Он не вашего родства?

— Нашего, нашего, — бормотал Шафайро, поудобней подкладывая к черепу съехавшую вагу. — Только вот исхудал малость... Разрешите, граждане!

— Позвольте, любезные, узнать, — не унимался старичок, — что за цифирки на его костях (кости были аккуратно пронумерованы) и что за штуку вы ему вправляете под голову? Нешто это удобно?

— Удобно, — кивнул мой приятель. — Дядюшке Топе удобно, ложась на ночь, раскладываться на свои части. Без цифр — собери его утром!.. А эта палка (он зашептал что-то старичку на ухо, отчего глаза его стали вылезать за края шляпы) — без нее, знаете, нельзя!..

Нас вскоре забрали. Пока шли по Пушкинской в «полтинник» — пятидесятое отделение, — Шафайро высказал сожаление, что дядюшка наш так одинок.

— В каком смысле?

— Он, наш Топа... сделан из стодонта. Так вот: ежели той же формой отлить второй скелет (женского пола), то у нас, родства ради, таким образом, помимо дядюшки Топа будет Тапа — наша тетушка... шкелетова жена.

Нас довольно долго промурыжили. Пока созванивались с киностудией, выходили на Грачковского, я рассказал приятелю, а также Топе, сидевшему на холодном диване, историю, случившуюся со мной, когда я жил на Преображенке.

Началось с кошелька. Он бухнулся к моим ногам. Женщина, его обронившая, уже спешила от кассы. Я гнал за ней вприпрыжку, пока наконец она не обратила на меня внимание.

— Ваше?

— Ой!.. Спасибо! — она собрала брови на переносице, подумала, сказала: — Не сочтите в назойливость: у вас есть время?

Время у меня было.

— Будьте так любезны... меня звать Инна Ионовна. Я живу рядом (она кивнула на две кирпичные башни), мне вещи везти на дачу... Немного помочь, поймать машину... Как вы?

Мы отправились к ней.

Вскоре вещи были связаны и сложены.

— Теперь, — сказала она, — дело за мужем. Простите, я вас, кажется, не познакомила... Он там, в другой комнате... Инна Ионовна скрылась. Через минуту распахнулась дверь, я с удивлением увидел, как женщина ставит на пол расквашивающийся на вертикальной стойке скелет.

— Вот!.. У нас, к сожалению, мало времени. Адриан Николаевич с нами едет... Прошу, в эту коробку мы его сложим. Я буду говорить — что надо...

Инна Ионовна аккуратнейшим образом снимала каждую косточку с петель, проверяла номера, сгоняла пыль флейцем, драила бархоткой, передавала мне; я обертывал тканью, бумагой — укладывал в коробку.

— Перед дорогой надо посидеть, — наконец сказала она.

Мы сели. На кресло, стоявшее между нами, водрузилась коробка с Адрианом Николаевичем.

— Ну вот, кажется, все!.. Знаете, мы с мужем с каким-то трепетом отправлялись на дачу, будто ехали невесть куда... Он, как уезжал, а отлучаться ему приходилось часто, всегда садился в это кресло...

Мы тряслись в крытом грузовичке. Я сидел у борта, чуть поодаль устроилась Инна Ионовна, держа в ногах коробку. Она молчала. Затем, пошуршав бумагой, достала череп, осторожно погладила темя ладонью,

— Так нелепо,— проговорила она,— нелепо и глупо оборвалась его жизнь... И почему — с ним, не с кем-то еще... Он по должности капитан, вернее, помощник капитана дальнего плавания... Стояли в Штральзунде, утром в Засниц (это Балтика) — пошел вечером в ресторан, да, впрочем,— погребок какой-то... там драка. Ну...— она вздохнула,— под-вернулся под горячую руку... Вот! Она протянула мне череп.

— Видите, там у Адриана Николаевича вмятина...

Я хотел рассмотреть вмятину мужа поближе, но грузовик так тряхнуло, что, к ужасу моему, череп дернулся, подпрыгнул и скаканул за борт...

Женщина отчаянно заколотила в кабину. Я выпрыгнул. На дороге пробка. Кругом колеса, какие-то ноги... и к хромовым сапогам катится мой череп. Подняв его, я выпрямился аккуратно перед мордастым орудовцем, который очень даже внимательно на нас с Адрианом Николаевичем поглядывал.

— Это, в общем...— сказал я,— оттуда... Муж, значит... Капитан...

— Капитан? — просил уточнить постовой.

— Ну да... Адриан Николаевич... А там (я махнул рукой) сидит его жена. Вот!

Пришлось нам в милиции из коробки извлечь всего Андриана Николаевича и даже одеть на подставку.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б Инна Ионовна не достала какую-то бумагу — нас отпустили...

К даче мы подъехали разбитые и совершенно вымученные. Хотелось домой, но я понимал: женщине надо помочь.

Когда мы сели за стол — нас было трое (Адриан Николаевич сидел в кресле третьим),— Инна Ионовна разлила вишневку в рюмки и мы все трое чокнулись.

Потом она отнесла мужа на веранду, в другое кресло, где он любил сидеть — мы опять были одной компанией.

Было уже поздно. Инна Ионовна предложила было остаться, но я сразу представил, что и в постель к жене отправится Андриан Николаевич, спешно попрощался и отбыл.

Поскольку дача этой женщины входила в поселок литераторов, я как-то, будучи у своего приятеля (который там бывал), спросил, знает ли он Инну Ионовну.

— А! — сказал он.— Шкелетова жена!

Я насторожился. Попросил разъяснить это определение. И вот что услышал.

— Она (он называл ее только по фамилии) была журналисткой.

— Почему была?

— ...И все, что для этого нужно,— продолжал он, опуская вопрос,— у нее имелось... Замужество заметно изменило эту женщину, смерть мужа — и того больше... По ее на-

стоятельной просьбе (и надо сказать, не без нашей помощи) она добилась получения на руки своего Адриана Николаевича, то есть полного скелета, с коим не расстаётся, а мы, знавшие ее, в общем, понимаем... И только единственный в поселке человек — жена сторожа Завлясиха, старая кривая бабка, — обычно шепелявит вслед уезжающей машине, где сидит Адриан Николаевич:

— Шштерва... Шшкелетова жена!

Как только я закончил свой рассказ, нас выпустили, обязав упаковать нашего дядюшку и больше не собирать в скверах людей.

Мы, разумеется, пообещали... Пришли домой. Собрали нашего Топу. Я вдруг вспомнил:

— Так что нашептывал старичку-то?

— Насчет ваги... Наш дядюшка, сказал, — хороший человек, но очень неразборчив в еде... На свадьбе сглотнул, подавился вагой... — Этой палкой? — удивился старик. — Ну, да... от нее и загнулся... Умирал — просил: эту палку, вагу вашу (как мяса на мне не будет), вправляйте промежду костей... Чтоб родственники знали — с чего человек умер!

— Вон оно что!

— А то как же!..

— Так что... Будет у нашего дядюшки — Тапа?

— Конечно... Видал, как дядя скис?!.

Шафайро полез в ведро, поставил на скелет смеющуюся голову, сам зашел сзади, задергал нитями, так что пошла, заплясала, защелкала дядюшкина челюсть:

— Шшто ж шштихли?! Шшкелету подай шшкелетову жену!

## ВАРЛАМ ВАРЛАМЫЧ

У Егора, моего соседа, жил ворон. Его по-разному называли, но чаще — Варлам Варламыш. Говорят, вороны живут долго, я этого не знаю, но мне всегда казалось, что этот ворон был в возрасте, потому что на всякие клички не отзывался. И был говорящим.

Сосед, скажем, выходит из дому, ворон ему:

— Рррассказывай!

Это значит — рассказывай, куда пошел!

— На работу, — бросает ему Егор. — Семью кормить, да и тебя тоже...

Таким объяснением ворон обычно удовлетворялся и замолкал у себя на шкафу — там у него угол был, стояла миска, и он весь день сидел там, нахохлившись до самого

вечера, пока не приходил хозяин. И тогда со шкафа несло:

— Рррассказывай!

И если сосед приходил поздно, то волей-неволей приходилось ему объясняться жене, теще и самому Варламу Варламычу, почему он, Егор, так поздно явился и какие были к тому причины.

— Рррассказывай, рррассказывай! — заливался ворон.

Еще он знал слово «разбой» — это когда выяснялись отношения супругов, а также слово «придурок».

Егор, бывало, сядет мастерить (он выдувал из стекла игрушки) — жена встанет рядом. Постоит, постоит, потом скажет:

— Столько дел по дому! И что человек мается...

— Я не ерундой занимаюсь, — огрызается сосед, — все, что я делаю, — это работа мозга и движение души.

Тут ворон вставлял свое:

— Придурок!

Как-то попросила жена починить шкаф. Там дверцу заклинивало. И Егор сел за чертежи, ухлопав на это полных четыре дня. Дверца заработала, потом ее вновь заело.

— Бестолочь! — кричала жена. — Ничего поручить нельзя... Завтра же вызову слесаря, и дело с концом!

— Столяра! — поправил муж, но было бы лучше, если б он промолчал: перебранка перешла в драку, Егора стали таскать за волосы, а ворон, точно ждавший момента, зарорал во всю глотку:

— Рразбой! Рразбой!!!

Егор вновь сел за чертежи и тут только заметил, что в одну из формул вкралась ошибка, потянувшая за собой всю схему.

— Видишь, ты видишь... — радостно сиял у плиты муж.

— В целом-то рассчитано правильно!

Жена ничего не сказала, и только Варлам Варламыч опять брякнул:

— Придурок!

Соседу все это надоело — он решил подарить воропа приятелю, жившему через этаж.

— А что, очень горласт твой Варлам Варламыч? — спросил он Егора.

— Не очень. Но мне надоели его разглагольствования. Хотел бы я видеть того умника, кто первым назвал воропа умной птицей.

— Разве он не дает мудрых советов?

— Умные мысли, как и мудрые слова, хороши к месту. У него же все не туда, вернее, чересчур к месту... В общем, забирай его, или я свезу его на Птичий рынок.

— Ладно. Я, пожалуй, возьму твоего Варлама. Только мне нужно подумать,

— Ну, думай, думай...

Пока этот человек думал, в квартиру Егора влез жулик. Он стал собирать вещи в большую сумку, и, наверно, так бы и ушел, если б не увидел на шкафу ворона. Должно быть, у незнакомца было хорошее настроение или личные симпатии к семейству врановых: Варламу Варламычу он стал в подробностях объяснять, почему он, домовник, влез именно в эту квартиру, почему взял только определенные вещи, что причиной этому вовсе не нужда — денег в общем хватает, а выбор профессии: надо чтоб руки не отвыкали от нужного дела...

— Прррассказывай! — гаркнул вдруг ворон.

— Ого! — подскочил жулик. — Птичка-то говорящая! Хочешь, поедем со мной. Я положу тебя поверх сумки?..

— Прридунок! — сказал ворон и отвернулся.

— Ну как знаешь!.. Учти, однако: много говорить — тоже вредно. Впрочем, можешь себе оставить две фразы: «Я — дурак!» и «Отрежьте мне язык!». Счастливо оставаться.

Чао, бамбино!..

Он так бы и ушел, но Варлам Варламыч заорал как резаный:

— Прразбой! Прразбой!..

Шедшие по лестнице люди услышали вопли, воришка был словлен, позвонили тотчас Егору. Примчавшись на такси, он бегло оглядел квартиру, снял со шкафа Варлама Варламыча, подвинул ближе стул и коротко бросил:

— Ну, прррассказывай!

### ЗОНА «S»

— Мы собрались здесь, — объявил председатель, — с тем, чтобы обсудить книгу Гангнуса «Тайны земных катастроф». И это, скажу вам, не литературное чтиво и не обзор достоинств — это позиция на места, затрагивающие нашу честь. В двух словах о сути...

— Прошу прощения! — вмешался с места кудлатый Шариб. — Какой еще Гангнус! Не тот ли, что читает сказки на радио?..

Председатель почесал ухо:

— Нет, конечно... Это, если не ошибаюсь, — женщина. Возможно, жена... Скажу: этих Гангнусов развелось много. Пожалуйста: Рудольф Гангнус — отец, геолог... Пишет по профессии: полезные ископаемые, недра, земная кора, вулканы. Александр Гангнус — сын, палеонтолог. Пишет обо всем, как говорится, что под руку ни попади...

— Конкретней! — рявкнули задние ряды.

— Извольте: рождение руд, угля, минералов, жизнь океана, древнейшие рептилии, эволюция мысли, эволюция



животных и человека, жизнь из космоса, распределение галактик. Кажется, достаточно... Итак, в книге «Тайны земных катастроф», посвященной сейсмическим вспышкам района Гарма и бассейна Сургоба (где мы проживаем), наряду с интересными научными наблюдениями идет грубая, невесть откуда высосанная из пальца информация вопреки всякому научному факту... Нет надобности все это цитировать. Вкратце: Гангнус, я имею в виду сына, как автор, заявляет...

Председательствующий поднялся.

— Попрошу всех быть предельно внимательными... Заявляет: сильный ряд толчков в верховьях Сургоба предсказан с точностью один-два дня благодаря обширной сети сейсмических станций Гармского района и точек охвата эпицентра. Животные, заявляет он (имеются в виду собаки), никак себя при этом не проявили,— он это подчеркивает,— и, стало быть, наблюдателю, а тем более ученому надобно отсеять все эти легенды и сказки о четвероногих оракулах. Как вам это?

Собрание забурлило.

— Дальше: ассистент Гангнуса, под стать шефу, развивает эту мысль дальше. Идут подробности ташкентского землетрясения, где этот оболтус наблюдал поведение животных. Перечисляются: овцы, ишаки, канарейки, выюрки, азиатские дубоносы, верблюды, лошади, собаки... На собаках он просто заклинился. И получается: обычная дворовая собака не то чтобы предчувствует и угадывает напряжение — она понятия не имеет... Ей нечем думать, нечем чувствовать, интуиция у нее нулевая.

— Такой вопрос,— поднялся палевого окраса пес с болтающимся на тонкой шее ошейником.— Насколько читаются его книги?

— Гангнус относится к тем писателям, что всплыли недавно и сразу. В общем, универсален, пишет интересно, неожиданно, броско, как бы рывком. Все его книги имеют научную основу... Вот почему эти вольности, которые он позволил себе как популяризатор, литератор и ученый, задели нас за живое.

Средь собак послышались возня, гвалт и гул.

— Спокойно! — председатель оглядел собравшихся.— Я не сказал главного: Гангнус находится здесь!

Собаки опешили, стали оглядывать ряды.

— Вы не поняли. Он в Гарме. В управлении Гармского сейсмического полигона. Сейчас секретарь объявит наше решение.

В президиуме поднялся линиялый до последних линий терьер, внимательно разглядывая сборище, начал:

— Не позже как на вторые-третьи сутки, считая от сегодняшнего дня, по гармскому эпицентру пройдет ряд толчков и вспышек с магнитудой около пяти единиц. Всем при-

сутствующим сообщить об этом прочим собакам Гарма и района, а также: за день до землетрясения всем без исключения выйти за Мшистые Скалы к Сухому ручью. Отсюда по сухому руслу мы отойдем от Гарма в зону, которую условно назовем зоной «S». Какие будут вопросы?

— Александр Рудольфович, звонят из Гарма! Просят незамедлительно передать: все собаки, подчеркиваю, все собаки Гарма и окрестностей, всех прилегающих мест радиуса пятнадцати километров, снялись и ушли в неизвестном направлении. Все до единой собаки!

— Так, так... Дальше! — Гангнус нервно забарабанил пальцами.

— Вернулся, как только напряжение Земли упало до минимума.

— Поразительно!.. Надо срочно об этом написать!

Дежурный сейсмолог даже привстал.

— Простите, вы, Александр Рудольфович, не были высокого мнения о собаках. Как же?..

— Да. И это сработает на контраст!.. Я в Гарм! Меня уже нет!

— Один вопрос! — кричал дежурный в глубь коридора. — Как они узнали?!

— Что я здесь? Из Москвы?..

— Что пройдут толчки...

— О! Этому их учить не надо... Удивительно другое — они поступили в высшей степени принципиально и дружно. Как уважающие свой клан и себя особи.

— Не очень вас понял...

— Все просто. На эту ораву, на десять тысяч собак, попала одна, что ознакомилась с книгой. Толчки связались с приездом — и вот вам финал!.. Уверен, они находились в зоне, граничащей с эпицентром. На самой грани!

И с улицы прокричал:

— Видите?! Иногда на всю округу достаточно одной грамотной собаки!

## КУСОК ЗИМЫ

Зимой бабка Паланья вынесла на речку дверь от хлева, ведро с известью, резиновые сапоги. Все это заволокло снегом и крепко ушло в лед.

По весне Искона так разлилась, что дверь долго плутала промеж стволов, топляка и намокшего мусора. Случилось и такое: в один сапог, что был с дыркой, забралась вода — он дал крен, неловко пополз от двери, глотнул воды и затонул. Но дверь еще не была дверью, ибо продолжала двигаться со льдом и льда еще было много.

Пройдя Сергово, ведро, где было на четверть извести,

продавило себе ход, раздвинуло ледовую перемычку, поплыло само по себе, держась берега.

Зато за Рузой пошло все ловчее, так что у самого Крымского моста льда осталось чуть-чуть... чуть и самую малость. Когда ж до Оки осталась неделя пути, можно было сказать, что в матушку-Оку вливалась уже просто дверь.

У Сормова буксиришко цвета апельсина, пролежавшего в луже, прошел подозрительно близко. Хотел моторист подцепить дверь багром, но проделал это столь вяло и неловко, что сам чуть было не отправился в воду, однако ж, успокоившись, набрав больше воздуха в широкую грудь, крикнул уходящей двери:

— Ты плыви, плыви, железяка!..

Окончание фразы унес ветер. Несмотря на то что у двери не было ни малейшего намека на металл, она продолжала плыть себе дальше. И только у Куйбышева, шлюзуясь (то есть пристраиваясь в хвост теплоходам, как делала всегда), она услышала с палубы:

— Вишь ты,— говорил один другому,— вон дверь какая с сапогом... Как думаешь, доплывет та дверь, если б случилось, до Тольятти?

— До Тольятти?.. Это сказать трудно.

— А до Казани?

— Нет, до Казани не доплывет, потому как Казань и дальше и выше, а вверх по течению не может плыть даже такая дверь...

Волга ширилась в берегах. Они, уменьшаясь, убежали в сторону... уж не море ли это, думала дверь, но до моря было далеко.

За Ахтубой к ним подрулила моторная лодка. Человек в ватной безрукавке двумя пальцами приподнял сапог.

— Эть, сапог какой!..— сказал он в глубочайшей задумчивости и даже снял кепку.— Плывет, значит... А куда?

И так, на весу, подержав тот сапог невесть сколько, прикинув, положил аккуратно набок, подцепив, поволок за собой дверь с сапогом, и, видно, увез бы бог знает куда, не попадись навстречу вторая моторка, где тоже сидела телогрейка — они заспорили.

По всей видимости, телогрейка с рукавами доказывала безрукавке о пользе и смысле плавающего сапога с дверью, что негоже лезть не в свои дела и что ежели сапог плывет куда-то, то, стало быть, так тому и надо.

Следует добавить к этому, что подобные вопросы с ответами раздавались все чаще, ибо к двери подплывали всевозможные плавающие малые суда, каждый высказывал свое мнение и даже не один раз рассматривался сапог (его то приподнимали, то ставили на место), он, таким образом, то продолжал стоять, то лежать, повертываясь в разные стороны света, но в конечном итоге уж так случилось — в

Каспийское море дверь направлялась со стоячим сапогом.

Тут, однако, задул сильный зюйд-вест, дверь из моря пошла себе обратно, пока ее не прибило в один из рукавов дельты. Там она и застряла в гигантском, шелестящем на ветру тростнике.

На нее наткнулись случайно дед Никитич и внук Димка.

— Ну-кась, Димка,— проговорил дед, запуская руку в сапог,— чего там, в сапоге, будет...

Он вытащил старой газеты ком, паклю, а также целлофан, перетянутый липучкой.

— Ух ты... да там записка есть. Ну-кась, ну-кась...

Старик пырнул пакет ножом, извлек пожелтевшую фотографию бабки Паланьи. Бабка сидела на скамье, сложив на коленях натруженные руки. У ног ее стояла миска, и около миски — множество кур. Одна курица, склонив голову набок, заглядывала в объектив, точно спрашивая: «А? Что там такое?..»

К снимку было приложено письмо.

«Вот, Тихоновна, решила писать тебе... Фото, что ты видишь, сделано летом. Из кур — мало кто остался, разве что Хлуша, Поруша и Петушок Коча... Зима у нас, снег все валит и валит. Сугробы по окну. У дерев сныгыри да галки...»

Дальше шли будничные деревенские новости. Дед держал письмо в руках, его прищуренные глаза смотрели в небо.

— Ты что, дед?

— Так, ничего... Видишь, как оно все-то...

— Что все?

— Да так, знаешь... У нас здесь лотос цветет, ходють фламинго... а там, вишь ты...

— Что там?

— Зима еще.

— Да что ты, деда!.. Зима и там ушла!

— Да, да... ушла. У нас тут гуси, цапли, фламинго, а там, видишь ты... все кусок зимы. У дерев сныгырки да галки...

## Ирина Поволоцкая

### СЕМЬ АВАНГАРДОВ

Острые, худые лопатки, не разъелся за жизнь, а затылок мальчишки-подростка, и это уже до конца, пока не свалит, не сокрушит, не сомнет. Летом Авангард Краснознаменный любил ходить в клетчатой рубашке навывпуск, на ногах сандалии. Носки только хлопковые, отечественные, поскам ГДР не доверял, знал точно, что немцы обязательно сунут в нитку что-нибудь синтетическое. С химией у них хорошо, а с натуральными волокнами плохо. Это он понял сперва во враждебной, а потом уже оккупированной Германии, в которой служил еще целых два года после нашей Победы. Всем кепкам в жару предпочитал шляпу. Но не пиджонскую в мелком плетении, а обыкновенную соломенную, которую теперь не купишь. А у него такая была. У него было много того, чего в мире давно уже не существовало.

В шляпе из соломки и в ковбойке и увидела его Любовь Петровна через дверной глазок и обомлела. Только что проводила она племянника Бору с женою на Ярославский, а вот теперь этот, покойного мужа Васи двоюродный, Авангард. И хоть бы телеграмму дал или открытку какую-нибудь прислал, а то: «Здравствуй, Люба!» — двадцать лет носу не казал, а на «ты», и мимо на кухню, как к себе домой, и гостинцы вынимает, а она вообще карамель не ест.

Каждый, у кого есть родственники в провинции, поймет бедную Любовь Петровну. Как только лето наступало, всем им позарез была нужна Москва, и они ехали по одному и семьями, и куда только детей тащат, ручки им поыворачивают в метро да в «Детском мире». Встают с солнцем, и уже в восемь утра у дверей какой-нибудь «Ганги» или «Власты», а дорогу не знают, и тащись с ними через всю Москву. А у Любы намечен парикмахер и кладбище и потом дети из Крыма возвращаются, надо им квартиру убрать. Лиля, правда, оставила телефон какой-то Марии Степановны из «Зари», но разве чужая так уберет, как родная. Для своих мальчиков, сына и внука, Любе и жизни не жалко, а если Лиля рот скривит, так она восемнадцать лет рот кривит, как замуж вышла. Ну вот зачем Любе сейчас Авангард?!

Это Любовь Петровна про себя думала, а встретила как положено, покормив, спросила привычно:

— ГУМ сам найдешь или отвезти?

Но Авангарду ГУМ был не нужен.

Он намекнул на какие-то сверхважные дела и исчез до вечера. Если бы не внешность, просто Штирлиц, а она ду-

мала, что Авангард давно на пенсии. Обедать он не пришел, а объявился только к программе «Время», из-за него Любовь Петровна прослушала погоду. От ужина наотрез отказался, и теперь пил сырую воду прямо из-под крана. Спать лег рано, но спал беспокойно. Хорошо, что у Любови Петровны комнаты смежно-изолированные, но он ее и через стенку будил, щелкал выключателем, гремел посудой на кухне, потом пошел курить на балкон, а под утро на ранней заре стал кричать, да так страшно, что Люба никак не могла в рукава халата попасть, прибежала полуодетая, разбудила. Он вскочил сразу, по-военному, ноги на пол. Сидел на кровати в трусах, долго хлопал глазами, потом, застеснявшись, прикрыл колени. Объяснил:

— Сон снился, Люба... будто убегал я. От своих врагов убегал!

И сник, склонил голову набок, и стал похож на старую степную птицу.

Он был болен. Seriously, так считали врачи, а соседи по забору Мамичевы, купившие недавно новенький автомобиль под древним именем «Лада», считали, что он прежде всего болен на голову, а дочка жалела отца ночами, но злилась днем, что тот болеть не умест. Но сам Авангард знал, что болен, хотя бы потому, что у него болело, но как пастырный читатель всех газет и журналов, которые можно было выписать или приобрести в Новогорске, в том числе брошюр общества «Знание», считал, что болезнь его — дело временное и происходит с ним исключительно от стрессов. Стрессы эти случались с ним постоянно, потому что комбинат имени Розы Люксембург не только утратил былую славу, но и вроде как рассыпался на глазах. Не работали фонтанчики с питьевой водой, и дверные ручки отваливались в туалетах, двери висели скособочившись, как хромые, и пахло кислым из столовой, штукатурка сыпалась на голову, а в красном уголке рядом с бюстом Ильича вместо цветов поставили несгораемый шкаф, и Авангард сам видел, как председатель профкома Храмцов прятал в нем финский сервелат. Бежали с комбината люди. А когда заводской главбух Валентин Генрихович, тоже на пенсию выперли, как Авангарда, привел того к странному геометрическому сугробам на заводском дворе и объяснил, сколько стоит на валюту этот позапрошлогодний снег, Авангард задохнулся. В ту же ночь увезла его «скорая помощь». Через полтора месяца, цветущую весной, Авангард вышел из больницы в широкий и деятельный мир с ясным намерением избавиться от стрессов, то есть решительно реконструировать комбинат по проекту инженера Лагутина, который, имея гениальную голову, был слаб мышцами и идейно, как многие новые. К примеру, поссорившись с тем же Храмцовым из-за яслей для своих двойняшек, Таты с Лизочкой, инженер грозился уйти в сторожа продмага или спиться. Тогда и со-

ставили Авангард и Валентин Генрихович бумаги и письма, Валентин Генрихович был из немцев и умел это хорошо. С этими бумагами и подоспевшим направлением местных докторов в специальный медицинский центр для обследования и лечения по надобности Авангард прибыл в Москву спасать здоровье. Ведь он с братьями бетон месил еще когда!.. Еще на безымянном комбинате...

— Никогда бы вас тут не узнала, Авангард,— сказала Любовь Петровна, когда тот достал из бумажника и протянул невестке желтое фото с надписью: «Кисловодск, 35»,— где он сам, молодой, кадыкастый, был снят картинно в профиль, будто оборотясь на зов ли, смех товарищей, а может, просто потому, что ему было хорошо глядеть на тех, а они, в свою очередь, обнимая его за плечи, улыбались объективу в одинаковых футболках. Авангард тогда брился наголо под ноль, как Маяковский, и носил тубетейку.

— Я тебе эту карточку не показывал? — обрадовался Авангард.— Да ты посмотри, посмотри! Это мы после комсомольских крестин, когда стали мы все Авангардами.

Сегодня он никуда не бежал. То ли в деле была остановка, то ли подустал, бегая, но засел он на кухне прочно и как мог мешал Любовь Петровне, которая варила обед, а она не любила, когда у нее за спиною торчат. Откуда ей было знать, что в любой момент может появиться сам Лагутин? Тем охотнее разговаривал Авангард.

— Кисловодск. Санаторий Наркомтяжпрома. Теперь имени Серго Орджоникидзе. Санаторий, Люба, дивный! Одно слово — дворец. Мрамор, зеркала, пальмы. В ваннах нарзан! Хочешь — пей, хочешь — плавай. Честное слово! Сидишь в чем мать родила, а вокруг тебя пузырьки попыркаивают. И сестрички в белых халатах как рыбки.

И Авангард показал Любовь Петровне, даже со стула встал специально для такого дела, как ходили-плавали вокруг него, молодого, гордые медицинские сестрички.

— А потом, пожалуйста, хочешь — волейбол, хочешь — бильярд или давай в автобус и кати к домику Лермонтова. А потом танцы, джаз-банда Остапа Поташиника. Еще не запрещали! Но главное, Люба, мы все семеро вместе. Семь Авангардов, семь Краснознаменных, семь братьев. Ближе кровных! Вот ты, извини, Люба, с твоим покойным мужем сойдемся или там съедемся и ни о чем таком серьезном ни слова. Только: как тетя Шура, дядя Коля, как дети, ваш Игорек, моя Светланка или там старшие сыны мои Витя с Валентином, ну, жены, конечно, и все. Посидели — разошлись. А мы, Авангарды, были как одно. Вот Васька твой, я знаю, смеялся, со стороны оно, может, смешно...

— Вы Василия не трогайте,— обиделась Любовь Петровна,— Василий был человек занятой, инженер, а уж ка-

кой муж, и не говорю. После работы всегда домой, собранный этих не любил. И вообще, никуда без меня не ходил, и отдыхали мы с ним всегда вместе. И зарплату мне до копеечки,— Люба нагнула голову, слезы у нее были близкие.

Нарочно не замечая, как хлопает носом невестка, Авангард повел пальцем от одного Авангарда к другому.

— В Ленинграде живет. Политехнический в Горьком закончил и пошел. Главный технолог номерного предприятия. До сих пор в строю.

Белобрысый технолог улыбался во все тридцать два зуба.

— На артиста похож,— недоверчиво сказала Люба.

— Вот он, Люба, был бы артист! — Авангард ткнул пальцем в фото,— хохол! А у них голоса, сама знаешь. Погиб под Курском. А вот его, Люба, в Болгарии убили. Эх, хороша страна Болгария!.. И болгары в войну тоже против нас были!

Авангард задумался. И теперь уже сама Люба спросила:

— А он?

Он — в очках, на снимке с краю, во втором ряду. Толстый, круглый, безбровый. Было понятно, что и ростом не вышел.

— Колобок,— усмехнулась Люба.

— Тут сложно,— вздохнул Авангард,— женился на одной. Хорошая вроде деваха, веселая, простая. Комсомолка. А отец у нее оказался троцкистом.

— Ну,— согласилась Любовь Петровна,— я вот сама кулацкая дочка,— и вдруг рассмеялась. Затряслась мелко-мелко, не поймешь, плачет, смеется, и бусы подрагивают на полной шее. Еще довоенные, из горного хрусталя, Васин подарок.

— Кулачка? — оживился Авангард.

— Да у нас всего одна корова была. Твоих-то троцкистов небось реабилитировали?

— Жену. Родителя ее. Квартиру им дали отличную. В центре Алма-Аты. А нашего посмертно,— в груди у него что-то забулькало,— и могила неизвестно где. А в пятьдесят восьмом мы и комсорга нашего похоронили. Не на войне, но тоже от войны. Осколок в легких. Это он и придумал, что мы будем Авангардами.

В самом центре пожелтевшей фотографии, а понятно, что наш Авангард не расставался с нею никогда, и даже в больнице на прикроватной тумбочке всегда была с ним карточка братьев, где четверо сидят, трое стоят, а в самом центре — этот, бывший комсорг, обнимая двоих за плечи, он обнимал их всех и защищал тоже. Вроде наседки или орла. И руки его лежали на плечах братьев, как крылья.

— А ведь что интересно, Люба, комсорг наш из поповской семьи. Отец его семинарию бросил и в революцию



ушел, а дед — протоиерей. Во как! И фамилия у них — Знаменские. А мы все — уже Краснознаменские!

— Господи,— ахнула Любовь Петровна,— я думала, ты один Авангард, а вон вас сколько! Слушай, а как вы друг дружку-то звали — Авангарды?

Она опять готова была смеяться; отпятив локоть, глядела в упор не в карточку, а на самого Авангарда.

— А сколько мы вместе были, Люба? — Авангард вздохнул, задумался.— Считаю год. А там двое — в Красную Армию, потом еще двое. А время — сама понимаешь! Халхин-Гол опять же. Одна война. Другая... А звали как? Так сперва ошибались, потом привыкли, и ничего. Но между собой больше по отчеству. Петрович, там, Степаныч, Нуруллиевич. Правда, накладка была: Петровичей двое. А так везде и на людях мы — Авангарды. Ясненько?

— Чего уж яснее... Значит, трое вас осталось.

— Трое. Я, вот он,— Авангард показал на технолога,— и он. У вас здесь живет. В Электростали.

— С усиками? Интересный.

— Семью в войну потерял, так и не женился. Остался одиноким, а теперь мы все сравнялись. Я без Зины пять лет.

Тут Любовь Петровна и заплакала.

— Ну, Люба, Люба, нехорошо,— забеспокоился Авангард,— держаться надо. Ты с какого года?

— С двадцатого.

— Я думал, моложе. А я с семнадцатого. Еще в октябрятах на линейке вожатый крикнет: «Кто ровесник Октября?» Я сразу шаг вперед и руку тяну: «Я ровесник Октября!» — «Будь готов!» — «Всегда готов!». Я тебя с нашими познакомлю, Люба. Это такие люди! Сейчас у меня сложные дни. А потом махну в Электросталь. А может, и в Ленинград. К Авангарду Николаевичу.

— Слушай,— вдруг спросила Люба,— а тебя по-настоящему как зовут?

— Авангард,— он удивился.

— Да я не о том,— она махнула рукой,— как мать крестила?

Он рассердился:

— Авангард!

Все это время Лагутин жил на вокзале.

Вызванный в помощь через Валентина Генриховича, инженер ухитрился-таки, правда опять со скандалом, оформить десятидневный отпуск за свой счет и прибыл в столицу. Жена Галя находилась в Луцке у родителей, двойняшки, конечно, при ней. У Гали отпуск был настоящий, и осторожный Лагутин позвонил ей уже из Москвы, наврал,

что в командировке. Галя удивилась, но велела Лагутину взять ручку в руки и записать торговые поручения.

— Ты пишешь? — строго спрашивала Галя, — Лагутин, ты записываешь?

— Пишу! — весело говорил Лагутин и не писал. У него была замечательная память, это во-первых, во-вторых — денег не было, но жизнь была прекрасна.

Правда, его заметила милиция, но он поменял Курский на Киевский. У родственницы Авангарда останавливаться было совестно, а в общежитие гостиницы «Южная» не хотелось — там пришлось бы разговаривать с другими, такими же, как он, а Лагутин заболел нагрывавшей свободой... Никто его не дергал, не посылал за молоком и картошкой, не говорил, что купленная им манка с жучками, и сам он не мучился своей бесполезностью в хозяйстве и не раздражал жену Галю, которая выбивалась из сил, борясь с Лагутиным и его детьми за порядок.

Поскольку начальники, к которым должны были попасть Лагутин с Краснознаменским, сперва уехали на необходимый симпозиум, а вернувшись, разбирались с необходимыми делами, и среди этих дел встреча с Краснознаменским и Лагутиным вовсе не была обозначена, инженер целыми днями слонялся по городу или работал в тенечке прямо на лавочке. Лагутин так и не узнал, что полюбившееся ему место в столице называется Гоголевским бульваром. Это потом, снова попав в Москву, он вышел к бодрому памятнику и направился к тем же скамейкам, но обернулся, как будто его окликнули, а его, конечно, и не окликал никто, а оказавшаяся рядом невыселенная арбатская бабушка, безошибочно разгадав в нем провинциала из любознательных, объяснила, где он находится, и велела идти к другому Гоголю, который сидит во дворе поблизости. Он послушно перешел площадь и увидел того, другого, и в носу у Лагутина защипало, как от аллергии. Но вспомнил он не школьную программу, а Авангарда, потому что пожилые сидят, похоже, когда у них болит что-нибудь... А в то лето — лето с Авангардом — когда ноги затекали, он вставал с лавочки и счастливый, то есть свободный, шел куда глаза глядят, а глядели они сперва в пыльные липовые аллеи, а на площади, где был вырыт бассейн, глядели или направо — и Лагутин сворачивал в музей, или прямо — и он спускался к реке. Обедал он в столовой, диетической, на проспекте Калининна и там же встречался с Авангардом, стойко и постоянно дежурившим по министерскому главку.

Воспитанный на скудные средства матери-одиночки, Лагутин боялся и уважал женщин, а Авангарду доверял. Рядом с ним, колготным и несерьезным по мнению большинства, он сразу успокаивался, и казалось ему, что он многое может и что от его, лагутинского, таланта в окру-

жающей и будущей жизни могут произойти прекрасные изменения.

— Здравствуй, Федор! — встречаясь ежедневно, всегда торжественно говорил Авангард, и они обменивались крепким рукопожатием мужчин. Затем они шли вдвоем по главному московскому проспекту. В отличие от Лагутина, которому все новые дома были на одно лицо, он родился и рос при них и с ними, блочными и панельными, каркасными и вибро, у Авангарда дух захватывало от открывающейся сердцу роскошной панорамы многоэтажного стеклобетона. И в какой раз, шагая рядом с Лагутиным, сосредоточенно прыгающим по плитам столичного тротуара в пестрых кроссовках новгородского производства, он объяснял одно и то же и самолюбиво выставлял крутой подбородок над несильною шеёй в растегнутой от жары ковбойке:

— Это, конечно, только в будущем можно так всю страну застроить. Только в будущем! Сейчас средств нет. Но ведь умеем, когда хотим...

А будущее наступало ему на ноги. Наступало, обступало, теснило. Требовало дорогу. Посторонись! Посторонись! Стальная тележка — и кто врассыпную, кто — к забору, к краю, а он, Авангард, знай вымахивает шаги, а походка, как под пионерский барабан, такой мужик был, не свернет, не оглянется, дурак, что ли... Вот и Лиля, жена любимого Игорька, скривила рот, как Люба предсказывала, это когда Авангард обрадовался, что парень у них — металлист. Так и сказал: «А что?! Молодец Вася! Тебя в честь деда назвали. Металлургия — дело горячее». А Любе, чтобы та не плакала, когда они домой вернулись, Любе:

— Лиля ваша на рыбку похожа!

— Да у тебя все рыбки, — отмахнулась Люба.

— В уксусе вымоченную. И закусить хочется, но опасешься.

Ведь как они ей квартиру убрали, Лиле! Правда, случались неполадки: у трехногой табуретки с ногами-лапами зверя, наверное льва, перекладина отпала сама собой; это когда Авангард тер шваброй пол профессорской квартиры; Любин Игорек профессор был, и что интересно — по Маяковскому, по Владим Владимычу, любимому поэту, — «Я знаю — город будет!..» Но и ворчал Авангард на профессора, что вроде в доме и мужик живет, а если живет, то негодный, безрукий, потому что бронзовая наклейка от шкафа для книг тоже отвалилась. Наклейку Авангард приставил, а вот с ножкой льва не получилось. А вообще, удался субботник. Вдвоем дело делалось у них ловко, согласно, это не перед телевизором спорить, кто лучше, Ротару или Толкунова Валентина; работали вместе как без труда, весело.

— Дирижабль запускаем! Три! Два! Один! — объявлял Авангард местным старухам с лавочки у подъезда и набе-

жавшим городским детям, томящимся в ожидании родительских отпусков. И высоко взлетали, туго надуваясь от переполнившего их воздуха, одеяла и пледы, шторы и занавески. В крепких еще руках билась материя как живая, пылал шелк пламенем, и старухи завистливо чихали от едкой портьерной пыли. И все-таки ввернул Авангард — кулачка! — и с удовольствием ввернул: по два раза, сбиваясь, пересчитывала Любовь Петровна сыновнее имущество, коврики да занавески. И забыть чего можно, и для сохранности.

Она ведь знала Лилю. Та и не скажет ничего, а видно сразу — недовольна. Такой характер, а ведь неплохая и собой, и работа у ней в ВТО на Горького сидеть, кофе пить да окурки гасить в тарелки с винегретом. Любовь Петровна один раз всего и была на работе у невестки, путевку у них получала в дом отдыха под Москву. Лиля устроила, ничего не скажешь, а потом в кафе повела, в том же доме кафе, где работа, и даже из подъезда выходить не надо. Сели они за столик вдвоем, Люба думала, первый раз в жизни про жизнь поговорят, расспросить хотелось невестку, а налетели Лилины подружки. Тучей. Подружек этих у Лили видимо-невидимо. Налетели и зачирикали, ушам больно, каждая свое чирикает, а птичкам этим под сорок, а какой птице и больше. И любая Лиле дороже свекрови. А поблагодарила бы мать за мужа-профессора. Она ведь за профессора вышла; конечно, не всегда Игорек профессором был, но все равно получилось за профессора!

Еще от лифта Лиля с тоскою услышала за дверь урчанье включенного телевизора и обернулась к окаменевшему от дорожной мигрени мужу.

— Ура! Бабка! — живо сообразил металлист. Но бабка была не одна...

Она и тот, другой, в ковбойке даже не обернулись. Не услышали. Глядели концерт. Плечом к плечу на двух сдвинутых стульях сидели перед цветным экраном, где, точно как они, и тоже плечом к плечу сидели певец Богатиков и красавица диктор Ангелина Вовк; только перед теми был не телевизор, а низкий полированный столик, на котором стояла хрустальная ваза с георгинами, и Богатиков пел прямо с места, громко и под оркестр.

Кто не любит Богатикова, тому, может, все равно, что Лиля телевизор выключила, когда здороваться и знакомиться стали, но спросить надо было, тем более что человек старше, который смотрит. Правда, Лиля пригласила на кухню фрукты есть с юга, но Авангард к этому равнодушен был, у них на базаре узбеки еще слаще продают, а он все равно огурчик больше ценит. Но поговорить и посидеть с родственниками хотелось. Только профессор вместо разговора в ванную отправился. А Люба только что белье постирала и там развесила, стали белье на лоджию выно-

сить, и увидела Лиля, что перекладина от табуретки отдельно лежит. Ну, Авангард объяснил, как можно табуретку починить, и, что, если бы он дома был, он бы сам починил, а здесь инструмент отсутствует, но, если они достанут, починить легко. А Лиля эти речи вполуха и стала у свекрови выпытывать про какую-то Марию Степановну из «Зари», что она ее телефон оставляла, а Авангарду все: «Ешьте виноград, ешьте, пожалуйста!» А конфорку подощами не подожгла, а их Люба варила, мужикам голодовать ни к чему, так Любовь Петровна невестке и сказала, и огонь запалила. У Любовь Петровны характер, конечно, но разве мать виновата, если хочет, чтобы сын ее стряпни поел... Вышел профессор из ванны, Любовь Петровна тарелку на стол, а в дверь звонок, сосед с собакой пришел. Свет в окошках увидел и пришел, а собака с медведя и тоже на кухню. А тут и Лилины подружки подкатили. Какне уж тут щи? Какой разговор? Профессор вообще на подоконник уселся.

А Лиля:

— Гарюша! — это она так Игорька Гарюшею. — Гарюша, может, ты немного в спальне полежишь. Гости тебя простят. У Гарюши мигрень такая!

Гости! А какие ж Люба и Авангард — гости? Вот сосед и его собака — гости. И подружки Лилины. И еще девушка, которая потом к Васе пришла, Вася-то ей по плечо — она тоже пока гость.

Встали Люба и Авангард, попрощались и поехали к себе с двумя пересадками. И никто их не задерживал, и никто провожать не пошел, Люба говорила, Вася бы обязательно их до метро переулками проводил, да внука Васи и его баскетболистки уже и следов не было — испарились оба.

— Дети, Люба, наше будущее. Так на это дело и надо смотреть, — успокаивал Авангард разбушевавшуюся Любовь Петровну, когда они после семейного ужина возвращались к себе с двумя пересадками.

— Да ладно! — Люба и пассажиров не стеснялась, до них ли ей, Любе. — Стараешься из последних сил, а тебе одни тычки!

— Обидно, конечно, — тут Авангард не спорил, — но, с другой стороны, мы их воспитали в тяжелое время и дело свое доверили. Тут надо шире подходить.

— А, — отмахнулась Люба, — я бы к тебе подошла и посмотрела, как бы ты со своими сынами и внуками вместе жил. Сдохнутся, когда помрем. И пожалеют. Только не нас, а себя, что сироты... А так пугала мы для них огородные, — она даже обрадовалась, — пу-га-ла! Честное слово! И я, домашняя хозяйка, всю жизнь у плиты волокусь, и ты, партийный, сознательный, в своем строю трубишь, а из тебя уже песок сыплется. Мать моя, покойница, всегда на

огороде парочку такую ставила. Одни вроде мужик, а другая вроде баба, с метелкой,— и Люба вдруг стала хохотать, а отхохотавшись, сказала Авангарду: — Иди ты лучше на пенсию, пока не попросили. Тебе ж повезло. Ты со Светкой вдвоем, а она женщина свободная, нестарая. Чего вам делить?

Теперь Авангард насупился, замолк. По его понятию, Люба расстраивалась из-за ерунды, как женщины вообще. Ну, утек, не попрощавшись, выпросив у бабки пятерку, Вася-металлист, ну, профессор не стал есть на ночь Любины щи, ну, ходила взад-вперед, без толку нося перед собою оторванную перекладину от трехногой табуретки, невестка Лиля, а если львиная эта табуретка ей досталась тяжело? Хотя Лиля неродственная, из-за нее не удалось расспросить толком Игоря Васильевича, почему застрелился Маяковский, и потом худобой и бесцветьем, хоть бы губы покрасила, напоминала Авангарду нелюбимую им закуску, кто же сельдь в уксусе вымачивает, но Светкину жизнь Люба зря задела, да походя, как со зла. И про песок тоже вроде ни к чему...

И заболело у Авангарда сердце. И болело всю ночь, не отпуская. А когда огромный лохматый шар солнца выкатился навстречу Авангарду, а он, Авангард, уже давно поджидал его на балконе, завернувшись в одеяло поверх майки с трусами, не сошла к нему радость, и облегчение не наступило в этот самый любимый Авангардом час — время восхода. Наоборот, красное, как на плакатах, светило предвещало ветер и перемену погоды. Неумолимо начинался для Авангарда еще один столичный понедельник, но не было на него сил, а надо было сил, чтобы секретаршу спросить, *когда*, но и на *когда* сил у него не стало. И едва дождавшись семи утра, он позвонил в Электросталь, а потом в Ленинград, и долго звенели в утренней пустоте Авангардовы позывные, но ни в Электростали, ни в Ленинграде никто не снял трубки.

А за понедельником пришел вторник.

— Вторник — потворник, — весело приговаривал оклемавшийся Авангард; их с Лагутиным, как две щепочки, вертело в людском служебном водовороте. Обоих была дрожь, сказывалась-таки провинциальная оторопь. Секретарша вчера сказала Авангарду, что сегодня им назначено... Наконец вошли; милиционер, проверив список, узаконил их пребывание под этими сводами, а Лагутин присвистнул:

— Коммунизм!

И повторил: коммунизм, когда в местном буфете, а время им отсрочили из-за неожиданного визита чешских товарщиц, съел подряд три пирожных, хитро выделанных под грибки-мухоморы с мармеладною шапочкой в сливочный горошек... А в коридорах нежно дули кондишены, и бесшумные лифты, сладким звоном отмечая прибытие на искомый

этаж, возносили высоко и плавно опускали. А как пружинили под ногою мягкие синтетические ковры! Ходить по ним, не переобувшись в тапочки, честное слово, совестно было. А ведь ходили, бойко вкручивали в ковер острые каблучки местные бабенки, плотные, одна к одной, и мосластые девицы, вроде той секретарши, к которой каждое утро звонил Авангард.

Но случилась катастрофа! Храмцовская команда нанесла точный удар. К тем же лицам, между кабинетами которых вышагивал Авангард и ждал приема, а добившись, что примут, вызвал инженера, и они опять ждали в жару и на нервах, к тем же лицам прислали с комбината своего человека, но с официальными бланками, напечатанными по нужной форме и, главное, украшенными подписями самого и его шестерки, директора и главного инженера. И тоже про реконструкцию было в письмах, но безо всякого упоминания проекта Лагутина. А живого Лагутина принимавший их моложавый брюнет и не заметил, а Лагутина, если б не гениальность, в баскетбол играть, и кроссовки новогорские светились, а вот не заметил и Авангарду посоветовал, как коммунисту и пенсионеру, держаться поближе к трудовой и общественной жизни коллектива:

— А то можете гол забить в свои же ворота, товарищ Краснознаменский!

И предложил боржом. Боржом по новым веяниям, только боржом стоял во встроенном, пластик — под дерево, холодильнике, тридцать бутылок бесподобного для понижения кислотности напитка пузырились, запотевшие. Но Авангард пить не стал, догадка осветила местность, как сигнальная ракета, и он увидел сам себя и Лагутина среди чуждого ландшафта и понял, что предали, и ударил кулаком по столу. И взвыли кондишены, отключился холодильник, застопорились лифты, устремленные в поднебесье и спускающие в вестибюль, где маялся здоровенный парень в милицмейской форме. Ему ли списки сверять с паспортами? Нет! Ему рыть котлованы, прокладывать трассы, искать что-нибудь ископаемое, хотя бы снежного человека. И милиционер двадцати девяти лет, родом из Горьковской области, село Старосвятское, это понял — как ток прошел по электроцепи от нашего Авангарда, и, самовольно покинув пост, парень рванул в соответствующее ведомство, чтоб увольняться... Но не прогремел Краснознаменский кулаком по столу. Только что пить боржом не стал. А как вышли, Лагутин сказал, что приезжает завтра в Москву из Луцка Галя с двойняшками. И еще сказал Лагутин:

— Все!

И купил себе мороженое.

Любовь Петровна Галю пустила без уговоров, потому что мужики, они всегда без соображения! Зато Галя вы-

ложила Авангарду, что она о нем думает и что о нем думают некоторые, которых она уважает.

— Дайте людям пожить нормально! — кричала обезумевшая от мужниного непослушания женщина. — И не так, как вы хотите, а так, как им хочется. Вот! Будущее комбината! Будущее! У меня ваше будущее вот где сидит! Мне свое будущее надо! Свое! И такое, как положено, как у нормальных людей, а не у этих, которые... Извините, конечно. А Лагутина я в Луцк отвезу. Пусть в таксопарк идет, и ему и семье на пользу, потому что он — человек слабый. Он вообще ничего знать не может, — Галя выбиралась из стресса, куда ее ввергнул супруг, медленно, но неуклонно, как по спирали выбиралась, — а деньги, которые он тут проел, ему же на пальто были отложены. Вот тебе, Алексей, и будущее, — она, наконец, оставила Авангарда в покое, — теперь будешь в старом пальто куковать. А если еще раз кому скажешь, что в сторожа пойдешь, или с кем таким свяжешься, я тебя выгоню! Да! Не сама уйду, а выгоню, и детей своих никогда не увидишь. Я тебя, Лагутин, через суд от них отлучу, так и знай, Лагутин.

И она зарыдала навзрыд, но носом уже учуяла победу... Авангард вышел из комнаты. Молча мимо Любы, та была белее мела, такой крик не утаишь, и на вокзал — брать Лагутиным билеты домой по удостоверению участника войны.

Билеты Авангард отдал Гале, и она их приняла, конечно: во-первых, Авангард был виноват, что Лагутин пальто проел, а во-вторых, Галя для себя давно решила, что тот относится к ее мужу — безотцовщине — как настоящий отец, а у родителей деньги брать не стыдно, на то они и родители. Она своим двойняшкам тоже будет все отдавать, когда вырастут. Авангард так и не увидел, как они шли по перрону, вяло доругиваясь, таща в руках двойняшек и вещи, он уже ехал в Электросталь к брату. Лагутин добил его, когда Галя орала. Разве Алексей Лагутин муж, мужик, если слова не проронил, а только носом шмыгнул, как детсадовский, и клонил к коленям немощную свою асельратскую головенку?

Галя, несмотря на ограниченность времени, с помощью той же Любови Петровны успела-таки ухватить от столичной торговой жизни лыжи себе и Лагутину, детский велосипед — на вырост, электрическую мясорубку рижского производства и для Москвы — дефицит. Галя была хозяйка, не в пример мужу, и двести рублей, торжественно врученные ей в Луцке, знала на что тратить для своей семьи. В купе они оказались одни: Авангард опять учудил, купил четыре билета! Москва еще тянулась вдоль железной дороги щупальцами бесконечных панельных кварталов, а может, это и не Москва была, хотя какая разница, но Тата с Лизочкой уже посапывали, а Галя в импортном халатике ела



Любин пирожок, аккуратно намазывая его маслом из банки, и запивала только что купленным молоком. Лагутин хмуро глядел в окно. Тогда Галя села рядом, повернула мужа к себе, и они стали целоваться.

В Электростали Авангард узнал, что брата его, Авангарда Краснознаменского, по полной его непригодности к самообслуживанию сдал в дом престарелых внезапно объявившийся племянник из Минска. А главный врач этого скорбного заведения, порывшись в документах, объявил, что Краснознаменский умер еще в апреле. Теперь стало понятно, почему не пришло из Электростали поздравление с Днем Победы.

Какая-то совсем старая бабушка повела его на кладбище. Он так и шел за нею, с тортом и букетом пионов...

Кладбище было новое: не выросли еще на этой земле густолистные деревья, да и сама земля была не черная, жирная, как положено, а сухая, вроде спрессованной пыли. Авангард положил на серый холмик пионы и стоял, все равно не веря кривым буквам на кладбищенской дощечке. Он отдал старухе, проводившей его к могиле, торт и деньги, какие у него при себе были — тридцать восемь рублей, сказал, что вышлет еще.

— Крестик поставим! — пообещала старуха.

— Креста не надо, — велел Авангард, — надо звезду.

— И звезду попросим, — быстро согласилась она и стала поправлять цветы на могиле, чтоб он убедился самолично — деньги не зря оставляет. Потом шла за ним, хотя ей было в другую сторону, дом престарелых на окраине, Авангарду надо на станцию, но она не отставала. Просто как приклеилась, да еще учила на ходу. А зубы ей, видно, вставлял местный мастер, бесплатно. И жарница была, а она все шла за ним, шла.

— Дома для старичков так надо возводить, — говорила старуха, — чтоб они как раз напротив сиротских стояли. Старички с детишками гулять станут, и какому старичку — весело, и дитя — под присмотром. Вот вы, сразу видно, партийный, вот вы и постарайтесь. Начальству своему докажите!

В автобусе Авангард задохнулся... Вместе с железным полом качнулась земля и, замирая от невесомости, взлетело к самому небу бедное сердце Авангарда.

— Посадите дедушку! Поддержите его! — закричали пассажиры, когда неприметный пожилой дядечка в ковбойке и соломенной шляпе, как птица, замахал руками — это Авангард никак не мог поймать поручни в полете, не поймал и стал тихо клониться вниз. Шляпа из соломки упала...

Ему подали шляпу. Сунули валидол. Открыли окно пошире. Из автобуса он вышел сам, и, стараясь поровней и потверже ставить ноги, так, ножка за ножку, как детей своих в малолетстве учил ходить, так — десять шагов по солн-

цепеку — до первой скамейки в пристанционном сквере, потом до второй, с передышками, и к третьей, спасительной, которая в тени. Тут он сел и стал дышать, вроде получалось дышать, а что слаще воздуха, и, надышавшись, застыл сумрачным изваянием рядом с вечным гипсовым пионером.

А в Москве, куда он вернулся ночью, у Любы ждала его прилетевшая на два дня Светлана Авангардовна, и почему-то профессор был с Васей, который металлист. И обрадовались они ему, как подарку. Он это им и сказал, но обе женщины были с заплаканными глазами, а на столе рядом с тортом «Птичье молоко», который Светка привезла, — в Новогорске давно уже по столичному примеру выпускали такой торт, но душили его, правда, слишком, — рядом с тортом как вещественное доказательство его, Авангарда, преступного легкомыслия лежало невостребованное направление в центр.

— В чемодане рылась? Нехорошо, — сказал он дочери, но уж больно та страдала, и он подмигнул ей:

— Ладно, собирай вещи! Пойду сдаваться.

А профессору — знай наших! — профессору:

— В этой жизни умереть нетрудно...

И опять обступило Авангарда будущее. Обступило, обхватило, заграбастало. Нацелились на его жалкую плоть компьютеры и электронные пушки. Померк свет. И зажглись фосфоресцирующие циферблаты, задрожали стрелки, замигали лампочки, и рослое существо с вялыми теплыми руками стало его вертеть, поворачивать в разные стороны, а потом повлекло за собою в пахнущую грозой черноту, где вспыхивали электрические искры. Он послушно взгромоздился куда-то, поддерживаемый этими же знающими, что ему нужно делать сейчас, руками, и лег, покорный, на что-то жесткое горизонтальное и закрыл глаза. И все то, живое и живущее, что составляло кровь и жизнь нашего героя, было измерено до какого-то одного ничтожного лейкоцита, просвечено, подсчитано, записано на перфокарты и брошено на весы.

И пока весы еще колеблются, а существо с розовым пластмассовым лицом разматывает бесконечные бумажные ленты, он курит свой «Памир» сперва в роскошном туалете центра, потом в уголке под лестницей. Он одет как на парад или праздник в чешский, даренный Светкой костюм, который ему безнадежно велик в плечах, но крахмальный ворот рубашки туго стягивает горло. И еще Авангард в галстук, а на лацкане — наградные колодки. Он стряхивает пепел, и руки его дрожат... Что ожидало его? Он этого не мог знать, поскольку, откроем тайну, этого не знал и врач, который все еще медлил над компьютерным заключенным.

А Авангард курил и думал, что вот Валентин Генрихович зря ждет от него весточки...

Новогорск далеко. Сшибаются над ним различные ветры, сухие азийские и влажные из России. Зимой приходит холод с океана, летом закручиваются над желтой землей колочие вихри. Снег в Новогорске — черный, зелень по осени — серая. Это дымит на последнем издыхании родная «Роза Люксембург». В узбекской тубетейке Валентин Генрихович идет, простукивая палочкой вспухший по весне асфальт, по той стороне улицы Мира, где лежит на тротуаре утлая тень от карагача. Конспирацию развели, хотели, чтоб тайна, поэтому до востребования, поэтому по два раза ко дню спрашивает на почте бывший главбух комбината корреспонденцию на свое имя, а потом вежливо, склонив лысую голову: «Благодарю за беспокойство!» Красиво говорит по-русски Валентин Генрихович. Сердце Авангарда заболело — это он вспомнил о Лагутине, подкаблучнице и слабачке. Она еще едет в Новогорск, спортивная семья Лагутиных. Сам, конечно, лежит на верхней полке в синих трикотажных штанах и по обычаю своему читает или мечтает, задрав к потолку вихрастую аксельратскую головенку. И как это в такое тощее существо, как молния, ударила гениальность? Светланка прилетит в Новогорск раньше их. Авангардовна любит скорость и чтоб все было по-современному. Красивая у него дочка. А что у нее, у Светки, есть, кроме отца? Один Дворец культуры. С ревизиями. Пока на свете живет Авангард, Светка — дочка, и в общем баба нестарая. Вон как заблестал очками профессор, когда увидел рыжеволосую пышную Авангардовну. Это так он величает Любкиного Игорька, а вообще-то, он все равно ему Игорек, как бы Лиля рот ни кривила. Он его еще на плечах таскал, нес через Красную площадь, а тот, вцепившись в дядькину шею, флажком намахивал трибунам. И тут Авангард стал думать о Любе. Она, конечно, будет ходить к нему сюда, носить компоты и все другое, что понадобится. Но он этого не хотел. Лучше бы он ее сводил куда-нибудь, в кино или даже в ресторан. И еще он подумал, что таких жен, как была его Зина или вот Васина Люба, таких больше нет. Не рождаются больше такие женщины.

И тут грохнуло!

— Краснознаменский!

Больных здесь вызывали через громкоговоритель.

Он сперва как не услышал, потом поспешно выбросил курево, и, подняв плечи к ушам, под перекрестными взглядами лиц обоего пола, вступил на ковровую дорожку, как космонавт. Он еще прошел по ней шагов двадцать и успел подмигнуть медсестре в голубых шальварах по моде этого дома, которая уже раскрыла перед Авангардом высокую дверь; за ней, за этой дверью, пренебреженно должна была начаться для него другая жизнь, и, помедлив мгновение, он круто развернулся и зашагал на выход, потому что в старой жизни у него осталось слишком много,

И запели в вышине пионерские горны, забили барабаны, выкрикнул вожатый осипшим голосом:

— Раз-два! Раз-два!

— Кто ровесник Октября?

— Я — ровесник Октября!

— Раз-два! Раз-два!..

И, верно, оценив его выбор, благосклонная теперь судьба улыбнулась нашему герою.

...Вот он стоит перед Авангардом. Поседевший, постаревший, единственный на свете. Брат. Авангард Николаевич Краснознаменский. Технолог из Ленинграда. В сбившемся от столичной спешки галстуке, с необъятным портфелем командированного под мышкой, и улыбка, как на том фото.

— Зубы вставил, черт, — говорит наш Авангард. И кидается первым и замирает у того на плече. Все это происходит в виду величественного фонтана «Дружба народов», и присутствующая здесь Любовь Петровна сморкается в платочек.

И если не летят по небу блестящие черные автомобили, все равно эти радужные картинки напоминают видения будущего по Авангарду Краснознаменскому где-нибудь на исходе трудных тридцатых перед сороковыми роковыми..

О чем говорят эти три человека? Вот захмелевшая от одного бокала Любовь Петровна признается, что она десять лет назад в ресторане была, еще с Васей, а дети не зовут. И смеется, в общем, некстати, но ведь она, Люба, всегда так: или плачет, или смеется...

А Авангард Николаевич рассказывает про своего дядю, знаменитого конструктора первых аэропланов, одинокого человека, в квартире которого жили родственники с детьми от разных колен. Квартира была похожа на коммуналку, и дядя никогда не знал, чьи дети сидят на горшках в прихожей перед туалетом. А на кованом сундуке в коридоре спала сумасшедшая Маргоша, бывшая жена дяди, которая бросила его еще до той войны. Ночами она раскладывала пасьянс, а утром в бумажных папильотках шла через темный двор за молоком и булками для дяди, а потом снова ложилась на сундук, и ее длинное тело подрагивало во сне. И, не замечая Маргоши, бегали мимо ее сундука многочисленные мальчики и девочки и играли в лошадки, как было принято тогда у детей, и, разогнавшись, иногда влетали в комнату, где за большим письменным столом сидел дядя. И, ловко поймав кого-нибудь, выскальзывающего, как уж, он спрашивал с любопытством: «Ты кто?» Он кормил их всех, а потом в блокаду от голода...

А Люба — про маму. Как у них в тридцатом корову забирали. Ночку. Любиного отца и братьев на Восток отправили, а их с матерью пожалели. Мать больная была, и Люба при ней. А вот Ночку велели сдать.

А Ночка не идет с чужими, упирается, а потом на колени встала. Но ее все равно увели. А как утро и светать стало, в дверь кто-то торк. Мать всполошилась, Любу спрятала, велела в случае чего дворами убежать, а сама к окошку и топор в руках держит. А на улице рассвело уже — прямо перед крыльцом Ночка стоит, и веревка на шее оборванная. Выскочила тут мать из избы, обняла Ночку, и Люба выскочила, а Ночка увидела их, родных своих, и слезы у нее — градом, и стали они тут вместе плакать. А Ночка прямо языком слезы Любины подбирала...

И Любовь Петровна наконец заплакала, глаза у нее, правда, были на мокром месте.

— Вот,— сказал торжественно расчувствовавшийся Авангард,— вот, она плакала из-за коровы, а теперь сын у нее профессор.— И добавил: — Революция дала нам все, Люба!

А чтоб Люба быстрее смеяться стала, про Любу рассказал, какая она была красавица, просто Любовь Орлова. Вылитая! Честное слово. Ой, Авангард, как раз за год до войны в Москву приехал и с вокзала прямо к брату Василию, а Василий тогда жил на Маросейке.

— На Маросейке,— грустно подтвердила Любовь Петровна,— теперь имени Богдана Хмельницкого.

— А! А я думал, куда она подевалась, Маросейка? А она имени Богдана Хмельницкого,— счастливо глядя на Любу, говорил Авангард,— ну вот, звоню, а было рано еще. Совсем-совсем утречко! Звоню, а на звонок мне старушка открывает... Маленькая такая, а въедливая! И все-то ей надо знать, и к кому я, и кто. «Бабуся,— говорю,— что такое комсомол, слыхали? Значок на груди — вот он. Среди комсомольцев, бабуся, бандитов нету!» А она за мною по коридору шпарит. А я у Василия уже был, комнату его знаю, стучусь к нему, а бабушка прямо из-под руки: «Не будите, он,— говорит,— вчера женился» А! Каков! А тут дверь открывается, а на пороге... Да! А коса до пояса. А глаза! Любовь Орлова. Голос певучий: «Вася, это к тебе!» А Вася ее между тем еще храпака задавал на раскладушке. А на вас, Любовь Петровна, было пальто. Я и сейчас помню — такое синее, драповое. Васино. И босиком вы были. Руку протянули мне: Любовь!.. Ну, думаю, может, правда, Орлова. А я ей: Авангард.

А наш Авангард все-таки рассказал, что больше всего любил рассказывать, как в августе тридцать пятого они всей бригадою на строительстве комбината имени Розы Люксембург взяли одинаковые имена, и все семеро стали Авангардами Краснознаменскими. Чтоб, когда придет Мирояв

революция, которая освободит всех угнетенных, всех обездоленных, всех несчастных и построит на земле светлое Царство Труда, Правды и Справедливости, где не будет ни горя, ни болезней, ни самой смерти и все люди будут просто как братья и сестры, так вот, когда придет эта самая Великая и Последняя Революция, всегда быть в авангарде, и под Красным Знаменем, как велит выбранное имя.

— А скажите, Авангард Николаевич,— вдруг спросила Люба ленинградского Авангарда,— какое у вас настоящее имя?

— Настоящее? — тот даже не понял, а потом заулыбался, как он это здорово умел,— а, вот вы про что, Любовь Петровна... Знаете, родители меня назвали Евграфом, а дома я был Граней. А когда мы стали Авангардами, я все равно остался Граней, Авангард-Граня. Дома, конечно.

— Понятно,— Люба кивнула,— скажите, пожалуйста,— лицо ее стало хитрым-хитрым,— а как нашего зовут?

— Авангард! — крикнул Авангард и даже по столу хлопнул так, что бывший Евграф смутился.

— Вот дурак! — сказала в сердцах Любовь Петровна, но провожать поехала все равно — сперва одного Авангарда на Ленинградский, а потом своего — на Курский.

И когда Авангард отнес чемодан в купе и плащ с пиджаком тоже и стоял перед Любовью Петровной, как приехал в столицу для борьбы, в ковбойке и соломенной шляпе, только галстук был, потому что на вокзале, где поезда дальнего следования, всегда торжественно в мирное время, особенно если билет у тебя есть, поняла Любовь Петровна, что видит Авангарда Краснознаменского в последний раз, и нездешний свет полыхнул по худому лицу навсегда отъезжавшего Авангарда — это дернулись вагоны, Авангард вскочил на подножку, и Люба пошла, торопясь, рядом с начинающими свой многодневный путь колесами, а еще совсем близкий Авангард, нелепо высовываясь из-за плеча недовольной проводницы, тревожился:

— Осторожно, Люба! Не споткнись, Люба! — А потом странно морща губы: — До свидания, Люба!

А поезд набирал ход, увозя навсегда Авангарда Краснознаменского, и тогда наконец, совсем наконец догадалась Любовь Петровна, догадалась, а может, вспомнила, с запоздалым прозрением крикнула:

— Прощай, Ваня!

И по тому, как Авангард зачем-то снял шляпу и махнул рукой: мол, что там, или вот, бабы, но все равно стало понятно, что догадалась. Иван. А фамилия? Фамилия, как у Любовь Петровны, они ведь родственники по мужу — Шумаковы они.

## Евгений Попов

### ВО ВРЕМЕНА МОЕЙ МОЛОДОСТИ

Совершенно пишу. Хорошо пишу. Совершенно разучившись писать, пишу. Не нравится — не читай, говорю. Потому что типический, можно сказать, идиот конца 70-х ХХ. В мыслях — сумятица, жуки и насекомые, пару много — ходу нет. Но коли все с катушек поехало, как на ногах удержаться? Устанешь торчать: эти ТАМ маршируют, поп по ТВ кается, зачем-де я был, из капала Москва — Волга выпырнешь — на голове презерватив. А ведь во времена моей молодости,

когда я совсем молодым человеком был  
и торговать картошкой сильно любил,  
стоила она 2 рубля ведро,  
большое, хоть и одно.

Ведро не маленькое, а большое отнюдь,  
так я начинал свой жизненный путь.

С облупившейся эмалью, большое, высокое, зеленое оно  
стоило 2 (два) рубля ведро одно.

Насыпал картошку с верхом, а иногда

приходилось отдавать покупателям и за (1,5) полтора.

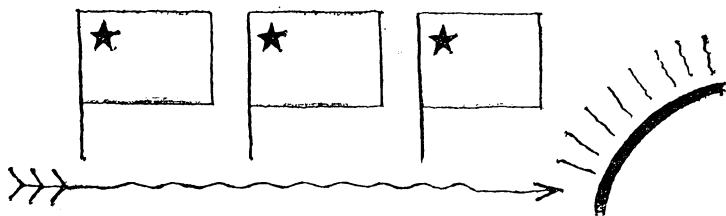
Зато вчера я купил у опрятной старухи из деревни Шишкин Лес 21 килограмм картошки. На троллейбусе, на плече мешок пер, а высыпав, обнаружил, что купленное составляет те же 2 (два) ведра, но обошлись мне эти два ведра в 7 (семь!) рублей. «Почем картошка, мамаша?» — «На рупь — три, сынок». То есть за 1 рубль мне продали 3 килограмма картошки, то есть стоит нынче указанная картошка 3,5 рубля ведро, небольшое, незеленое, не очень высокое, безо всякой там эмали...

Нетрудно подсчитать, что

$$\begin{array}{r|l} 3,5 & 2 \\ \hline 2 & \hline \hline 15 & 1,75 \\ 14 & \\ \hline 10 & \\ 10 & \\ \hline 00 & \end{array}$$

**ЦЕНА КАРТОШКИ ВЫРОСЛА В 1,75 РАЗА!!!**

Очень красиво! Совершенно красиво, ежели особенно учитывать, что мы же ведь, как всем известно, успешно идем к:



А впрочем, плевать...  
Плевать на картошку...  
Чхать на нее...

Жрать ее меньше надо, а то ведь совсем, прости Господи, разнесло нас — все пузы да титьки, и у «М» и у «Ж»... Начхать... Пушай... Мы лучше это... мы лучше так — бекон, яйцо, грейпфрут, тостики с пармезаном, чашечка чудного ароматного кофе. Пепси-колой новороссийской запьем, авось и выкарабкаемся из положения...

Плевать... И на пепси плевать, и на то, что 1,75. Потому что какая в принципе разница 3,5 руб. или 2 руб., когда все с катушек поехало, да и я ведь — не «новый роман» пишу, а взялся рассказать вам о сладких временах моей молодости, когда, когда... тогда...

Вот.

Взялся рассказывать...

А раз взялся, то сейчас, стало быть, и начну — завою, заную, запою, заховаю...

— О, молодость моя! О, чистота! Молодость! Дряхлая молодость шестидесятих наших годов! И как тогда все было хорошо, как раньше все было прекрасно! Мясо стоило 1 руб. 40 коп. килограмм. В магазинах продавали свиную вареную колбасу, говядину, крабов и китайские мандарины. Камбала не помещалась на сковородке. Ярко светило солнце.

Идешь, бывало, по улице, а все одеты плохо. Пиджаки, платья, пальто, штаны перелицованы, ботинки худые, а то и сапоги на ногах сплошь дырявые. Но — старики глядят орлами, но — молодежь шутит, смеется, танцует фокстрот «Инесс», потому что в Москве состоялся мирный фестиваль молодежи и студентов, играла музыка, приехали негры. Американская также имела выставку, где присутствовал и абстракционизм. Да... эта молодость... братство... пытливые умы... физики, лирики, рок-н-ролл «на костях», Академгородок, спутник, Лужники, Евтушенко Е. А.

Не согласен я с таким названием «оттепель».

Это все-таки весна, хоть очень ранняя.

И не зря врагов берет сегодня оторопь...

И т. д. (цитирую по ослабевшей памяти).



ТО ЕСТЬ:

ВО ВРЕМЕНА МОЕЙ МОЛОДОСТИ  
ВСЕ БЫЛО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ СЕЙЧАС.

1. Какне люди были! Они придумали экономическую реформу, чтобы совершенно поднять промышленность!.. Рассказывались народные анекдоты, пелись частушки:

Полюбила я... (фамилия),  
Выйду замуж за него.  
Но боюсь, что вместо... (неприличное слово),  
Кукуруза у него.

2. Показывали фильм, где плясали отрицательные персонажи «бравые ребята — сорняки», а Кукуруза была совершенно сексапильная красавица... Прекрасная!.. Эх!.. Надежды какие... какие планы! Терешкова, Ландау, Мамай (Николай, знатный шахтер)...

ГИПОТЕЗА:

А все потому, что — молодость, молодость. Потому что из лагерей пришли. Их вернули. И вообще — все тогда было гораздо проще. Поэтам, писателям, например, совершенно не требовалось врать. Потому что из лагерей пришли. Их вернули. А раз так, то и дальше все как по маслу пойдет:

И вечно будет тут Москва 17-го,  
И не будет тут Москвы 37-го.  
Евтушенко Е. А. (неточно)

СЛЕДОВАТЕЛЬНО:

Зачем же тогда, товарищи, спрашивается, врать и изворачиваться, если «не будет»? Пиши, что было, пиши, что есть, пиши правду, только правду, ничего, кроме правды, — что честных коммунистов Сталин с Берией сажали, суки! А сейчас честные коммунисты возвращаются домой и Веры, представь себе, не потеряли, потому что «не будет», потому что Партия смело и честно сказала народу всю правду об имевшихся в прошлом отдельных ошибках, связанных с культом личности И. В. Сталина, когда честных, целиком преданных Партии коммунистов, людей с богатым революционным прошлым, людей, которые своими руками создали эту Советскую власть, Сталин с Берией — хватя за шкуру и на Колыму, где минус шестьдесят, или на Печору, где минус пятьдесят пять. Нехорошо! Стыдно! Преступно! Но они, представьте себе, все равно там на ледяных нарах *верили*, создавали подпольные коммунистические ячейки, стронились проклятых власовцев да недорезанных троцкистов. А уж после XX съезда, когда Партия смело и честно возвратила их из лагерей и они снова получили свои старые партбилеты, — зачем тебе тут-то, писатель, врать, умалчивать или приспособливаться? Пиши, как есть, ничего не скрывая, смело, честно! Даже можно и конфликт какой-ни-

будь пустить. ПРИМЕР: засевшие еще кое-где «наследники Сталина» не хотят честному коммунисту восстановить прерванный партийный стаж, но внезапно выясняется, что один из «наследников» бывший «доносчик», и он не может смело и честно глядеть в глаза своим детям, физикам, после чего его куда-то гонят, а истцу восстанавливают партстаж, дают хорошую пенсию и квартиру в «десяти минутах ходьбы от метро».

Пиши, как есть, пиши, что хочешь, только не обобщай да краски не сгущай, тем более что атмосфера — здоровая, настроение — чудесное, парни и девушки едут в Сибирь, на целину и —

**ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ НЕОДНОКРАТНО.**

— Вы куда, ребята?

— Мы едем в город К., стоящий на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан! Ура! Ура! Загородим реку громадной плотиной, и будет для страны дешевая электроэнергия, которая осветит все ее отдаленные углы. Идем на «вы», река Е.!

— Здорово! А вы куда, ребята?

— А мы едем на целину. Ура! Ура! Ой, ты, дорога длинная, здравствуй, земля целинная! Соберем стопудовый урожай!

— Здорово! Мы тоже были такими же. Мы взяли Перекоп, разгромили банды Антонова и провели сплошную коллективизацию, уничтожив кулака как класс. Наш паровоз, вперед, вперед лети!

— Но ведь были же и отдельные недостатки?

— Верно, были, но не на них нужно фиксироваться, ведь Партия уже сказала об этом всю правду. Мы с товарищем, например, отсидели на двоих 49 лет, но все равно во все верим!

— Здорово! Мы восхищены вами, мы хотим учиться у вас твердости, мужеству и выдержке! Мы хотим быть такими же, как вы, мы будем достойны славы отцов!..

(Эх, как раньше в поезде было уютно! Едешь куда-нибудь по железной дороге, и ласково глядит сосед, и улыбнется проводник в черном, наглухо кителе. Пол чисто подметен, угощает проводник три раза в сутки чаем, сам строгий, но добрый. Перронные билеты продавали, 20 копеек (старыми). Как хорошо — в мягком едет генерал, в плацкартном — студенческая молодежь, в купейном — инженер. В общем вагоне тоже кто-нибудь едет. Китайский термос. Гитара. Песня. Робкий поцелуй. Хорошо! Хорошо!

**ВЫВОД:**

Раньше было хорошо ВСЕ!

В — С — Ё!!

**ЧЕГО НИ КОСНИСЬ!!!**

(и рождение, и свадьба, и смерть, и пицца, и воздух, и лицо, и душа, и мысли — все...)

Раньше все было хорошо. Лишь один я был плох.

(Плох, мерзок, отвратителен, туп, ныть, выть, петь, ехать, уменьшить суммарное количество зла, ничтожная песчинка, катарсис, очиститься, катарсис...)

КАТАРСИС:

...Мой товарищ, Александр Эдуардович М., закончив как и я, Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, жил в Москве, а я жил в городе К., но полгода работал в Мурманске на шахте, чего там делал — не помню, катался в июне на лыжах, лыжу сломал, взяла с меня стерва прокатчица штраф за две лыжи, я был тогда старшим научным сотрудником, выполнил объем своих научных исследований, собрался ехать в город К., летя через Москву...

А в Мурманске том, следует заметить, население, может, и не очень большое, но летом все жители скопом едут в отпуск на юг. И с шахт, и с рудников, и с островов всяких, не знаю, как их там и называть — Шпицбергенов или еще как. Короче, не продохнуть в июне в мурманском аэропорту, что расположен в полутора часах езды от города, и улететь куда-либо совершенно невозможно.

Полдня стоял притиснутый, а билетов все нет и нет, а рейсы все уходят и уходят, о чем я и сказал товарищу (Саше) по междугородному телефону, когда вышел перерыв в этих самых рейсах или когда уж совершенно бессмысленно стоять стало, не помню совершенно...

Не помню...

Сказал, трубочку положил и, вздохнув, задумался о жизни своей — зачем она такая глупая. Деньги есть, я есть, самолет есть, все есть, а улететь никак невозможно.

(А перед этим был и на железнодорожном вокзале. Там один какой-то пришел в камеру хранения чемодан получать, но, когда его попросили назвать фамилию, быстро повернулся и шустро побежал, потому что он был вор и вещевой жетон украл у честного человека.)

Однако на поезде и подавно не уедешь. Поездов мало, мест в них быть не может. Да и если уж оказался в аэропорту, где самолеты и Москва под носом, то ведь очень обидно возвращаться назад в такую же неизвестность, но только железнодорожную...)

Глупо, но вспомнил, что пошляк со мной в очереди стоял. Золотозубый, дыша луком и хрустя деньгами. После чего говорит: надо лететь по «стеклянному билету», то бишь вооружиться двумя бутылками коньяку и шуровать, штурмовать трап!

«Стеклоанный билет», сказал, а самого уже и нету. И стало быть, уже улетел пошляк тот золотозубый, мещанин. (С мещанством тогда успешнее боролись.)

И тут — самолет из Москвы. И тут — я полез в самолетное брюхо, якобы там чего-то я забыл, а сам и говорю тихонько стюардессе:

— Девушка, возьмите до Москвы, совсем мурманский аэропорт заколебал, сутки ошиваюсь, командировочный, кандидатскую пишу...

— Прочь подите, прочь,— заволновалась красавица, со страхом глядя на меня, но я был унижен, согбен, и черты ее жесткого, вульгарного лица вдруг оттаяли, помягчели, она затащила меня в самолетный перед и внятно сказала:

— Командира дождись.

— Вот...— я протянул ей десять рублей.

— Да,— она положила деньги в форменный кармашек и исчезла.

И все исчезли. Я сидел на складном алюминиевом стульчике один, мог лететь в Швецию, Норвегию, глядел в окошко, где ничего не было видно, кроме реденького северного леса и заполярной зелени.

Пришли летчики. С маленькими новыми чемоданчиками. Двое избегали на меня смотреть, третий обратился:

— Сидишь?

— Сажу,— ответил я, чуя в нем командира.

— Иди билет бери,— сказал он, испытующе на меня глядя.

— Нету билетов, нету,— волновался я.— Командировочный. Билет есть обратный казенный, но он по безналичному расчету и даты вылета нету, что ими в кассе приравнивается, будто у меня совсем нету билета. Я там стюардессе дал,— понизил я голос.

— Дал-взял,— фыркнул летчик и научил:— Дату сам поставишь в своей липе и номер рейса поставь, у нас контролеры бывают.

— А штамп, печать? — испугался я.

— Штамп еще ему,— сумрачно ответил командир и скрылся за пластмассовой дверью.

Они везли меня — зачем? Стюардесса принесла мне журнал «Польша» и карамельку — почему? Да потому и затем, что были они хорошие люди, и все вокруг было хорошо, а я один был подлец, мерзавец и скотина, несмотря на юный свой возраст. Я любовался карельскими синими озерами, вспыхивающими в иллюминаторе, сосал конфетку и читал «Польшу», где было написано про свободу, я все помню.

Вот уж и Москва оказалась. Летчики ушли, на меня внимания совершенно не обращая. Чинно двигались пассажиры. Я остановился близ стюардессы и с чувством сказал ей:

— Спасибо!..

— Пожалуйста,— равнодушно ответила мне красавица, и длинные ресницы ее не дрогнули.

Что это? Почему не содрали с меня рублей по крайней мере двадцать — двадцать пять? Может, забыли про меня? Или каждый из них думал, что я с другим расчеты веду?

Или... или чистые и честные они оказались люди, а я был негодяй и паршивец, изуверившийся, несмотря на юный свой возраст? Изувер...

Весь недоумение, я кликнул такси, которого не было. Однако тут же случился молодой человек в старом «Москвиче». Он отвернул дверцу и спросил:

— Вам куда?

— Здесь, близко, Юго-Запад,— сказал я. (Место начала трагедии — аэропорт Внуково).

— Я вас подвезу,— молодой человек тронул руль, я сел, где все было латано-перелатано, мотано-перемотано, приклеено, переклеено, но оборудовано все чистейше, аккуратно, и сразу становилось видно, как владелец любит свою машину, как он любит машины вообще.

— Хотите послушать музыку? — любезно предложил водитель.

— Хочу. Вы позволите мне у вас в машине закурить? — спросил я, потому что был подлецом.

— Пожалуйста, курите,— разрешил он, потому что был хорошим человеком.— Пепельница вмонтирована в подлокотник кресла.

Вскоре и приехали по полуночной Москве. Он подвез меня к самому указанному подъезду, и тут я ощутил стыдную неловкость, подумав, а предлагать ли мне или не предлагать ему деньги, ибо мерзок я был и не знал тогда, как достается человеку, едущему на машине, его трудовая копейка. Но все же решил я предлагать и, выйдя из машины, дал ему полтора (1,5) рубля.

— Не слишком ли вы на мне сэкономили? — устало и печально спросил молодой человек.

Сердце мое сжалось, ибо рядом в кармане лежала у меня и пятерка (5 руб.), а трешки (3 руб.) не было. Пятерки было много и трешки — тоже, но трешка годилась, ведь на рубль он меня обслужил — музыку крутил, курить давал. Полтора рубля было мало, а пятерку я дать не мог. Схватил бы он мою пятерку, никогда б я ее не увидел, свою пятерку, а на пятерку в те времена можно было купить живого гуся.

— Не слишком,— грубо ответил я.— Каждую неделю езжу и всегда так плачу. Тут столько стоит. Тут пятнадцать километров, по гривеннику за километр.

Молодой человек тихо посмотрел на меня и тоскливо уехал, навсегда оставшись в моем сердце в качестве укора, ибо прошло с тех пор уже около пятнадцати лет, я совершенно изменился, но до сих пор помню эту напряженную и постыдную сцену, как ехал грустный молодой человек, не получивший имеющиеся у меня 5 рублей, хотя вполне мог бы их получить и положить на сберкнижку, будь я добрее, раскованней или пьянее. Мразь я!.. Паук!..

Я поднимался в лифте. Было полночь.

(Представляю, какую ненависть вызвал я у молодого человека. Ведь он наверняка принадлежал тогда к совершенно иному кругу знакомств, другие книги читал, слушал другие пластинки, быть может, водился даже с какими-нибудь известностями, рассказывал им ночью, выпивая, о повстречавшемся пошляке, жлобе жадном, конформисте тупоголовом, мешанине...)

Било полночь. Одно утешение, что он наверняка стал *хуже* за истекшее время, а я, возможно, стал *лучше*; быть может, мы уже сравнялись в благородстве: он денудировал, я возвысился, и мы идем с ним теперь в вечность ноздря к ноздре; быть может, я даже стал и *благороднее* его, а он пынче уже совсем *подлее* меня, хотя не исключено, что *относительно* я все же еще *мерзее* его. И во всяком случае, я думаю, что парень не пропал, купил «Жигули», построил дачу (оглянься в задумчивости — сколько вокруг красивых «Жигулей», сколько вокруг высоких дач!), а скорее всего, он уже давным-давно в Штатах, уж больно он был печальный. Он в Штатах, и я тоже приложил руку к этому ординарному факту эмиграции, не угостив молодчика своей пятеркой. А вообще-то, и ну его к свиньям, этого типа, и правильно я сделал, что дал ему полтора рубля — у меня что, деньги лишние? — он теперь на Брайтон-Бич посуду моет, а я его тут вспоминай, мучайся, кайся, очищайся, в конторе служи, в очереди стой...

Да на кой он мне нужен, этот рвач? Не пошел бы он к черту?!

Я, конечно, никуда не поеду, некуда мне ехать из своего дома, но вообще — не пошло бы это все к черту: «Жигули», Брайтон-Бич, посуда, пятерка денег, художественное творчество, фирменная котлета «ЦДЛ»?

Хватит суетиться и хватит мечтать! Дедушка у меня был простой русский поп, папаша — простой советский работник органов. Я ничего о нем не могу сказать. Он умер слишком рано, чтобы что-то сказать мне. Вот и разберись тут попробуй!

Да-с! Русский поп о. Евгений и советский работник органов, мой папаша Анатолий, отказавшийся от своего папаша, моего дедушки. Времена, знаете ли, такие были, мля, дедушка *помер* в 1918 году, здоровенный пятидесятилетний русский поп неизвестно от чего умирает в разгар гражданской войны, а папаша, естественно, этот факт в последующих анкетах скрывает, фигурируя, естественно, сиротой и приемным сыном работника Губнаробраза, времена-то...

ГОЛОС СВЕРХУ: ...сами знаете, какие!

Да-с! Вот так-с! И я ничего не могу о нем сказать. Он пил. Ходил «на работу». Дома никого не мучил. Посмотрите на фотографию — он сидит в клетчатой рубашке на диване, играет с котенком, и выражение лица у него, искренне говоря, добрейшее. А *до этого* он был профессиональным фут-

болистом (времена, знаете ли... полюбился временам футбол да хоккей...) в команде конечно же «Динамо».

1936 год. Групповая фотография — в бутсах, майках с буквой «Д» на груди: Костя Зыков, Ваня Маевский, Гунька Цыбин, папаша и другие.

1959 год. Хотели повысить в звании, но, опившись, потерял партийный билет. Коньяк, говорит, меня сгубил — надо было, как раньше, водку пить, тогда бы и не потерял я, говорит, то, что до слез дорого сердцу каждого честного коммуниста... (и *удостоверение*, и ключи от сейфа, заметим в скобках, а курсив — наш...). Играл, играл и доигрался. Я ничего о нем не могу сказать. Он умер слишком рано, чтобы что-то сказать мне. Он умер, когда мне было пятнадцать лет, и я никогда больше о нем ничего не узнаю. Ехал в командировку, доехал до вокзала и умер. Вот и разберись тут попробуй!..

...Било полночь. Я позвонил в звонок.

— Кто? — спросил Саша.

Я молчал.

— Кто там, кто там, кто там? — повторял и повторял Саша, отпирая двери.

А увидевши меня, в ужасе отшатнулся. Ибо еще совсем недавно я говорил ему из Мурманска, что не могу прилететь и буду только завтра, а он весь вечер читал толстую кретинскую книгу Карла дю Преля «Философия мистики», которую велела ему читать его идиотка подруга, с которой он тогда «жил».

— Ты что испугался-то? — испугался я.

Сашу трясло.

— Ты говорил, что в Мурманске? — еле выговорил он.

— А я взял и прилетел, — подмигнул я.

— Ты так больше не шути, не шути так больше... (Прыгали губы...)

— Да что тут такого-то? — сердясь, удивился я.

— А ничего! Подлец, и все тут! — нелепо выкрикнул Саша.

П-Р-А-В!!!

— Ты что, уж сразу мне и «подлеца» совать?! — выкрикнул и я.

Надутые, мы немного постояли, друг на друга глядя, а потом сели выпивать. Отец Сашин в давние годы поймал Колчака, учился в Институте Красной профессуры, строил Норильск, а в указанный период моей молодости умирал от рака. Сам Саша после смерти отца сильно пил, тусовался с мистической дурой, читал Бердяева и сидел в дурдоме. Сейчас он вполне положительный персонаж эпохи. Расставшись с ошибками молодости, женился, завел трюх детей и купил за 8 тысяч летний домик под городом Малоярославцем Калужской области. Мистическая дура стреляла в него, а потом вышла замуж за шведа и уехала туда, где русские

люди моют посуду. Сейчас она работает на радиостанции «Голос Родины». Я тоже с ней «жил». Аверочкин по спору себе палец топором отрубил в 1956 году. Теперь его зовут Вадим Николаевич. Он служит гипом, главным инженером проекта, помогает братской стране разрабатывать ее богатства и недавно рассказал мне, что современная технология научилась высасывать кофеин прямо из кофейных мешков, так что всякий кофе, который мы покупаем в магазине,— дерьмо. Лена Зайцева закончила Станкин. В девятом классе она декламировала со сцены: «Это внучка старой большевички, синие задорные глаза. За простую девушку-москвичку все собранье голосует «за!»» Ее любил однокурсник-белорус, а она его — нет, о чем мне говорила. Она вышла замуж за белоруса. Теперь у них двое очаровательных малышей, старшего уже в пионеры приняли. Николайчук издавал в 1960 году самиздатский журнал «Свежесть», за что был исключен из университета, но потом его восстановили. Он строил фанерный комбинат и прошел путь от молодого специалиста до главного инженера этого уникального предприятия. Ныне — ответственный партийный работник по линии фанеры. Похлопаем Николайчуку, он нашел свое место в жизни. А вот Молев, разбежавшись на 16-м этаже, бросился в окно, и его довольно долго не могли опознать. Задорников был заика. Чтобы выговорить, он вынужден был повторять: «Вот ы ну, вот ы ну...» Сын полярного летчика (и красавица мама в крепдешине)... Для утешения поступил в Комсомольский Активный Отряд (КАО), где малолеткою снимал допрос со шпаны. «Вот ы ну,— говорил,— признаваться будем или запирайтесь?» Глава КАО получил 12 лет по случаю садизма, распутства и взяточных поборов, о чем была статья в газете, осуждавшая «примазавшихся к благородному делу охраны общественного порядка». Каовцев поразогнали. Задорников, по слухам, закончил специальное учебное заведение, нынче служит в самой грозной организации и заикаться перестал совершенно. Овладел польским, чешским и венгерским языками, а также наречием пушту (говорит и переводит со словарем). Галямов-сын никаких учебных заведений не кончал. Накурившись анаши, ходил по Центральному телеграфу и всем встречным показывал краденые американские наручники. Будучи молодым человеком, спер полевую армейскую рацию и обменял ее на пистолет ТТ. В тюрьмах сидел безвылазно, а как на секунду выйдет, тут же всех встречных зовет в ресторан или женится на продавщицах из продовольственного магазина. Кононович мальчонкой читал Кьеркегора, в возрасте 32 лет стал антисемитом, написал книгу «Динамика расы» и убил свою еврейскую жену огромным русским топором. Молодца второй год лечат в казанской спецпсихушке... Вылечат, не извольте беспокоиться. Наталья Алексеевна писала стихи Николайчуку в журнал под псевдонимом Нота Ната, это ей



один московский эстет такой псевдоним придумал. Нота Ната вдруг узнала, что Юлик, кроме того, и гомосексуалист, отчего ей пришлось выйти замуж за офицера Козлобородова. Козлобородов построил четырехкомнатный кооператив в Вешняках и в мае 1980 года погиб, «выполняя свой интернациональный долг». Рыдали у цинкового гроба... Уж выросла приемная дочка Козлобородова, Катя, уж заневестилась, озорница. Художник Слава Лучников изобрел новое течение в живописи под названием «лучизм», но выяснилось, что лучизм уже изобрели раньше. Тогда Слава не растерялся и научился делать экстерьерную мозаику «Родина зовет молодежь». Страшно разбогател, живет припеваючи. Мать у него малограмотная. Он был во Вьетнаме.

Поэт Беничамский служит сторожем в бывшей Олимпийской деревне. Он умеет читать и писать по-гречески. Эдуард Прусонов стал лауреатом премии имени Ленинского комсомола. Каблуковский теперь далеко. Лещева приняли в Союз писателей, а меня, напротив, оттуда выперли. Я раньше тоже очень сильно заикался, еще хуже Задорникова, но потом вылезился, принимая в геологических экспедициях громадные дозы водки, и не только вылезился, а чересчур даже стал болтлив, что меня и погубило (или погубит...).

О поколение!.. О молодость моя!.. О времена, когда премьер в украинской вышитой рубашке бросал в толпу пряники, конфеты и медные деньги!.. О, годы, о, времена, когда я картошкой торговал, работал на комбайновом заводе, учился в школе, в институте, ходил на занятия литобъединения «Кедровник» при газете «Вперед», летал в Мурманск, пил водку, уважал девушек, считал на логарифмической линейке, читал журнал «Юность», жег в лесу костры и клялся с Николайчуком над скальным обрывом «сохранить все это»!.. О, молодость моя! О, молодость наша!.. Детей, внуков и правнуков той героической эпохи!..

Хочу и плачу! Начал — веселясь, а теперь вот — плачу... Плачу... Плачу...

Но Москва слезам не верит и правильно делает, что не верит, эта строгая Москва. Ибо нет в мире невиноватых. Выжил — значит, подлец. Жив — значит, виноват. А перед кем — не знаю, не знаю, не знаю. Ибо сам своей вины не чувствую. Знаю, но не чувствую. Следовательно, я и раньше плох был, а теперь еще хуже стал.

И хватить ныть, и хватить нюнить. Раньше времена были хорошие, а теперь совершенно лучше стали. Ибо на месте ничего не стоит, все движется, движется, уходит в вечность, идет за горизонт. Все движется, лишь ты один стоишь. Стоишь повесивши голову и гадаешь, есть ли что еще вокруг тебя или ты уже совсем остался один.

ТЫ (вспоминая). Не слишком ли вы на мне сэкономили?  
ГОЛОС СВЕРХУ (грубо). Не слишком! Не боись!

ТЫ (*устало и печально*). Да я и не боюсь особенно-то... (*Спохватившись, затягиваешь.*) Подлец я, подлец!.. Подлец я, подлец!.. А все остальные граждане Страны Советов — хорошие...

ГОЛОС СВЕРХУ (*удовлетворенно*). Правильно, товарищи...

Жесткая жизнь, жестокая жизнь! Хотя б чуть-чуть была помягче, подороже... Я был бы очень рад. Я был бы настолько рад, что вы б меня б и не узнали б! Я б совсем стал другой человек, совершенно. Встретили бы вы меня и не узнали. Я вам: «Здрасьте!», а вы меня не узнаете — такой бы я стал другой человек,

Поздно. Рассказ окончен,

## Дмитрий Александрович Пригов

\* \* \*

Народ он делится на ненарод  
И на народ в буквальном смысле  
Кто ненарод — не то чтобы урод  
Но он — ублюдок, в высшем смысле

А кто народ — не то, чтобы народ  
Но он народа выраженье  
Что не укажешь точно — вот народ  
Но скажешь точно: есть народ! И точка

\* \* \*

Народ с одной понятен стороны  
С другой же стороны он непонятен  
И все зависит от того, с какой зайдешь ты стороны —  
С той, что понятен он, иль с той, что непонятен

А ты ему с любой понятен стороны  
Или с любой ему ты непонятен  
Ты окружен, и у тебя нет стороны  
Чтобы понятен был, с другой же — непонятен

\* \* \*

Когда здесь на посту стоит Милицанер  
Ему до Внукова простор весь открывается  
На Запад и Восток глядит Милицанер —  
И пустота за ними открывается  
И центр, где стоит Милицанер —  
Взгляд на него отвсюду открывается  
Отвсюду виден Милиционер  
С Востока виден Милиционер  
И с Юга виден Милиционер  
И с моря виден Милиционер  
И с неба виден Милиционер  
И с-под земли...

Да он и не скрывается

\* \* \*

В буфете дома литераторов  
Пьет пиво Милиционер  
Пьет на обычный свой манер  
Не видя даже литераторов

Они же смотрят на него  
Вокруг него светло и пусто  
И все их разные искусства  
При нем не значат ничего

Он представляет собой Жизнь  
Явившуюся в форме Долга  
Жизнь — кратка, а Искусство — долго  
И в схватке побеждает Жизнь

\* \* \*

Вот избран новый Президент  
Соединенных Штатов  
Поруган старый Президент  
Соединенных Штатов

А нам-то что? — ну, Президент  
Ну, Съединенных Штатов  
А интересно все ж — Президент,  
Соединенных Штатов

\* \* \*

Петр Первый как злодей  
Своего сыночечка  
Посреди России всей  
Мучил что есть мочи сам

Тот терпел, терпел, терпел  
И в краю березовом  
Через двести страшных лет  
Павликом Морозовым  
Отмстил

\* \* \*

Вот пионер поймал врага  
А тот убил ребенка бедного  
И бросил неживого под ноги

И все-таки, и все-таки, и все-таки  
И все-таки, и все-таки  
И все-таки  
И все-  
Таки —  
Как жизнь у нас не дорога

\* \* \*

Чем больше Родину мы любим —  
Тем меньше нравимся мы ей!  
Так я сказал в один из дней  
И до сих пор не передумал

\* \* \*

Он в юности был идиотом  
И к старости умней не стал  
Но в чем-то он мудрее стал  
И прозорливее стал в чем-то

Он юношеству стал пример  
Работы жизни кропотливой  
А умные — среди них счастливый  
Отыщешь, сыщешь ли пример?!  
Их и самих уже не сыщешь

\* \* \*

Ревлюцонная казачка  
Подковала мне коня  
Ну а после многозначно  
Посмотрела на меня

Полетел я в бой кровавый  
И там голову сложил  
А потом с посмертной славой  
Прямо к ней повернул

Возвышаясь на сиденье  
Обомлелого коня  
Я въезжаю в поселенье  
Но не видно им меня

А она вдруг увидала  
Из ушей вдруг кровь пошла

После мертвою упала  
После встала, подошла

Поднимает кверху око  
Оно пусто и дрожит  
Говорит: Здесь недалеко  
Едем вместе, будем жить

\* \* \*

Выходит слесарь в зимний двор  
Глядит: а двор уже весенний  
Вот так же, как и он теперь —  
Был школьник, а теперь он — слесарь

А дальше больше — дальше смерть  
А перед тем — преклонный возраст  
А перед тем, а перед тем  
А перед тем — как есть он, слесарь

\* \* \*

Женщина плавает в синей воде  
Гладкою кожей на солнце сверкая  
Ведь человек! — а как рыба какая  
Неуловимая в синей воде

Но подберется когда не спеша  
Ужас какой или пакость какая —  
Вот уже только глазами сверкает!  
Только безумие! Только душа!

\* \* \*

В синем воздухе вечернем  
Солнце ласкотало тени  
Сын с улыбкою дочерней  
Примостился на колени

Эка ласковость в природе  
Словно предопределенье  
Но зато замест в народе  
Эка сила разделенья  
Страшная

\* \* \*

Килограмм салата рыбного  
В кулинарьи приобрел  
В этом ничего обидного:  
Приобрел — и приобрел  
Сам немножечко поел  
Сына единоутробного  
Этим делом накормил

И уселись у окошка  
У прозрачного стекла  
Словно две мужские кошки  
Чтобы жизнь внизу текла

\* \* \*

На счетчике своем я цифру обнаружил  
Откуда непонятная взялась?  
Какая мне ее прислала власть?  
Откуда выплыла внаружу?  
Каких полей? какая птица?  
Вот я живу, немногого хочу  
Исправно вроде по счетам плачу  
А тут такое выплывет — что и не расплатиться  
Вовек

\* \* \*

Чуден Днепр в погоду ясную  
Кто с вершин Москвы глядит —  
Птица не перелетит!  
Спи родная! спи прекрасная!  
Я, недремлющий в ночи,  
За тебя перелечу  
Все, что надо

\* \* \*

Что-то воздух какой-то кривой  
Так вот выйдешь в одном направленьи  
А уходишь в другом направленьи  
Да и не возвратишься домой  
А, бывает, вернешься — Бог мой  
Что-то дом уж какой-то кривой  
И в каком-то другом направленьи  
Направлен

\* \* \*

О, как давно все это было  
Как я в матросочке своей  
Скакал младенцем меж людей  
И сверху солнышко светило

А щас прохожих за рукав  
Хватаю: Помните ли, гады  
Как я в матросочке нарядной  
Скакал?! ведь было же! ведь правда! —  
Не помнят

\* \* \*

Вот придет водопроводчик  
И испортит унитаэ  
Газовщик испортит газ  
Электричество — электрик

Запалит пожар пожарник  
Подлость сделает курьер  
Но придет Милицанер  
Скажет им: не баловаться!

\* \* \*

Вот спит в метро Милицанер  
И вроде бы совсем отсутствует  
Но что-то в нем незримо бодрствует —  
То, что в нем есть Милицанер

И, слова тут не пророня  
Все понимают, что так надо  
Раз спит Милицанер — так надо!  
То форма бодрствования  
Такая

\* \* \*

Вот на девочку Пожарный налетел  
Дышит он огнем, глаза сверкают  
Обвязал ее и не пускает  
Душит средь своих горячих тел

Но Милицанер тут подскакал  
С девочки Пожарного сгоняет



И назад в пещеру загоняет  
Не страшит его тройной оскал

И у входа у пещеры сам  
На посту стоит он неотлучно  
А у девочки родился сын —  
Морячок лихой, Голландц Летучий

\* \* \*

Вашингтон он покинул  
Ушел воевать  
Чтоб землю в Гренаде  
Американцам отдать

И видел: над Кубой  
Всходила луна  
И бородатые губы  
Шептали: Хрена  
Вам

\* \* \*

Я женщин не люблю, хотя вот  
Мне плутни их порой милы  
То Фурцева министром станет  
То Тэтчер — лидером страны

А то бегут, бегут — куда вы?  
Раскрепощенные? куда? —  
А мы как у Акутагавы!  
Читал Расёмон? — вот туда

\* \* \*

Когда один в виде Небесной Силы  
Иосиф Сталин над страной летал  
То кто бы его снизу подстрелил?  
Против небесных снизу нету силы  
Но все-таки его сверху подстрелили —  
Не ушел

\* \* \*

Вот Достоевский Пушкинна признал:  
Лети-ка пташка в наш-ка окоем



\* \* \*

Ах, кабы не было бы снега  
Ветер бы не завывал  
И всяк виновный, как Сенека  
Добровольно б умирал  
В теплой ванне, чистый — гордый —  
Господи, вот был бы город  
Райский!

\* \* \*

Течет красавица Ока  
Среди красавицы Калуги  
Народ-красавец ноги-руки  
Под солнцем греет здесь с утра

Днем на работу он уходит  
К красавцу черному станку  
А к вечеру опять приходит  
Жить на красавицу Оку

И это есть, быть может, кстати  
Та красота, что через год  
Иль через два, но в результате  
Всю землю красотой спасет

\* \* \*

Я в Малый захожу театр  
И нету в Малом мне отрады  
Я выхожу тогда, а рядом —  
Такой же, но Большой театр

Кто их в соседстве поместил  
А не раздвинул верст на двести?  
В одном бы поместил злодейства  
В другом бы радость поместил

И каждый по себе театр  
Там выбрал бы иль заслужил бы  
Один бы шел в большой театр  
Другой бы в малом тихо жил бы

\* \* \*

Как некий волк свирепый и худой  
Бюрократизм который выгрызает

Гляжу на справочку — но Боже мой!  
Вот из нее росточек выползает  
Смеется, плачет, ручками плескает  
И к солнцу тянется, и всякое такое —  
Ведь как убить живое!  
Хотя и волк  
Конечно

\* \* \*

Ярко-красною зимою  
Густой кровью залитою  
Выезжал Иван Васильич  
Подмосковный государь  
А навстречу подлый люд  
Над царем давай смеяться  
Что плешивый и горбатый  
Да весь оспой исковеркан  
Два царевых человека  
Ой, Малюта да Скурата  
Два огромные медведя  
Из-за детской из-за спинки  
Государя выходили  
На кусочки всех порвали  
На лохмотья, на прожилки  
И лежит чиста — морозна  
Ярко-красная дорога  
На столицу на Москву

\* \* \*

В железном бункере своем  
С какой-то норной тварью схожий  
С экземою покрытой кожей  
Сидел он с Евою вдвоем —  
Германский рухнувший Адам  
И изгнанный уже из рая  
Он говорил ей: Дорогая  
Сейчас вот яду тебе дам  
И мы пойдем в поту кровавом  
Возделывать поля небес  
Кто нас возьмет — не знаю, право  
Возможно, Бог, возможно, Бес  
На этот труд кровавый, без  
Гарантий

\* \* \*

Моего тела тварь невидная  
Тихонько плачет в уголке  
Вот я беру ее невинную  
Держу в карающей руке

И с доброй говорю улыбкой:  
Живи, мой маленький сурок  
Вот я тебе всевышний Бог  
На время этой жизни краткой  
Смирись!

\* \* \*

Вот мой мизинец болевает  
В нем кость живет — себе хозяйка  
Туда-сюда пройдетя зябко  
А то поднимет страшный вой:  
Я не хочу на свете жить!  
А то вдруг явится в мундире:  
Я в армию пойду служить!  
В защиту мира!

\* \* \*

Скажем, я вот — Геродот  
Ну, понятно, скажут:  
Геродот, мол, да не тот  
И неверно скажут

Потому что Геродот  
В наше время был бы  
Геродот, да уж не тот  
А он Пригов был бы  
То есть — я.

\* \* \*

А много ли мне в жизни надо? —  
Уже и слова не скажу  
Как лейбницевская монада  
Лечу и что-то там жужжу  
Какой-нибудь другой монаде  
Она ж в ответ мне: Бога ради  
Не жужжи

## **БАНАЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ: ПОЭЗИЯ И ЗАКОН**

Я не выдумал бы Конституции  
Но зато я придумал стихи  
Ясно, что Конституция значительней  
Правда, вот и стихи неплохи

Но и правда, что все Конституции  
Сызмальства подчиняться должны  
А стихи — кто же им подчиняется?!  
Я и сам Конституции скорей  
Подчинюсь

## **БАНАЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ: РАЗУМНОСТИ ИДЕАЛОВ**

Погода в Москве к идеалу приблизилась  
А раньше была ведь весьма далека  
Была непонятлива и жестока  
Поэтому часто мы с ней препирались

А тут идеалы мои поменялись  
И сразу погода приблизилась к ним  
Вот так вот природу безжалостно мучим мы  
И мучимся сами ужасно притом

## **БАНАЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ: НА ТЕМУ: НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК**

Если скажем нет продуктов  
То чего-то есть другое  
Если скажем есть другое —  
То тогда продуктов нет

Если ж нету ничего  
Ни продуктов, ни другого  
Все равно чего-то есть —  
Ведь живем же, рассуждаем

\* \* \*

Вся жизнь исполнена опасностей  
Средь мелких повседневных частных  
Вот я на днях услышал зуммер

Я трубку взял и в то ж мгновенье  
Услышал, что я чистый гений  
Я чуть от ужаса не умер!  
Что это?

\* \* \*

Посредине мироздания  
Среди маленькой Москвы  
Я страдаю от страданья  
Сам к тому ж ничтожно мал  
Ну а если б я страдал  
Видя это или это  
То страдания предметы  
Принимали б мой размер  
Но страданьем же страданья  
Я объемлю мирозданье  
Превышая и Москву

\* \* \*

Я бросил пить, курить пытаюсь бросить  
Кофе не пью да и не ем почти  
Я воспитаю из себя для пользы  
Советский и неприхотливый Тип

Который будет жить здесь чем — незнамо  
Всех злонамеренных сводя с ума  
Которому Спартак что, что Динамо  
Которому что воля, что тюрьма

\* \* \*

Вот я курицу зажарю  
Жаловаться грех  
Да ведь я ведь и не жалюсь  
Что я — лучше всех?  
Даже совестно, нет силы  
Ведь поди ж ты, на  
Целу курицу сгубила на меня страна

\* \* \*

За тортом шел я как-то утром  
Чтоб к вечеру иметь гостей  
Но жизнь устроена так мудро —

Не только эдаких страстей  
Как торт, но и простых сластей  
И сахару не оказалось  
А там и гости не пришли  
Случайность вроде бы, казалось  
Ан нет — такие дни пришли  
К которым мы так долго шли —  
Судьба во всем здесь дышит явно

\* \* \*

Грибочки мы с тобой пожарим  
И со сметанкою съедим  
А после спать с тобою ляжем  
И крепко-накрепко поспим

А завтра поутру мы встанем  
И в лес вприпрыжку побежим  
И что найдем там — все съедим  
И с чистой совестью уедем  
в Москву

\* \* \*

Женщина в метро меня лягнула  
Ну, пихаться — там куда ни шло  
Здесь же она явно перегнула  
Палку, и все дело перешло  
В ранг ненужно личных отношений  
Я, естественно, в ответ лягнул  
Но и тут же попросил прощенья —  
Просто я как личность выше был

\* \* \*

Как много женщин нехороших  
Сбивающих нас всех с пути  
В отличие от девушек хороших  
Не миновать их и не обойти  
Куда бежать от них?! куда идти?!  
Они живут разлитые в природе  
Бывает, выйдешь прогуляться вроде —  
Они вдруг возникают на пути  
Как деревья какие



\* \* \*

Старушка в кассу денежки кладет  
Откуда денежки-то у старушки?  
Уж не работает и, видно, пьет  
Да разные там внучки и внучки  
Откуда денежки-то — ох-ох-ох!  
Неужто ли старая ворует!  
Да нет, конечно,— просто накопила их  
За долгую за жизнь за трудовую

\* \* \*

Нет прекраснее примера  
Где прекрасней он, пример  
Чем один Милицанер  
Да на другого Милицанера  
Пристрастно взирающий  
В смысле, все должно быть, брат, честно и  
в строгом соответствии с социалистической законностью!

\* \* \*

По волнам, волнам эфира  
Потерявши внешний вид  
Скотоводница Глафира  
Со страну говорит

Как живет она прекрасно  
На работе как горит  
Как ей все легко и ясно —  
Со страну говорит

А страна вдали все слышит  
Не видна, как за рекой  
Но молчит и шумно дышит  
Как огромный зверь какой

\* \* \*

Неважно, что надой записанный  
Реальному надою не ровня  
Все, что записано,— на небесах записано  
И если сбудется не через два-три дня  
То все равно когда — там сбудется  
И в высшем смысле уж сбылось  
А в низшем смысле все забудется  
Да и уже почти забылось

\* \* \*

Шостакович наш Максим  
Убежал в страну Германию  
Господи, ну что за мания  
Убегать не к нам, а к ним  
Да к тому же и в Германию  
И подумать если правильно  
То симфония отца  
Ленинградская направлена  
Против сына-подлеца  
Теперь  
Выходит,  
Что

\* \* \*

Известно нам от давних дней  
Что человек сильнее смерти  
А в наши дни уже, поверьте,—  
И жизни тоже он сильнеей

Она его блазнит и манит  
А он ей кажется голый шиш  
Его ничем не соблазнишь —  
Он нищенствует и ликует  
Поскольку всех уже сильнеей

\* \* \*

Вот новый научный закон  
Важнее закона нам нету —  
До самой далекой планеты  
Не так уж, друзья, далеко!  
И это есть духа закон  
Пусть по матерьяльным законам  
Выходит там, что далеко нам  
Но в духе нам — не далеко!

\* \* \*

О страна моя родная  
Понесла ты в эту ночь  
И не сына и не дочь  
А тяжелую утрату  
Понесла ее куда ты?

\* \* \*

Они живут, не думая  
Реакционны что  
Ну что ж, понять их можно  
А вот простить — никак

Верней — простить их можно  
А вот понять — никак:  
Ведь реакционеры  
А с легкостью живут

\* \* \*

Жизни античной цветы запоздалые —  
Ванна и жидкость при ней Бадусан  
Этим я нежился, помню и сам  
Да вот отнежился — больше не стало  
В смысле, в продаже исчез Бадусан  
Ванна сломалась, больше не стала  
Вот и стою я — цветок запоздалый  
Жизни античной — не верю и сам

\* \* \*

В Японии я б был Катулл  
А в Риме — чистым Хоккусаем  
А вот в России я тот самый  
Что вот в Японии — Катулл  
А в Риме — чистым Хоккусаем  
Был бы

\* \* \*

Вот дождь идет. Мы с тараканом  
Сидим у мокрого окна  
И вдаль глядим, где из тумана  
Встает желанная страна  
Как некий запредельный дым  
Я говорю с какой-то негой:  
Что, волосатый, улетим! —  
Я не могу, я только бегать  
Умею! —  
Ну, бегай, бегай,

\* \* \*

Я растворил окно, и вдруг  
Весь мир упал в мои объятия  
Так сразу! — даже страшно так!  
Вот — не обиделись собратья б —  
Некрасов, Рубинштейн, Орлов —  
Но им я не подам и виду  
Я с ними, как обычно, буду  
Наедине же — словно Бог  
Буду

\* \* \*

Я подошел к глазку дверному  
А там она стояла  
И на меня смотрела  
Не поднимая век  
И я вскричал: О, номмму! Номмму!  
Зачем я подошел к глазку дверному?!  
Теперь не отойти вовек

\* \* \*

Господь листает книгу жизни  
И думает: кого б это прибрать  
Все лишь слышат в небе звук железный  
И, словно мыши, по домам бежать

А Он поднимет крышу, улыбнется  
И шарит по углам рукой  
Поймает бедного — а тот дрожит и бьется  
Господь в глаза посмотрит: Бог с тобой —  
Что бьешься-то?

\* \* \*

Висит на небе ворон-птица  
А под землей лежит мертвец  
Они друг другу смотрят в лица  
Они друг друга видят сквозь  
Все, что ни есть посередине  
О ты, земля моя родная!  
Меня ты держишь здесь певцом  
Меж вороном и мертвецом

\* \* \*

Нам всем грозит свобода  
Свобода без конца  
Без выхода, без входа  
Без матери-отца

Посередине Руси  
За весь прошедший век  
И я ее страшуся  
Как честный человек

\* \* \*

Когда пройдут года и ныне дикий  
Народ забудет многие дела  
Страх обо мне пройдет по всей Руси великой —  
Ведь что писал! — Но правда ведь была!  
То, что писал  
Черт-те что писал  
И страх какой  
И правда ведь была  
И страх обо мне пройдет по всей Руси великой

## КУЛИКОВО

Вот всех я по местам расставил  
Вот этих справа я поставил  
Вот этих слева я поставил  
Всех прочих на потом оставил:  
Поляков на потом оставил  
Французов на потом оставил  
И немцев на потом оставил  
Вот ангелов своих наставил  
И сверху воронов поставил  
И прочих птиц вверх поставил  
А снизу поле предоставил  
Для битвы поле предоставил  
Его деревьями уставил  
Дубами-елями уставил  
Кустами кое-где обставил  
Травую мягкой застелил  
Букашкой мелкой населил  
Пусть будет все, как я представил  
Пусть все живут, как я заставил  
Пусть все умрут, как я заставил

Так победят сегодня русские  
Ведь неплохие парни русские  
И девки неплохие русские  
Они страдали много, русские  
Терпели ужасы нерусские  
Так победят сегодня русские

Что будет здесь, коль уж сейчас  
Земля крошится уж сейчас  
И небо пыльно уж сейчас  
Породы рушатся подземные  
И воды мечутся подземные  
И твари мечутся подземные  
И люди бегают наземные  
Туда-сюда бегут приземные  
И птицы поднялись надземные  
Все птицы-вороны надземные

А все ж татары поприятней  
И имена их поприятней  
И голоса их поприятней  
Да и повадка поприятней  
Хоть русские и поопрятней  
А все ж татары поприятней

Так пусть татары победят  
Отсюда все мне будет видно  
Татары, значит, победят  
А впрочем — завтра будет видно

## Вячеслав Пьецух

### ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

#### Действие первое: БОГ И СОЛДАТ

Весной сорок третьего года рядовой Иван Певцов возвращался в свою часть из прифронтового госпиталя, в который он попал по ранению головы. На нем была ушанка, офицерская шинель, до того, впрочем, изношенная и скукожившаяся, что в ней уже больше угадывалось от пальто, нежели от шинели, а на ногах были обмотки и коричневые американские башмаки, очень ноские, с заклепками по бокам; за плечами у него болтался так называемый сидор, похожий на желудок вконец оголодавшего человека.

Шел Певцов своим ходом, хотя до его родной части, расквартированной в то время под Капустиным Яром, дорога была неблизкая, километров так в пятьдесят. Деньки стояли тихие, пасмурные и в эту пору такие туманные, что дорога, обсаженная пирамидальными тополями, точно утонула в сильно разбавленном молоке.

Почти сразу за разбитым кирпичным заводом, в том месте, где у правой обочины был брошен немецкий штабной автобус, Певцов повстречал необычного мужика. Тот сидел на снарядном ящике и смотрел в никуда тем тупо-печальным взглядом, каким отличаются наши деревенские старики. Поскольку из-за тумана Певцов увидел его в самый последний момент, он неприятно насторожился; впрочем, нет: насторожился он главным образом потому, что внешность встречного мужика была какая-то несоветская — он был усат, бородат, длинноволос и одет в вычурный балахон из грубой материи, чуть ли не мешковины.

Певцов приостановился и строго сказал:

— Ты чего тут делаешь, гражданин?

— Какой я тебе гражданин!.. — огрызнулся встречный,

— Кто же ты в таком случае?

Встречный вздохнул и ответил:

— Бог...

Певцов почему-то, безусловно, ему поверил, а поверив, как-то яростно просиял.

— А-а! — вкрадчиво сказал он. — Ваше преподобие! Надумали-таки спуститься, изволили, так сказать, обратить внимание на наш сумасшедший дом!..

И вдруг он заорал, обводя правой рукой дорогу, разбитый завод и поле:

— Ты чего же это делаешь-то, ядрена корень?!

Бог еще раз тяжело вздохнул,

— Пять минут тому назад,— вслед за тем сказал он,— мне молилась одна старушка из Малоярославца. Знаешь, о чем она меня попросила? О том, чтобы ее соседка по квартире как-нибудь проспала на работу и ее посадили за саботаж...

— Ну и что?

— А то, что идет мировая бойня, льются Евфраты крови и Тихий океан горя расплзается по земле, а старушонка просит меня упечь соседку за саботаж...

— Ладно,— сказал Певцов.— А кто в этом виноват? Кто виноват, что в Малоярославце живет такая пакостная старушка?

— Не знаю,— честно ответил бог.

— Как это — не знаю?! — возмутился Певцов.— Кто же тогда знает, если не ты?!

С этими словами Певцов присел по соседству на колесо, плашмя лежавшее при дороге, и занялся самокруткой. Видимо, ему было все же не по себе из-за того, что он накричал на бога, и поэтому следующую фразу он произнес спокойно:

— Все-таки хитрющая ты личность, прямо сказать,— типок: ведь сам во всем виноват, а говоришь — не знаю...

— Я ни в чем не виноват,— смиренно возразил бог.— То есть я-то как раз и виноват, ибо я все-таки начало всех начал и причина всех причин, но видишь, какая штука: я создал людей такими же всемогущими, как я сам, и вот они что хотят, то и воротят!

— Так приструни эту публику, ядрена корень, возьми как-то и приструни!

— Поверишь ли — не могу... То есть могу, но только через причинно-следственные отношения, а через эти самые отношения почему-то вечно получается чепуха! Вот тебе пример: в сорок пятом году в Австрии противоестественным образом восторжествует капитализм, и произойдет это именно потому, что я возлюбил человека, как никакое другое подлунное существо.

— Это видно,— не без ехидства сказал Певцов.— Я вон года не воюю, а уже навоевал контузию и два ранения, включая ранение головы...

— Да подожди ты со своей головой! Вот я говорю, в сорок пятом году в Австрии восторжествует капитализм, и произойдет это исключительно потому, что, возлюбив человека, я наделил его такой страстью к продолжению рода, которой не знает ни одно подлунное существо.

— Это у тебя получается «в огороде бузина, а в Киеве дядька»! — сказал Певцов.

— Да нет, это просто ты бестолочь,— сказал бог.— Смотри сюда: в силу того, что я вложил в человека вчетверо больше страсти к продолжению рода против оптимальной, обеспечивающей выживаемость, Петр Никифоро-



вич Крючков, работающий контролером ОТК на заводе, где делают авиационные бомбы, приударит за штамповщицей Ивановой; это, естественно, не понравится жене Петра Никифоровича, и она однажды устроит ему жестокую нахлобучку; по этому поводу Петр Никифорович купит на толкучке бутылку водки и на следующий день выйдет на работу едва живой; из-за того, что Петр Никифорович выйдет на работу едва живой, он ненароком пропустит партию некондиционных взрывателей, в результате советская авиация не добомбит венскую группировку противника, и западные союзники продвинутся много дальше, чем этого требуют интересы царства божьего на земле. Вот поэтому-то в Австрии восторжествует капитализм.

Где-то поблизости загрохотало, похоже на приближающуюся грозу, потом из тумана вынырнул одинокий танк и покатил по дороге дальше. На башне его сидел солдат и играл на трофейной губной гармошке.

— Это, конечно, прискорбный факт,— сказал Певцов и выпустил из ноздрей махорочный сладко-вонючий дым.— Только я в толк не возьму: к чему ты мне все это рассказал?

— Да к тому, что задумано-то все было идеально, а на практике получается полная чепуха.

— Значит, ты в расчетах дал маху,— сказал Певцов.

— Значит, что так,— согласился бог.— Ведь я на что рассчитывал, создавая всемогущего человека: на то, что сила будет управлять миром. Ты обращал внимание, что сильные люди обыкновенно бывают добрые и покладистые?

— Обращал.

— Ну так вот на это я и рассчитывал. А вышло почему-то, что миром управляют слабости, а не сила. Вообще все получилось наоборот. Скажем, великодушнейшие идеи прибирают к рукам разные жулики, а из горя да лишений вырастают сказочные миры...

— Сам виноват,— заметил Певцов.— Как говорится, неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

— Ну-ну! Ты это... поаккуратней!..

— Виноват, ваше преподобие,— не без ехидства сказал Певцов.

Бог сказал:

— То-то...

Некоторое время они молчали, глядя в разные стороны сквозь туман: бог смотрел на дорогу, а Певцов обозревал поле.

— Ох-ох-ох! — наконец произнес бог.— И везде-то у вас наблюдается непорядок.

— Это точно,— согласился Певцов.— В лучшем случае все выходит наоборот. Вот возьмем меня... Я человек тихий, безвредный, можно сказать, культурный, а гляди, что выходит: срок за крынку колхозного молока я отсидел, жена

от меня ушла, в тридцать девятом году под мотор я попал, и опять же на сегодняшний день у меня всего и заслуг что контузия и два ранения, включая ранение головы. Я, конечно, дико извиняюсь, но есть такая думка, что один ты хорошо устроился: народ тут, понимаешь, кровью умывается, а ты пригрелся на небесах...

— Никак нет,— смиренно возразил бог.— Во всякую тяжелую годину я, так сказать, инкогнито обретаюсь среди людей. Мне отсиживаться на небесах совесть не позволяет. Если хочешь знать, и в империалистическую войну было пришествие, и в гражданскую, и, как видишь, в эту войну я с вами, я еще целых два года побуду с вами.

— Погоди!..— с испугом сказал Певцов.— Это значит, нам еще кровяниться и кровяниться?

— Ну,— отозвался бог.

— В таком случае давай выпьем по русскому обычаю, то есть с горя!

С этими словами Певцов вытащил из сидора помятую зеленую флягу и потряс ее возле уха: во фляжке жалко забулькал спирт.

— На новое обмундирование обменял,— сообщил Певцов, отвинчивая заглушку,— справное было обмундирование, прямо сказать, конфетка. Ну, со свиданьем...

Певцов сделал глоток, пошлепал по-рыбьи ртом и передал фляжку богу. Бог выпил и не поморщился, но заплакал.

— Эй, ваше преподобие,— окликнул его Певцов.— Ты чего это разнюнился, как невеста перед венцом?

Бог махнул рукой, всхлипнул и отвернулся.

— Ты вот удивляешься,— после трогательной паузы сказал он,— а я уже две тысячи лет как плачу без перестачи.

— Чего же ты плачешь, скажи на милость?! Ведь, в общем, жизнь очень даже ничего, если бы не война...

— Умные вы больно все, оттого и плачу. То есть такие вы получились у меня круглые дураки, что с вами нужно иметь железные нервы и каменное сердце! Вот уж действительно, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца...

— Нет, ваше преподобие, ты от нас не отрекайся! — с сердцем сказал Певцов.— Хоть через эти... причинно-следственные отношения, хоть через что, а ты заводчик этому порядку! Как говорит наш отделенный, дело в том, что от осинки не родятся апельсинки. Заварил кашу — теперь расхлебывай!..

— Знаешь что? — зло спросил бог.

— Что?

— А вот что: идите вы все куда подальше!

Певцов внимательно посмотрел в глаза богу, потом поднялся со своего колеса, отряхнул шинель, поправил плечами сидор и сказал:

— Есть!

— Иди, иди,— подтвердил бог.

— Уже иду.

— Вот и иди.

Певцов развернулся и медленно зашагал вдоль правой обочины, а бог подождал, пока солдата поглотит туман, и тронулся через поле; ветерок слегка развеивал его балахон, и поэтому он был похож на большую птицу, тяжело разгоняющуюся перед взлетом.

В тот же день Певцов нагнал свою часть и за ужином рассказал товарищам о давешней встрече с богом. Разумеется, никто ему не поверил, а отделенный даже предположил:

— Нет, Певцов, это ты просто не долечился.

— Может, и не долечился,— мирно сказал Певцов.

Впоследствии он так и посчитал, что его встреча с богом объясняется именно тем, что он тогда просто не долечился, хотя его дальнейшая жизнь то и дело ставила эту гипотезу под сомнение, ибо все у него выходило по-божески, то есть наоборот: в сорок четвертом году он из-за одной польки преступно отстал от части и поневоле устанавливал новые порядки в городе Лодзь, за что получил грамоту от командования; позже он попал в плен, потому что не побежал вместе со всеми, а отстреливался до последнего патрона, и уже после освобождения ему по госпроверке определили восемь лет лагерей; наконец, в шестидесятых годах его назначили директором совхоза в северном Казахстане, но он на все совхозные деньги понастроил домики для рабочих, и его чуть было снова не посадили.

И умер он тоже не по-людски: в семьдесят четвертом году он выиграл в лотерею магнитофон, выпил на радостях четыре бутылки вина и умер.

## Действие второе: ДВОЕ ИЗ БУДКИ 9-ГО КИЛОМЕТРА

В тот час, когда в больших и маленьких городах Европейской России рабочий люд начинает косо поглядывать на минутную стрелку и потихоньку складывать инструмент, когда в Москве, в Скатертном переулке, один притворщик, выдающий себя за тенора, встает с постели и принимается репетировать перед зеркалом хищное раздувание ноздрей и варианты меланхолического выражения, когда на улицах зажигаются фонари, когда берет силу противное настроение, от которого ни о чем не хочется думать, а хочется потягиваться и зевать — в косенькой избушке, именуемой будкой 9-го километра Красногорской дистанции движения, гасят свет и отправляются на боковую. Только что по дистанции проследовал скорый поезд, и теперь до четырех тридцати утра по местному времени не предвидится никакого слу-

жебного беспокойства. В четыре тридцать, когда на дворе стоит прозрачная мгла и до настоящего утра еще, что называется, жить и жить, по дистанции следует почтовый поезд номер 17, и в избушке начинают греметь ведром, в котором за ночь замерзает вода, фыркают, кашляют и противно шаркают валяными сапогами.

Будка 9-го километра, огороженная низким забором, вечно починяемым или перестраиваемым заново, стоит на полпути между станциями Дея и Полуночный Актай, в том месте, где полотно пересекает дорога на один маленький городок. Место это нелюдное и вообще какое-то нежилое. Летом всей жизни кажется только одна безголосая птичка, которая бьется высоко в небе, а чего она бьется — бог ее знает. Кроме нее в окрестностях время от времени объявляется пес с кошачьим именем Мурзик, у которого здесь когда-то водился приятель — кобель Дозор. С этим кобелем вышла история, но о ней в своем месте и в свое время.

Зимой тут чрезвычайно тихо и даже как-то мертво. Мечется между рельсами вдоль обугленных шпал поземка, похожая на просыпанную манную крупу, — больше вроде бы ничего. Хруст шагов здесь слышен за несколько километров.

В будке живут двое путейцев, двое братьев — Василий и Серафим. Младшему Василию около сорока, старшему Серафиму уже за сорок. Братья до странности не похожи, и, только когда им случается улыбаться, лица у обоих одинаково мнутся в гармошку и так изменяются, что братьев бывает невозможно узнать. Лица, однако, приятные, с рассеянно-вопросительными выражениями.

Живут они так... В четыре тридцать утра по местному времени Серафим поднимается и, напившись воды, идет встречать проклятый почтовый поезд, который вот уже двенадцатый год как не дает ему выспаться. Затем он возвращается досыпать, но не спит, а нудно ворочается с боку на бок, и к утру ему делается так противно себя, что он начинает постанывать и плевать. Когда же Серафим особенно бывает не в духе, он принимается как-нибудь досаждать младшему брату, который спит в это время, как говорится, без задних ног. Чаще всего он переливает у него над ухом из кружки в кружку вчерашний чай, и с Василием в постели приключается совестная оплошность.

Василий — человек злопамятный и коварный, и не было случая, чтобы он брату как-нибудь ответно не досадил. Скажем, перед обедом, когда желудки у обоих явственно разговаривают, Василий возьмет и разобьет в чашку пламенных щей специально припасенное сырое яйцо.

Серафим терпеть не может яиц. На следующий год после войны, когда братья жили еще в селе под Тамбовом, Серафим повадился с голоду разорять птичьи гнезда. Яйца, которые он добывал, были маленькне и невкусные, но, собственно, он ненавидел их не поэтому, а потому, что од-

нажды на зубах у Серафима хрустнул невылупившийся птенец. Серафима стошнило, и с тех пор он возненавидел яйца такой странной ненавистью, какой можно ненавидеть только очень противного человека.

Два-три раза в неделю Василий берет рюкзак и идет за водкой и провизией в Дею. Он долго собирается: делает ревизию рюкзаку, пересчитывает деньги, зашивает прорехи на малице и перед отправкой минут пятнадцать рассматривает себя в зеркале. Возвращается он поздно или на другой день утром. Серафим встречает его у калитки и говорит:

— Ну, теперь мы жильцы.

В те дни, когда Василий не ходит в Дею, братья после обеда ложатся соснуть. В это время Серафим видит сны: снится ему или бесконечный состав, который до смерти пугает его бесконечностью, или собрание путевых обходчиков, где ему делают нагоняй, или какие-то сарай, сарай, сарай... Редко-редко ему снится обходчица Ковалева.

Василий видит одних собак. Во сне он вздыхает и изредка зовет покойного Серафимова кобеля. С этим кобелем вышла вот такая история...

Однажды осенью, когда в окрестностях будки 9-го километра стояла такая удивительная тишина, что гравий, сам собой осыпавшийся по откосам, производил что-то похожее на шептание, Серафим натолкнулся на досадный запас яиц, сделанный Василием в стогу сена, которое они накопили так, для препровождения времени; Серафим, конечно, яйца передал. Василий, узнав об этом, первым делом напился до такой степени, что, выйдя по малой нужде во двор, стал искать на небе Большую Медведицу и не нашел. Потом он долго ходил вокруг дома, размышляя, как бы покрепче досадить брату, и, увидев Серафимова кобеля, который мирно подремывал на крыльце, взял монтировку, оглушил ею пса, разделал его и тут же сварил, приправив свое дикое варево немислимым количеством лаврового листа и красного перца. Наутро он соврал брату, будто бы купил в Дее четыре кило оленины, и Дозор был съеден.

К вечеру Серафим хватился Дозора. Он звал его до тех пор, пока не охрип, потом было пустился на розыски, но, залезши за ошейником под крыльцо, нашел там Дозорову голову и его рваную шкуру. Серафим обомлел, сел на ступеньку и вперился глазами в пространство, а Василий, увидев, что проделка его раскрылась, пустился бежать вдоль железнодорожного полотна. Серафим встrepенулся и погнался за ним. Оба бежали молча.

Так пробежали они километра три, а на четвертом Василия стала душить одышка, и он свернул в сторону леса, где было нетрудно запутать след. Однако скоро он обессилел, остановился, обхватил руками березу и, зажмуря глаза, стал ожидать расплаты. Вот и она: Серафим подско-

чил, примерился, размахнулся, но тут Василий инстинктивно повёл головой, и удар пришелся по березовому стволу: в лесу далеко разнесся глухой деревянный звук, и с березы, тихо кружась, стали осыпаться прошлогодние желтые листья.

Потом они еще долго стояли, сцепившись, и горячо дышали друг другу в лицо.

История с собакой позабылась не скоро. Василий недели две заискивал перед братом, а раз даже принес из Деи целый рюкзак антоновки, кашлянул и сказал:

— На вот. Антоновка — первый сорт. Прямо глаза сводит...

Серафим был до яблок большой охотник.

Выспавшись после обеда, братья делают различные хозяйственные дела, как-то починяют забор или по-своему озорничают: Василий выкладывает из кирпичей одно слово, довольно обидное для пассажиров, а Серафим набирает первые попавшиеся номера и говорит:

— Попрошу к аппарату обходчику Ковалеву.

Вечером Серафим встречает два товарных состава, а ближе к ночи скорый поезд Москва — Пекин. В это время братья уже сильно навеселе. Василий, напустив голубых клубов пара, идет за Серафимом встречать скорый поезд, они становятся рука об руку и замирают. Василий покачивается, уставившись в землю, а Серафим далеко оттопыривает фонарь и смотрит в мелькающие окошки. В окошках он видит веселые лица, чудные одежды, и ему даже начинает казаться, что до него долетают обрывки многозначительных фраз.

Уже потухнут в ночи красные огоньки хвостового вагона, уже растает в морозном воздухе стук колес, а они все стоят и смотрят в ту сторону, куда скорый поезд умчал счастливых пассажиров, туда, где далеко-далеко на улицах, наверное, устроено много веселых огней, где играет музыка и прогуливаются красивые люди.

И вот останется только ночь, которая уже давненько шествует с востока на запад, из конца в конец этого громадного государства, сея успокоенные и легкие сны. Будет срок, и над нами она расправит свои смиренные крыла, а пока у нас действительно и музыка, и огни, и толпы красивых людей, размышляющих о том, как бы ухлопать вечер.

— Пойдем, что ли, спать, — наконец говорит Серафим, и Василий поднимает на него бессмысленные глаза.

— Я говорю, спать пошли, черт чудной!

— Сам черт чудной, — говорит Василий.

## Действие третье: КАК Я УМЕР

Больше всего на свете я боюсь смерти. То есть смерти боятся все, но большинство людей природа счастливо устроила таким образом, что они инстинктивно о ней не думают и, в общем, изображают из себя категорию, которой обеспечено вечное бытие. Я же денно и ночью терзаюсь мыслями о предстоящем уходе, хотя я здоров как бык, хотя мне уже не тридцать семь и даже не сорок два, хотя линия жизни на левой руке у меня простирается до запястья. Как подумаю, что когда-нибудь у меня да придет пора помирать, так весь столбенею и начинаю захлебываться смертным ужасом, как утопающие водой. Я не знаю, почему я такой уродился, но это еще не самое идиотское, что во мне есть; самое идиотское — это то, что вот я как черт ладана боюсь смерти, а между тем мне отлично известно, что на самом деле в ней ничего ужасного нет. Я это со всей определенностью утверждаю, потому что один раз я уже умирал. Это случилось в прошлом году, весной, как раз под сессию Моссовета, к которым я, правда, имею только то отношение, что работаю в Доме союзов осветителем и по совместительству полотором.

Для полной ясности следовало бы добавить, что в мертвецах я пробыл только четверо суток, а на пятые сутки почему-то воскрес. Точнее, совершенным, безоговорочным мертвецом я был, наверное, считанные минуты, а четверо суток болтался в довольно обширном пространстве между состоянием жизни и состоянием смерти, так что, по совести говоря, я был и не то, чтобы мертв, но и не то, чтобы жив. Однако это еще сравнительно ничего, самое любопытное, я бы даже сказал отчаянно любопытное, заключается в том, что за четверо суток со мною произошли значительные события, которые, как это ни странно, не заметила ни одна живая душа. То ли эти четверо суток как-то спрессовались в одно ослепительное мгновение, что вполне вероятно, так как время у мертвых наверняка течет иначе, нежели у живых, то ли у моих родственников и знакомых напрочь отбило память, но, например, ни одна собака не помнит моих поминок. Честно говоря, первое время я и сам сомневался: было ли то, что было, не бред ли мои похороны, не сон ли мои поминки, но, во-первых, у меня нашлось одно вещественное доказательство, а во-вторых, еще до того, как оно нашлось, какое-то арифметическое чувство, которое безошибочно указывает, что сновидение, а что явь, сказало мне: это было. Что же касается вещественного доказательства, то его роль сыграли обыкновенные сломанные часы, которые остановились в момент моей смерти и, как впоследствии ни бились над ними мои знакомые часовщики, по сей день отказываются ходить. Тем не менее ни жена, ни мой единственный

друг Иван, ни родственники, ни свойственники, ни знакомые не упомнят, как я скончался, как меня хоронили на Никольском кладбище и как потом гуляли у меня на поминках, которые по славянскому обыкновению вылились в разнузданную попойку.

В тот момент, когда я воскрес, я первым делом подумал, что своим воскрешением наведу на публику панику, ужас, во всяком случае, замешательство. Однако, все присутствовавшие при моем воскрешении, а именно два выздоравливающих мужика и старшая медицинская сестра отделения реанимации тетя Клава, восприняли его как ни в чем не бывало, а тетя Клава даже легкомысленно поздравила меня с возвращением, как если бы я вернулся не с того света, а из местной командировки. После этого я начал с трепетом дожидаться прихода жены, предвкушая, каково ей будет встретиться с привидением, но жена, которая еще три дня тому назад проливала над моим телом крокодиловы слезы, принесла в авоське марокканские апельсины и битых полчаса распространялась о повышении цен на кофе. Через неделю она забрала меня домой под расписку.

Дома я только и делал, что целыми днями ломал себе голову, раздумывая над тем, как же это все-таки случилось, что я скончался, был похоронен, наконец, помянут беспардонными родственниками и знакомыми, а между тем этого не упомнит ни одна живая душа? Такая забывчивость казалась мне в высшей степени подозрительной, а с точки зрения науки принципиально необъяснимой. Хотя с точки зрения науки очень многие явления природы принципиально необъяснимы, например, как она ни пыжится, ей не под силу решить вопрос, почему хорошего человека по лицу видно. В конце концов я решил сходить на работу и потолковать со своим другом Ваней, который, во-первых, большая умница, во-вторых, он учится на вечернем отделении в библиотечном институте, в-третьих, он мой сокровенный друг, в-четвертых, он умеет держать язык за зубами и поэтому предположительно должен был понять меня, как никто.

На работе меня тоже встретили спокойно, будто бы так и надо. Я нашел Ивана, который возился с люминесцентными лампами в конференц-зале, поздоровался и сказал:

— Слушай, Вань, напомни мне, пожалуйста, что было семнадцатого числа.

— А что у нас было семнадцатое число? — переспросил Иван.

— Хрен его знает, кажется, понедельник.

— погоди, сейчас соображу... Ну, как же: семнадцатого числа у нас было собрание. Рабочие сцены пропили бархатную кулису, и мы их на собрании обсуждали. Ты что, не помнишь, что ли, или разыгрываешь дурачка?

Я помотал головой.



— Точно ты разыгрываешь дурачка,— ехидно сказал Иван.

Я опять помотал головой.

— Пропили, хищники, бархатную кулису. И вообще, чего ты мне голову морочишь, мы же их вместе на собрании осуждали!..

— Я не о том,— зло сказал я.— Я о том, что было потом.

— Потом я поехал на занятия в институт, а ты вечером заболел, и тебя отвезли в больницу. Станный ты какой-то сегодня, некоммуникабельный...

— Ну а потом?

— А потом суп с котом! — рассердился Иван.— Ну, чего пристал? Ничего потом не было...

— Ох, Ваня, было! Ох, было, друг ты мой ненаглядный!..

Я сел на стол президиума и, болтая ногами, рассказал, как все было. Когда я закончил, Иван многозначительно помолчал, потом протер глаза безымянными пальцами и сказал:

— Это, конечно, идеализм. Но как показывает практика последних десятилетий, у нас может случиться все.

— Ну! — согласился я.— У меня еще когда было подозрение, что смерть — это совсем не то, что о ней думают. Но насчет воскрешения я, по правде сказать, никакого мнения не имел, потому что я думал, что смерть — это бесповоротно.

— Проперций говорил: «Летум нон омниа финит».

— Это еще что такое?

— Все кончается со смертью.

— Ну, это ладно: ты мне лучше скажи, почему никто ничего не помнит? Вот ты помнишь, как гулял у меня на поминках?

— Не помню,— сказал Иван с таким видом, с каким хитрые люди сознаются в неправоте.

Наш разговор еще продолжался довольно долго и в конце концов завершился тем, что я совершенно и окончательно успокоился. Я про себя решил, что было дело, я помер, некоторое время провел на Никольском кладбище, а потом воскрес, чего, правда, не помнит ни одна живая душа, но сумму всех этих загадочных обстоятельств следует принимать как данность; скажем, киты время от времени совершают коллективные самоубийства, это непонятно, но мир между тем продолжает существовать. Правда, я долго не мог взять в толк, зачем, собственно, это было, но потом меня надоумило, что я просто-напросто прожил небольшой кусок будущего, которому не суждено было осуществиться. Тут, конечно, тоже не обошлось без фантастического элемента, но поскольку сравнительно с моими приключениями на том свете это была какая-то приземленная фантастика, почти быль, я подумал, что так оно и случилось на самом

деле. На всякий случай я еще раз пересказал про себя всю историю, чтобы перепроверить, нет ли в ней чего-то такого, что обличало бы меня как человека, спятившего с ума. Нет, ничего такого не находилось. Перипетии моей истории обличали кого угодно, но только не человека, спятившего с ума. Я сидел на стремянке в конференц-зале, смотрел на Ивана, который распутывал провода, и припоминал, как вечером семнадцатого числа я пришел с работы, переоделся в домашнее барахло и, пока не подоспел ужин, прилег с газетами на диван. Потом я поужинал, потом мы немного посплетничали с женой, потом я посмотрел программу «Время» и отправился в спальню спать. С этого все, собственно, и началось: я лег спать и не проснулся. Я почему-то всегда предчувствовал, что именно таким образом и умру, то есть как-нибудь лягу и уже никогда не встану. И вот я лег спать и не проснулся. Вообще все произошло немного иначе — это домашние думали, что я не проснулся, на самом деле в свою смертную минуту я как раз проснулся. Я проснулся и подумал: а чего это я проснулся? Мне это показалось очень странным, потому что среди ночи я сроду не просыпался, и по этому поводу у меня в животе зашевелился какой-то испуганный червячок. Что такое, думаю... И тут я почувствовал, как к сердцу подступает... и даже не подступает, а подкрадывается что-то окончательное, какая-то итоговая дурнота. Она подкрадывалась, подкрадывалась и вдруг во весь рост встала посреди сердца, расперев его стенки до натянутости струны. Я стремительно сел в постели. По-видимому, дыхания уже не было, так как из выкатившихся глаз струями полились слезы, а рот, которым я пытался схватить хоть сколько-нибудь окаменевшего воздуха, раскрылся до того широко, что со стороны это, наверное, выглядело неопишимо безобразно. Я понял, что это все, и меня обуяла жуть. В последнее мгновение я попытался позвать жену, которой ввиду моего ухода, вообще-то, надлежало проснуться самостоятельно, но она, дрянь такая, спала, как говорится, без задних ног. Вдруг внутри меня произошел какой-то всесотрясающий взрыв, глаза занавесила бархатно-черная пелена и неожиданно-негаданно стало так легко, так освобожденно, как бывает, когда ни с того ни с сего отпускает боль. Я лег и выпрямился.

Я сразу сообразил, что умер, но, как ни странно, меня это не испугало, не огорчило, — ну разве что огорошило. Я лежал и тихо, хорошо дожидался рассвета, рисуя себе какие-то симпатичные пейзажи, какие-то милые лица, уж какие именно, не упомяну, и прислушивался к тиканью часов в большой комнате — в спальне, как уже было сказано, часы встали и, сколько впоследствии над ними ни бились мои знакомые часовщики, по сию пору отказываются ходить. Как это опять же ни странно, я вовсе не думал о том, какой настанет трагический переполох, когда с наступлением утра

обнаружится, что я мертв, хотя при жизни меня вообще не так пугал момент смертного превращения, как момент эстетического порядка: мне жутко было видение собственного трупа, а точнее, жутко, что другим жутко. Но вот оказалось, что в действительности покойнику до этого нет никакого дела.

Я даже не стану описывать, что творилось вокруг после того, как обнаружилось, что я умер, только из-за того не стану описывать, что посиюсторонняя суета не вызывает у покойника ничего, кроме легкого раздражения. Видите ли, тут чувство такое, как будто бы летишь на большой высоте, а внизу всякая дребедень: люди, коровы, электрички, автомобили, которые мельтешат и поэтому раздражают. Но вообще состояние было настолько приятное, что я даже не заметил, как подоспел день похорон.

Я и о моих похоронах умолчу, оговорюсь только, что вообще славянские похороны — это дичь, дичь, дичь. Я даже удивлюсь, как до сих пор не запретят эту варварскую процедуру; человеческие жертвоприношения запретили, инквизицию запретили, даже смертную казнь кое-где запретили, а этот душевынимающий обычай, тем более нелепый, что все равно никто не знает, что, собственно, произошло, почему-то не запретят...

Ну ладно, похоронили меня и уехали поминать. Я себе лежу, лежу, лежу, покойно, опять же мысли хорошие, категорические: если да, то да, если нет, то нет. Но любопытное дело: как бы одним желудочком сердца, или полушарием головного мозга, или ногой, ну, я не знаю чем, — я у себя в могиле, а другой своей половиной я вместе с родственниками и знакомыми. Например, я совершенно явственно видел свои поминки. Народ, можно сказать, без малого веселился, и только Иван обпился до ненормального состояния и горько рыдал, рассказывая о том, какой я был уважительный человек. Я слушал его и думал: «Вот дурак! вот дурак!..»

Но, как уже было сказано, другой своей половиной я бытовал в могиле. Я лежал и сквозь категорические мысли наблюдал поразительные картины: какое-то громадное собрание, на котором всем присутствующим делала нагоняй, потом что-то похожее на висячие сады Семирамиды... Только вдруг слышу — вокруг меня раздаются шорохи, приглушенные вздохи, шепот. Что такое, думаю, или мне померещилось? Нет, не померещилось: не прошло и минуты, как слева от меня кто-то постучал по дереву, на манер того, как стучатся в дверь, и я слышу голос:

— Как дела, товарищ?

Я насторожился, потом кашлянул для солидности и сказал:

— Ничего... то есть дела, как сажка бела. А у вас тут что, тоже разговаривают?..

— Это смотря по настроению,— отвечает голос.— Если есть настроение поговорить, можно поговорить, если нет — нет.

— Держи карман шире! — вдруг доносится голос справа.— Есть настроение, нет настроения, все равно не дадут покоя. Я вот уже третий год тут лежу и все никак с мыслями не соберусь. Третий год никак с мыслями не соберусь, вашу мать! Все бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу!..

Сосед слева, слышу, тяжело вздохнул и примолк. Но прошло очень немного времени, как он еще раз тяжело вздохнул и сказал тоном ниже:

— Вообще-то, у нас тут тихо... Кладбище новое, лежат все, главным образом, ровесники, так что трений особых нет. Я представляю себе, что на Ваганьковском творится...

— Да, на Ваганькове небось дым коромыслом! — донесся голос откуда-то издалека.— Там у них один Сергей Александрович чего стоит! Вот, наверное, дает публике прикурить!..

— Это скорее всего,— сказал мой сосед слева.— Тем более что там и его критики похоронены, те самые, которые инкриминировали ему подпевание кулаку.

— Моя бы власть,— сказал отдаленный голос,— я бы этим критикам не дал помереть естественной смертью...

— Интересно!..— сказал голос справа.— Что же, по-вашему, нужно было нянькаться с идейными прихвостнями кулака? Правильно их давили, да только мало!

— А вы, полковник, вообще помолчите,— сказал какой-то совсем отдаленный голос.— Прошли ваши времена.

— Послушайте, ребята! — тогда сказал я.— Это что, и есть смерть? Если это и есть смерть, то на хрена козе баян...

— Гм! А чего вы, собственно, ожидали? — донесся до меня голос слева.

— Я ничего не ожидал,— сказал я,— я скорострительно скончался — лег спать, и на этом все. Но, во всяком случае, я не думал, что у вас тут целые загробные конференции.

— Товарищ, видимо, предполагал, что за хорошие производственные показатели ему обеспечат райские кущи,— съехидничал голос справа.

— Рай не рай,— сказал я,— но элементарный покой я, наверное, заслужил.

— Так это и есть рай,— сказал отдаленный голос.— Мы как раз третьего дня пришли к выводу, что это и есть рай. А мы с вами в аду — это к бабке ходить не нужно...

— Но в таком случае непонятно — я-то за что в аду? — сказал голос справа.

— И он еще спрашивает...— донесся совсем отдаленный голос.

— Нет, тут действительно не все ясно,— сказал голос

слева.— Главным образом, неясно, почему в так называемый ад нашего брата покойника попадает абсолютное большинство. Ведь у нас на все кладбище только один молчун! Как похоронили его в семьдесят девятом году, так он и молчит...

— А кто он был? — спросил я.

— Неизвестно,— ответил на мой вопрос отдаленный голос.— Он же молчит...

— Мы тут посоветовались и решили между собой, что это был просто отличный человек,— сказал голос слева.— То есть такой человек, который, что называется, умел жить.

— Что значит уметь жить? — зло спросил совсем отдаленный голос.

— Ну, туши свет! — сказал голос справа.— Сейчас пойдет философия...

— Если бы я это знал, я бы сейчас с вами не разговаривал,— объяснил сосед слева.— Но по всей видимости, существует какая-то формула умения жить. Даже может быть, что эта формула валяется под ногами, возможно, что открыть ее гораздо проще, чем найти кимберлитовую трубку или построить Панамский канал. И если подойти к этому вопросу с позиции монадологии Лейбница...

— Тьфу! — сплюнул в сердцах сосед справа.

— Хотя,— тем не менее продолжал голос слева,— умение жить может заключаться всего-навсего в том, чтобы постоянно осознавать, что ты не что-нибудь, а живешь. И сразу пойдет какое-то пристальное, въедливое бытие, этаким продолжительным праздником самосознания. Недаром древние говорили: «Когито эрго сум»...

— Послушай, друг,— сказал голос справа,— ты, вообще-то, русский?

— Ну, русский...— отвечал сосед слева.

— Тогда почему у тебя на языке одни иностранные слова? Откуда такой космополитизм?..

— Заткнитесь, полковник, слушать тошно! — донесся совсем отдаленный голос.

— А ты кто такой?! — сказал голос справа.— И чего ты меня все время полковником попрекаешь?!

Тут я не выдержал и сказал:

— Знаете что, ребята, это не смерть, а сумасшедший дом! Я в таких условиях отказываюсь лежать!

И вот что чудно: только я произнес эти слова, как в голове у меня начало светлеть, светлеть, и вскорости я воскрес. Я открыл глаза и увидел нелепые физиономии двух выздоравливающих мужиков, а потом старшая медицинская сестра отделения реанимации тетя Клава поздравила меня с возвращением, как если бы я вернулся не с того света, а из местной командировки. Вот и вся история, которая, с моей точки зрения, обличает в главном действующем лице кого угодно, но только не человека, спятившего с ума. Я при-

шел к этому выводу бесповоротно, после чего слез со стремянки и начал помогать Ивану распутывать провода. Мы распутывали их, распутывали, а потом я сказал:

— Послушай, Вань, а давай будем жить пристально, въедливо, чтобы это дело вылилось в продолжительный праздник самосознания?

— Давай,— сказал Иван.— Только это как?

Я пожал плечами.

— Может быть, это должно выглядеть так,— сказал я после некоторой паузы.— Положим, мы с тобой в обеденный перерыв решили сходить выпить по кружке пива. На Кузнецком мосту пиво стоит сорок шесть копеек, а на Богдана Хмельницкого двадцать шесть. Однако до Богдана Хмельницкого дальше, поэтому набрасываем пятак на проезд и в результате получаем тридцать одну копейку; выходит, что хотя оно и дальше, но все равно дешевле. И вот так мы все думаем, думаем, ко всему придираемся,— может быть, это и будет въедливая жизнь?

— Все может быть,— ответил Иван.— Как показывает практика, у нас все может быть...

## *Владимир Салимон*

### **САЛЮТ, ДРУЗЬЯ!**

\* \* \*

Это — Африка, черт побери?!  
Это — Азия или Европа?!  
Нет ни Вологды, ни Воркуты,  
нет ни Канева, ни Конотопа.

Нет, не сторож я братьям своим.  
Нет, не сторож я вам, и откуда  
мне доподлинно знать, чудаки,  
кто есть Каин, а кто есть Иуда.

Кто есть кто —  
кто кого изведет  
то ли взглядом одним, то ли ядом,  
кто Владимирским трактом пойдет,  
кто пойдет Александровским садом.

Дай мне руку, Лаура моя!  
Дай мне руку, моя Беатриче!  
Нас заждались в Крестах и в Столбах,  
в Нефтехимии,  
в Угледобыче!

Чахнет Ладога. Гибнет Арал.  
Что-то будет, когда россияне  
с покоренной Сибири сдерут  
шкуру,  
как с покоренной Казани?

\* \* \*

На Силу и на Силуяна,  
когда неведомо куда  
бегут бездомные собаки  
вслед за героями труда.

Когда почти неразличимы  
многоэтажные дома —  
бог знает, где здесь Дом союзов,  
а где Бутырская тюрьма,

Я заблудился в переулках  
вблизи Садового кольца  
и от Зацепы отшатнулся,  
отпрянул, как от мертвеца.

Зацеп был мертв.  
Неподалеку  
два нагловатых крепыша,  
два угловатых землекопа  
копали яму не спеша.

И я спросил, на землекопов  
неволью глядя свысока:  
— Зачем, ребятки, эта яма  
столь широка и глубока?

\* \* \*

Как только в русло перестройки  
вольется среднее звено,  
я, если нужно, брошусь в реку  
и даже брошу пить вино.

В осеннем сумраке не страшно,  
но как-то боязно, когда  
над головой твоей мерцает  
остроконечная звезда.

И я шагаю по бульвару,  
и я спешу под отчий кров,  
где до сих пор на фотоснимке —  
в обнимку Волков и Петров.

Петров на Волкова косится,  
а Волков смотрит в потолок.  
Он убежден — стихотворенье  
нельзя писать, как некролог.

— Салют, друзья! Привет, ребята!  
Что за последних десять лет  
насотворили?  
Дали маху  
Изобрели велосипед?

\* \* \*

Пока тщеславный Ленинград,  
пока еще не смог,



пока еще не смог тебя  
скрутить в бараний рог.

Я просыпаюсь в полутьме  
и вижу из окна,  
что на Большой Морской идет  
гражданская война.

Один матросик ранен в грудь.  
Другой... Но, боже мой,  
когда же ты в конце концов  
воротисься домой?

Я жду тебя. А по Большой  
Морской идет патруль  
под скрип и скрежет, дождь и град,  
под свист бандитских пуль.

Я жду тебя!  
Я жду тебя!  
Смотри, на этот раз  
не угоди под артобстрел,  
под комендантский час!

\* \* \*

Пускай под утро поведут  
меня на Синий мост,  
где сунут в зубы рыбий глаз,  
а в нос ослиный хвост.

Пускай по Синему мосту  
я на глазах у всех  
шагну однажды в пустоту  
под гиканье и смех.

Ничуть не страшно умирать,  
когда над головой  
не черный ворон клювом бьет  
по крышке гробовой,

но дерзкий кровельщик, в сердцах  
хватая молоток,  
хватая клещи и пилу,  
терзает водосток.

Когда пила в его руках  
и плачет, и поет  
и спозаранку на реке  
сверкает первый лед,

Мы прежде ангелами были,  
но пробудились ото сна  
и тотчас встали, кто у двери,  
кто у раскрытого окна.

Он — востроглазый киевлянин,  
ты — ленинградка,  
я — москвич,  
моим соседом по квартире  
был старый хрыч Иван Кузьмич.

Тот самый старый хрыч, который,  
сев за баранку, сгоряча  
так газанул, что в результате  
нет ни хрыча, ни «Москвича».

Ни Якиманки, ни Полянки  
давным-давно на свете нет,  
и мне давным-давно не двадцать,  
давным-давно не тридцать лет.

Я озираюсь изумленно  
на все четыре стороны,  
нет, я не знаю, я не знаю,  
не знаю я другой такой страны!

## ВЕНЕРА

Из тьмы кромешной,  
из пучины  
со дна Казанского вокзала  
она шагнет, бесцеремонно  
на землю сбросив покрывала.

И я увижу на перроне  
среди скучающих амбалов,  
среди пьянчуг и проституток,  
ее на фоне трех вокзалов.

Там печенеги и татары,  
здесь чувашаи и черемисы  
по тесным залам ожиданья  
грызут друг дружку, точно крысы.

Но я, работая локтями,  
я, несмотря на визг крысиный,  
протискиваюсь чуть поближе  
к ней — между сумкой и корзиной.

— Пенорожденная богиня!  
Киприда! Пафия! Цитера!  
Что привело тебя в столицу,  
Худайбердыева Венера?!

\* \* \*

О чем ты плачешь, прислонясь  
к дверному косяку?  
Да разве так от мясника  
уходят — к мяснику!

Постой, красавица, не плачь!  
По счастью, в двадцать лет  
нас не пугают небеса,  
где больше бога нет.

В окно заглядывает ночь  
мигающим глазком,  
она щекочет нас хвостом  
и дразнит языком.

О, как нам хочется порой  
ступить на Млечный Путь,  
хоть напоследок, хоть разок  
под нож подставить грудь.

Когда вонзится в грудь твою  
божественная сталь,  
скажи спокойно:  
— Жизнь прошла,  
но жизни мне не жаль.

\* \* \*

Не в силах классовой борьбы  
от внутривидовой  
я отличить. Собачий лай  
приму за волчий вой.

Собака — воеет. Лает — волк.  
Мышинная возня  
однажды осенью вконец  
замучает меня.

Я упаду лицом в траву,  
которой поросла  
вся весь и емь, вся чудь и жмудь —  
от стула до стола,

Я упаду лицом в траву  
и вскрикну:  
— Нарасхват  
у нас такие молодцы,  
как следователь Хват!

Мы знаем — следователь Хват  
был на руку нечист.  
Вавилов этого не знал,  
Он был идеалист.

## МОСКВА — ВОРОНЕЖ

*М. Кудимовой*

Москва — Воронеж. Между ними  
богоспасаемый Тамбов,  
Тамбов, от мала до велика  
вооруженный до зубов.

Кто с топором, а кто с лопатой  
выходит поутру во двор.  
В проезде Сакко и Ванцетти  
трещит и рушится забор.

И на забор дощатый глядя,  
на кучи щебня и стекла,  
я понимаю — время вышло,  
я понимаю — жизнь прошла!

Промчались годы золотые!  
Впредь россиянам не страшна  
ни голодуха, ни разруха  
и ни гражданская война.

Нет! Перед матушкой Россией  
не устоит ни хмурый финн,  
ни храбрый швед, ни злобный турок,  
ни кровожадный хунвейбин!

\* \* \*

В местах лишения свободы —  
столь отдаленных и не столь —  
где добывал ты бурый уголь,  
а где — поваренную соль?

Никто не знает, или знает  
один лишь ветер ледяной,

один лишь камень придорожный,  
корнями вросший в шар земной.

На пожелтевших фотоснимках  
я узнаю не без труда  
тебя у Сухаревой башни,  
у Патриаршего пруда.

А на Рождественском бульваре  
я нахожу тебя точь-в-точь  
на Бонч-Бруевича похожим...  
— Ах, Бонч, спасите вашу дочь!

— Ах, Бонч, она не виновата!  
Она смиренна и чиста,  
но не осилить ей, бедняжке,  
и ни костра,  
и ни креста...

\* \* \*

Увы! Куда ни брошу взор —  
езде бичи, везде железы...

*А. С. Пушкин*

К железному делу в России  
давнишняя тяга, увы,  
куда ни посмотришь — железы,  
бичи, не поднять головы.

Но все же в студеные ночи,  
в короткие зимние дни  
страшны ли нам посвист и окрик,  
стилеты, кастеты, ремни,

дубинки, резинки, нагайки?!  
Нишкни, мой налетчик лихой!  
Нишкни, мой погромщик нахальный,  
и больше сюда — ни ногой!

Я знаю волшебное слово.  
Скажу, и растают во тьме  
и хлебозавод в Одинцове,  
и маслозавод в Костроме.

Не станет ни ПУРа, ни МУРа,  
ни ГУМа... Один на один  
останусь я с Господом Богом  
среди ядовитых руин.

## КТО Б НИ БЫЛ ТЫ...

Советник тайный или явный,  
лейб-медик, обер-прокурор —  
кто б ни был ты, твои кальсоны  
на кухне киснут до сих пор.

Твоя жена в ночной рубашке,  
в домашних туфлях, в бигудях  
сидит на краешке кровати  
с кровавым кочетом в когтях.

О, как поет, как бьется кочет,  
когда его бросают в суп —  
сперва: желудок, сердце, печень.  
а после: гребень, гузку, пуп.

Стекланным глазом напоследок  
окинув мутный небосвод,  
ах, бедный кочет, бедный кочет,  
чего он, дурень, глотку рвет?

Чего он хочет, черт хвостатый?  
И жизнь — не жизнь,  
и сон — не сон.  
Жена хохочет, кочет плачет,  
в кастрюльке фыркает бульон.

Но вижу я, объятый страхом,  
как в огнедышащей броне  
мой добрый гений — ангел горний  
с небес спускается ко мне.

Он говорит мне:  
— Горемыка,  
мир, перевернутый вверх дном,  
того гляди сорвется в бездну!  
А за дверьми...  
А за окном...

А за окном — посередине  
сине-зеленой мостовой  
по горло в тине, в пене, в мыле  
бредет угрюмый постовой.

Угрюмый страж правопорядка  
идет-бредет в кромешной мгле —  
последний праведник на грешной,  
на Богом проклятой земле,

На смену голосеменным —  
покрытосеменные:  
ромашки, любки, васильки,  
а следом — остальные.

О чем печалишься, сосед?  
К концу восьмидесятых  
мы превратимся, черт возьми,  
в плешивых из патлатых.

Мы станем слепы и глухи  
и шума городского  
в конце концов не отличим  
от рокота морского.

В единый хор сольются скрип,  
и скрежет, и трамвайный  
и колокольный перезвон,  
и стон лесоповальный.

Я не боюсь ни рабских пут,  
ни гибели напрасной.  
Что значит — жизнь не удалась?  
Она была прекрасной!

*Сергей Соловьев*

## КОМНАТА СМЕХА

### ЮЖНАЯ ШКОЛА

Твоя походка неплохо смотрится.  
У тебя меж ногами гуляет ветер.  
Ты не похожа на дисциплинарную матрицу,  
помнящую о смерти,  
типа святой Варвары или Терешковой,  
типа Кюхельбекера или Склодовской-Кюри.  
Ты — дисциплинарная матрица южной школы  
типа Шолом Алейхема минус Алишер Навои.  
Я говорю тебе: уже написан Вертер.  
И снимаю с ресницы твоей стрекозу.  
Ты не считаешь человека разминкой смерти  
и сбрасываешь платье перед *ergo sum*.  
Кожа твоя — цвета пленки на рыбьем жире.  
Ты окуливаешь себя травой.  
Стебли чуткие прядают на Кунашире,  
и деревья на цыпочках обходят тебя стороной.  
Ты — дисциплинарная матрица «+29».  
Ты — температура падения алычи.  
Когда я беру на руки твое библейское тело —  
чувствую, как сквозь него преломляются лучи.  
И язык твой у губ моих — как арбузная мякоть,  
Мякоть... сок... сахар... сон...  
И в полях облетевшего черного мака  
над тобой чуть дрожит указатель: ХЕРСОН.

\* \* \*

Это узкая улочка в теле твоём,  
это выход в астрал через спуск и подъем,  
это трепет томленья, улики лакун,  
это в терпкой ворсе чернослив и лукум,  
это сонмы очнувшихся ангелов: «Пить!»,  
это кислый кизил, увлажняющий путь,  
это южная ночь, это лунная течь,  
это каплющий воск на затылок со свеч,  
это воск, затекающий в грудь и стопу,  
это нож в животе, это жаркий Стамбул,  
это мир шпионажа, парад двойников,  
это жмурки ужимок и цокот подков,



это спазмы соблазна, испуга и сна,  
это тмин и корица и хвоя и хна,  
это гул механизма на выдох и вдох,  
это в солнечных брызгах пульсирует мох,  
это поршень, качающий пламя из пор;  
через ноздри отводятся кольцами пар,  
это кузница уз, это козней разгул,  
это праздник гримас, это лаз-вельзевул,  
это стоны кувалд и кикиморный смех  
ледяных молоточков с оглядкой на мех:  
вдох — и прынут, и вскрикнут от жара меха...  
И ангел забьется на гребне греха!

\* \* \*

Я не искал ни меда, ни ковриг.  
Я знал, что глубже дна душа не тонет.  
Твоя ладонь похожа на овраг.  
Ее не удержать в моей ладони.  
Я видел в каждом корне остов птиц.  
И деревá трясло, и вереницей  
они взлетали, вспарывая плац,  
и дерево стенало в каждой птице,  
и шелушилось теплою золой,  
и корни на ветру как винт крутило;  
они летели молча над землей,  
горящим циркулируя пунктиром.  
С протяжным гулом падал их помет  
и пузырился, разъедая землю;  
сворачивались глаз белки и рот,  
и мертвецы вставали из постелей,  
и замыкали поле в хоровод,  
и луч скользил по их кротиным лицам,  
и скалились они на птичий лет,  
где гроыхала крыльев черепица.  
Как заводные, приседая в такт,  
они плевали в небо мутью склизкой,  
и каждый над собой кишечный тракт  
развихривал, сигналиа близким.  
И птицы поддевали на лету  
своим слепящим клювом их за спины  
и уносили вдаль по одному;  
во тьме хрустели спин их хворостины.  
Они сто дней носили их и сто  
ночей, не проронив ни слова.  
И я увидел хрупкое гнездо,  
сплетенное из хвороста людского:  
сто линий было в нем и сто дорог  
из глаз людских, горящих вполнакала,  
и свернутое небо, как творог,

на землю капало. И ангел Алый,  
и ангел Белый, и еще один,  
под капли протянувшие ладони,  
холодным взглядом провожали их,  
поющих: глубже дна — не тонет...  
И я сошел за ними в глубину,  
и видел среди водорослей души,  
как раковины ползшие по дну.  
Они сползались к уху: Слушай...  
Слушай...

### ЛИЦОМ К СТЕКЛУ

Если верить позднему Витгенштейну,  
мир человека есть мир языка:  
будь то Непорочная Дева или стакан портвейна,  
юное небо или плавающий музыкант.  
Сухой музыкант или музыкант мокрый —  
мир есть то, что о нем говорят.  
Вводится термин «языковые игры» —  
«наука», «религия», «диамат».  
Игра «путь», игра «икс», игра «проза»,  
игра в плотно прилегающих ОЗК.  
Все т. н. «проклятые» вопросы  
ведут за пределы возможностей языка.  
Например, когда я приближаю глаза к глазам ее,  
пытаясь понять смысл жизни наверняка, —  
небытие определяет мое сознание,  
балансируя на кончике языка.  
Эту пограничную зону еще даосы определили,  
стремясь к невесомости, отпиливая собственный киль:  
«Когда Тысячеокий говорил о пыли,  
он говорил о ней как Не-о-пыли.  
Поэтому мы называем ее: Пыль».  
Если от Витгенштейна идти в направлении новой веры,  
отдаляясь от лунного кружева отблескивающих дорог,  
можно предположить конец языковой эры,  
определив нынешнюю ситуацию как Порог.  
Можно предположить предстоящую эру Молчания,  
постепенное редуцирование языковых вех  
начиная с декора и дальше — к энергетическому  
переключению  
на канал чистого восприятия и транслирования без  
помех.  
Т. е. человек из кокона выходит на космическую  
площадь,  
обретая движение без костылей языка.  
Тогда происходящее в лучших из нас становится  
всеобщим,  
т. е. этап духа сменяет эру «язык и рука».



Он идиот был настоящий,  
он от метафор уставал.  
«Все те же яйца, только в профиль»,—  
шептал он, глядя в никуда.  
И вздрагивал его картофель  
под сенью мирного винта.  
Ему я пел «О моем Сиде»  
седую песнь. Он, как радар,  
на валуне печаном сидя,  
перемещался в такт мне. Пар  
за ним струился. Вечерело.  
Мы возвращались на огни.  
И молча думали о чело...  
пока в поселок добрели.  
Он неделимое по-братски  
делил. Я недоумевал:  
где успевал он так набраться,  
когда не пил и не читал?  
«О, почему же,— вопрошал он,—  
живем до страшного суда? —  
и тихо звал меня: — Сюда,  
сюда!..» За окнами ветшало.  
И, при свечах, от полуночи  
мы говорили до утра  
о нас, о Пушкине Петра,  
о Бажане, потом Бажане,  
о Жанне, женщине, о прочем,  
куда не разберешь следа...  
Он оживлялся, где дышала  
во все лопатки лишь судьба  
и почва.  
И в белых простынях, как греки,  
мы завершали разговор  
о том, куда впадают реки,  
где не зимуют нынче раки,  
и почему, презрев сыр-бор,  
из хат не выметают сор.

## 2.

Природа праздновала силу,  
Но если в глубь ее лица  
всмотреться пристальнее —  
было  
все в предвкушении конца.  
Уж задувало по верхушкам  
и облетало с тополей,  
и надвигала деревушка  
свой блат узорный до бровей.  
Последний заспанный курортник

с семьей по трассе моросил.  
Затихли псы по подворотням.  
Ну да, октябрь наступил.  
Уж наступил! Хотя, возможно,  
еще не весь. А что же друг?  
Он становился все тревожней,  
а то задумается вдруг,  
то, вздрогнув, оборвет беседу,  
уйдет фиордами бродить...  
И по щемящему я следу  
за ним следил. Как не следить,  
когда чертил он то и дело  
на гладко выбритом песке  
все то, чего душа хотела  
самозабвенно? «Э-хе-хе», —  
я говорил, стирая пяткой  
все неприличные слова.  
Рисунки, магия, догадки —  
все было там. Ну вот одна  
(он, видно пятясь, полз по берегу  
до бухты дальнего угла):  
ПЕРВОБЫТНОГО СТРОЯ ЧЕРТА  
ТАК СКАЗАТЬ ЕГО ГЛАВНАЯ ВЕХА  
БЫЛА В ПРИОБЩЕНИЕ СКОТА  
К ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧЕЛОВЕКА  
БИЛСЯ ВЕРИЛ ЛЮБИЛ КОСИЛ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНИ ЛИШЕНЬЯ  
ЭТО РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  
СТАЛ В КОНФЛИКТ  
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  
ОТНОШЕНИЯМИ

Шагов за семьдесят: НЕСКРОМНО.  
Чуть отбежав: ЛЮБОВЬ — ВКУСНА.  
Любовь кончалась на огромный,  
прильнувший к слову мягкий знак.  
Потом чертеж, детали, чайник.  
ПОПИЛ — написано. Потом —  
километровое молчанье.  
УМОРА — вытерто. СОДОМ.  
СО — перечеркнуто. Темнело.  
Я гнал за ним, теряя след,  
пока не вспыхнуло на белой  
стене вцарапанное: НЕТ!  
и наспех, в полутьме, до дрожи,  
как в ночь сигнальные огни,  
из палок выложено: БОЖЕ,  
Да на ветру не подпалил.  
Я на песке, под неба магмой,

читал, как пульс, его следы —  
их затухала диафрагма,  
и все ровней, ровнее... Ты.  
И стал как вкопанный с разбега.  
Там, прислоненная к скале,  
мерцала кожа человека,  
чуть повернув лицо ко мне,  
Еще жива была улыбка,  
оплавленная, как пластмасс.  
Я пальцем тронул — стало липко,  
где задувало в дыры глаз.  
Она казалась тоньше фетра  
во вспышках молний за спиной.  
И медленно, в порывах ветра,  
он поднимался над землей.

## СОМНАМБУЛА В ТУМАНЕ

Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался. Задумался он о жизни, о ее смысле, о бренности своего земного, наполовину уже использованного существования, о страхах ночных, о гадах земных, о красивой Лоре и некоторых других женщинах, о том, что лето нынче сырое, о далеких странах, в существование которых ему, впрочем, не очень-то верилось.

Особенное сомнение вызывало существование Австралии. В Новую Гвинею, в ее мясистую, с писком ломающуюся зелень, в душные болота и черных крокодилов он еще готов был поверить: странное место, но пусть. Допускал он также цветные мелкие Филиппины, голубоватую пробку Антарктиды допускал, — она висела прямо над его головой, рискуя отвалиться и засыпать колотыми кубиками айсбергов. Валяясь на диване с твердыми допотопными валиками, с просевшими пружинами, покуривая, поглядывал Денисов на карту полушарий и не одобрял расположения континентов. Ну, наверху еще ничего, разумно: тут суша, тут водичка, ничего. Парочку морей бы еще в Сибирь. Африку можно бы ниже. Индия пусть. Но внизу плохо все устроено: материки сужаются и сходят на нет, острова рассыпаны без толку, впадины какие-то... А уж Австралия совсем ни к селу ни к городу: всякому ясно, что тут по логике должна быть вода, так нате вам! Денисов пускал дым в Австралию, разглядывал потолок в разводах сырости: выше этажом жил капитан дальнего плавания, белый, золотой и прекрасный, как мечта, летучий, как дым, нереальный, как синие южные моря; раз или два в год он материализовался, являлся домой, принимал ванну и заливал квартиру Денисова со всем, что в ней находилось, а в ней ничего не находилось, кроме дивана и Денисова. Ну, еще на кухне холодильник стоял. Денисов, как человек деликатный, не решался спросить: в чем дело? — тем более что не далее как на следующее утро после катаклизма великолепный капитан звонил в дверь, вручал конверт с парой сотен — на ремонт — и твердой походкой уходил прочь: в новое плавание.

Раздраженно размышлял Денисов об Австралии, рассеянно — о Лоре, невесте. Все уже было, в общем-то, решено, и не сегодня завтра он собирался стать ее четвертым мужем, не потому, что, как говорится, от нее светло, а потому, что с ней не надо света. При свете она говорила без умолку и что попало,

Очень многие женщины, говорила Лора, мечтают иметь хвост. Сам подумай: во-первых, как это красиво — толстый пушистый хвост, можно полосатый, скажем черный с белым, мне это пошло бы, и вообще, на Пушкинской я видела такую шубку, которая к такому хвосту в самый раз. Короткая, рукавчик широкий, шалевый воротник. Можно с черной юбочкой, вроде той, что Катерина Иванна сшила Рузание, но Рузання хочет продать, так представляешь — если бы был хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею — и тепло. Потом, если, допустим, в театр: простое открытое платье, и сверху — собственный мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно держаться хвостом за поручни, станет жарко — обмахиваться, а если кто пристанет — хвостом его по шее! Ты хочешь, чтобы у меня был хвост?.. Ну как это — все равно?

Эх, красавица, мне бы твои заботы, тосковал Денисов.

Но Денисов знал, что он и сам не подарочек — с прокуренным своим пиджаком, с тяжелыми мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом — умереть и быть забытым, стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе.

До половины пройдена земная жизнь, впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, и никто-то его не помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии высекают на мраморе. Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не украсить своим профилем Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я...» Вот он женится на Лоре и помрет — она же не решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли... «Товарищи, увековечьте моего четвертого мужа, а? Ну, това-арищи...» — «Хо-хо-хо...» Ну в самом деле, кто он такой? Ничего не сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и именем своим не назвал. Да ведь и то сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и живое и мертвое, от тараканов до комет, от сырной плесени до спиральных рукавов заумных туманностей. Вон какой-нибудь вирус — дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже пойман, назван, усыновлен парочкой ученых немцев — смотри сегодняшнюю газету. Призадумался — как они его делят на двоих? Небось разыскали его, завалившее такое дрянцо, в немытом стакане и обмерли от счастья — и ну толкаться, кричать: «Мое!» — «Нет, мое!» Разбили очки, порвали подтяжки, отмузузили друг друга, запыхались, присели со стаканом на диван, обнялись: «Давай, брат, пополам!» — «Давай, что уж с тобой поделаешь...»

Люди самоутверждаются, цепляются, не хотят уходить — это так естественно! Скажем, записывают концерт. Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пастила, — бегом, бегом, все на одном месте,



все круче; свивается сладостный смерч, сердце не выдержит, оторвется, трепещет на последней нитке, и вдруг: кхэ. Кхе-ррр-кхм. Кху-кху-кху. Кашлянул кто-то. И хорошо так, крепенько кашлянул. И уж все теперь. Концерт с сочным гриппозным клеймом родился, размножился миллионами черных солнышек, разбежался во все мыслимые стороны. Светила погаснут, и обледенеет земля, и планета морозным комком вечно будет нестись неисповедимыми звездными путями, а кашель ловкача не сотрется, не пропадет, навеки высеченный на алмазных скрижалях бессмертной музыки,— ведь музыка бессмертна, не так ли? — ржавым гвоздем, вбитым в вечность, утвердил себя находчивый человек, масляной краской расписался на куполе, плеснул серной кислотой в божественные черты.

Н-да.

Пробовал Денисов изобретать — не изобреталось, пробовал сочинять стихи — не сочинялось, начал было труд о невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на всю ночь к столу. Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел — и порвал, и плакал без слез, и лег спать в носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан и многожды утешен, как у себя в Орехово-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то шуршало.

— Что это,— тревожился Денисов,— не мыши ли?

— Нет, нет, спи, Денисов, это другое. Потом скажу. Спи!

Что делать, он спал, видел во сне гадости, проснувшись, обдумывал увиденное и вновь забывался, а утром пил кофе на кухне вместе с благоухающей Лорой и ее вдовым папой, отставным зоологом, кротчайшим голубоглазым старичком, немного странненьким,— а кто не странненький? Папина борода была белее соли, глаза — ясней весны; тихий, скорый на светлые слезы, любитель карамелек, изюма, булочек с вареньем, ничем не был он похож на Лору, шумную, взволнованную, всю черно-золотую. «Понимаешь, Денисов, папа у меня чудный, просто голубь мира, но у меня с ним проблемы, потом расскажу. Он такой чуткий, интеллигентный, знающий, ему бы еще работать и работать, а он на пенсии — недоброжелатели подсидели. Он так у себя в институте делал доклад о родстве птиц с рептилиями или там с крокодилами — ну ты меня понял, да? — бегают и кусают; а у них ученый секретарь был по фамилии Птицын, так он принял на свой счет. Они вообще в этой зоологии постоянного бдят и высматривают идеологическую гниль, потому что еще не решили, человек — это что, обезьяна или только так кажется. Вот папунчика и поперли, сидит теперь дома, плачет, кушает и популяризует. Он пишет эти,

знаешь, заметки фенолога для журналов, в общем, ты меня понял. Про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный. Он хорошо пишет, не шалей-валяй, а как образованный человек плюс лирика. Я ему говорю: пуськин, ты у меня Тургенев,— он плачет. Ты, Денисов, люби его, он заслуживает».

Опустив голову, грустный, покорный, выслушивал белый папа Лорины монологи, промакивал платком уголки глаз, уходил мелкими шажками в кабинет. «Ч-ш-ш-ш,— говорила Лора шепотом,— тише... Пошел популяризовать». В кабинете тишина, запустение, рассыхаются полки, пылятся энциклопедии, справочники, пожелтевшие журналы, пачки с оттисками чьих-то статей — все ненужное, слежавшееся, остывшее. В уголку некрополя, как одинокая могилка, папин стол, стопка бумаги, экземпляры детского журнала: папа пишет для детей, папа втискивает свои многолетние знания в неразвитые пионерские головки, папа приноравливается, садится на корточки, становится на четвереньки,— в кабинете возня, восклицания, всхлипы, треск разрываемой бумаги. Лора выметает клочки, ничего, сейчас успокоится, сейчас все получится! Сегодня у папы волк, папа борется с волком, гнет его, ломает, втискивает в подходящие рамки. Денисов рассеянно просматривает выметенное и порванное:

«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион.

Пищевой рацион волка разнообразен.

Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.

Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны, и домашний скот.

До чего ж разнообразен пищевой рацион волчка — серого бочка: тут тебе и зайчики, и кудрявые овечки...»

Ничего, ничего, папуленька, радость моя, пиши; все пройдет! Все будет хорошо! Это Денисова разрушают сомнения, червивые мысли, чугунные сны. Это Денисов страдает словно от изжоги, целует Лору в темечко, уезжает к себе домой, заваливается на диван, под карту с полушариями, носками — к Огненной Земле, головой — под Филиппины, ставит пепельницу себе на грудь, окуривает холодные горы Антарктиды — ведь кто-то сидит же там сейчас, ковыряется в снежку во имя большой науки,— вот вам дымку, ребята, погрейтесь; отрицает Австралию, ошибку природы, слабо мечтает о капитане: пора бы протечь, деньги-то все прожиты,— и снова о славе, о памяти, о бессмертии...

Он видел сон. Купил он будто хлеба — как обычно, батон, круглый, бубликов десяток. И несет куда-то. В каком-то он будто бы доме. Может быть, учреждение — коридоры, лестницы. Вдруг трое — мужчина, женщина, старик, только что спокойно с ним разговаривавшие,— кто что-то объясняет, кто советы дает, как пройти,— увидели хлеб и как-то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдер-

жались. И женщина говорит: «Простите, это у вас хлеб?» — «Да вот купил...» — «А вы не дадите нам?..» Он смотрит и вдруг видит: да это блокадники. Они голодные. Глаза у них очень странные. И он сразу понимает: ага, они блокадники, значит, и я блокадник. Значит, есть нечего. И разом наваливается жадность. Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил — и вдруг сразу жалко стало. И он говорит: «Ну-у, я не знаю. Мне самому надо. Не знаю, не знаю». А они молчат и смотрят прямо в глаза. И женщина дрожит. Тогда он берет один бублик, тот, где мака поменьше, разламывает на части и раздает, но один кусок от этого бублика все-таки берет себе, придерживает. Руку как-то странно изгибает — наяву так не согнешь — и придерживает. Неизвестно зачем, ну просто... чтобы не все уж так-то сразу... И тут же уходит от них, от этих людей, от рук их протянутых, и вдруг он уже у себя дома и понимает: какая же к черту блокада? Никакой блокады. Да мы же вообще в Москве живем, за семьсот километров — с чего это вдруг? Вон и холодильник полон, и сам я сыт, и за окнами люди довольные идут, улыбаются... И сразу совестно, и в сердце нехорошая тошнота, и батон этот пухлый тяготит, и девять бубликов этих как звенья распавшейся цепи, и думает он: ну вот, зря пожадничал! Что это я? Свинья какая... И кидается назад: где эти, голодные-то? А их уже нет нигде, все, проехали, милый друг, упустил, ищи-свищи, все двери закрыты, время приоткрылось и захлопнулось, иди себе дальше, живи, живи, можно! Да пустите же!.. Откройте! Так все быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов! Он стучит в дверь, колотит ногами, пинает каблуком, дверь распахивается, там столовая, кафе какое-то, выходят спокойные едоки, утирают сытые рты, на тарелках — макароны, котлеты расковыренные... Тенью прошли те трое, заблудившиеся во времени, растворились, рассыпались, нет их, нет, не будет никогда, голое дерево качает ветвями, отражаясь в воде, низкое небо, горящая полоса заката, прощай.

Прощай! И он всплывает на своей постели, на диване, он всплыл, он скомкал простыню ногами, он ничего не понимает: что за глупость, в самом деле, зачем? И ему бы немедленно заснуть опять, и все бы прошло, и забылось к утру, и стерлось, как стираются слова на песке, на морском шумящем берегу, — так нет же, пораженный увиденным, он зачем-то встал, отправился на кухню и, бессмысленно глядя перед собой, съел бутерброд с котлетой.

А был темный июльский рассвет, самое его начало, и птицы еще не пели, и по улице никто не проходил, и для теней, привидений, суккубов и фантомов самое было подходящее времечко.

Как они сказали-то? «Дайте нам» — так, что ли? Чем больше он о них думал, тем яснее видел детали. Как живые,

честное слово. Нет, хуже, чем живые. У старика, например, появилась и упорствовала, настойчиво воплощаясь, шея, густо-коричневая, морщинистая шея, темная, словно кожа копченого сига. Ворот белесой, выцветшей из синего рубахи. И пуговица костяная, наполовину обломанная. Лицо условное — старик, и все, — но шея, ворот, пуговица так и стояли перед глазами. Женщина, видоизменяясь, пульсируя так и сяк, сложилась в худую, усталую блондинку. На тетю Риту покойную чем-то похожа.

А мужчина был толстый.

Нет, нет, они вели себя некорректно. Эта женщина, как она спросила: «Это у вас что, хлеб?..» Как будто не видно! Да, хлеб! Надо было не в авоську, а в сумку или хотя бы бумагой прикрыть. И что это: «Дайте нам»? Ну что это? А если у него самого семья, дети? Может быть, у него десять человек детей? Может быть, он детям нес, откуда они знают? Неважно, что детей нет, это, в конце концов, его дело. Купил — значит, надо было. Спокойно себе шел. И вдруг: «Дайте нам!» Ничего себе заявленьице!

Что они пристали? Да, он пожалел хлеба, было у него такое движение, верно, но бублик-то он дал, а сдобный, дорогой, румяный бублик, между прочим, лучше, ценнее черного хлеба, если уж на то пошло, это во-первых; а во-вторых, он же сразу опомнился, бросился назад, хотел все поправить, но все куда-то делось, сместилось, исказилось — что ж тут поделаешь? Честно, ясно, в полном сознании своей вины он искал их, ломился в двери, что ж поделаешь, если они не стали ждать и уплыли? Им надо было стоять и не двигаться, держаться за перила — там были перила — и спокойно дожидаться, пока он прибежит к ним на помощь. Десять секунд не могли потерпеть, тоже мне!.. Нет, не десять, не секунд, там все иначе, и место скользит, и время валится вбок рваной волной, и все это крутится, крутится; там одна секунда стоит большая, медленная, гулкая, как заброшенный храм, другая — мелкая, юркая, быстрая, — чиркнув спичкой, сжигает тысячу тысяч лет; шаг в сторону — и ты в чужой вселенной...

А мужчина этот был, пожалуй, неприятней всех. Во-первых, он был очень полный, неряшливо полный. И держался чуть в стороне, и смотрел хоть и отрешенно, но с неудовольствием. Он, кстати, не стал объяснять Денисову дорогу, он вообще не принял в разговоре никакого участия, но бублик взял. Ха, он бублик-то взял, первым сунулся! Он даже старика рукой толкнул! А сам толще всех! И рука у него такая белая, будто детская, с перетяжкой, и веснушки мелким пшеном по руке, и нос крючком, и голова яйцом, и очки! Вообще противный тип, и непонятно даже, что он там делал, в этой компании! Он явно был не с ними, он просто подбежал и присуседился, увидел, что раздают, — ну и.. Женщина эта, тетя Рита... Кажется, она была самая го-

людная из трюков... Ну что ж, я ведь дал ей бублик! Да это просто роскошь в их положении — такой свежий, румяный кусина... О боже, в каком положении?! Перед кем я оправдываюсь? Не было их, не было! Ни здесь, ни там, нигде! Смутное, бегущее ночное видение, струение воды по стеклу, мгновенная спазма в глубоком тупике мозга, лоннул ничтожный, пенужный сосудик, булькнул гормон, скнуло в мозжечке, в каком-нибудь турецком седле — как они там называются, эти пехоженные закоулки?.. Нехоженные закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень — летучая ли мышь, почная птица, или просто упал осенний лист? Вдруг все трепещет, отсыревает, плывет и вновь останавливается — пронесся и исчез короткий холодный дождь.

Где я был?

Тетя Рита. Станных спутников подобрала она к себе в компанию, тетя Рита! Если это, конечно, она.

Нет, не она. Нет. Тетя Рита была молодая. У нее была другая прическа: надо лбом валик, волосы светлые, прозрачные. Она вертелась перед зеркалом, примеряла кушак и пела. А еще что? Да ничего больше! Просто пела!

Замуж, должно быть, собиралась.

А потом она исчезла, и мать велела Денисову никогда больше о ней не спрашивать. Забыть. Денисов послушался и забыл. А пудреницу, которая от нее осталась, стеклянную, с фукалкой, с синей шелковой кистью, он променял во дворе на перочинный ножик, и мать побила его и плакала ночью — он слышал. И тридцать пять лет прошло. Зачем же его мучить?..

При чем тут блокада, хотел бы я знать? Блокада к тому времени давно уж кончилась. Начитаешься на ночь всякого...

А интересно: кто эти люди? Старик какого-то колхозно-рыбачьего вида. Как он туда попал?.. А толстяк этот — он что, тоже мертвый? Ох как он, должно быть, не хотел умирать, такие умирать боятся. Визгу, наверно, было! А дети кричали: папа, папа!.. За что он умер?

Товарищи, но почему же ко мне? При чем тут я? Я, что ли, убивал? Это не мои сны, я ни при чем, я-то не виноват! Прочь, товарищи! Пожалуйста, прочо!

Господи, как тошно от себя самого!..

Лучше он будет думать о Лоре. Красивая женщина. И что в ней хорошо, так это то, что она, по всем признакам сильно любя Денисова, совершенно ему не докучает, не требует непрерывного внимания, не покушается на его образ жизни и вообще гуляет сама по себе, шатаясь по театрам, подпольным вернисажам, саунам, пока Денисов, напряженно мысля, чахнет на своем диване и доискивается путей к бессмертию. Какие у нее еще там проблемы с папой? Папа хороший, смирный, папа что надо, папа при деле, Сидит в

своём кабинетике, ни во что не вмешивается, грызет шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму: «Любит весной хозяин полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными... А как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье — резко замедляется общий метаболизм у топыгыгина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен минусовый диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосяной покров да и эпидермис знатный...» О, вот бы так, медведем, забиться в нору, зарыться в снега, зажмуриться, оглохнуть, уйти в сон, пройти мертвым городом вдоль крепостной стены, от ворот до ворот, по мощеной мостовой, считая окна, сбиваясь со счета: это не горит, и это не горит, и вон то, и то никогда не зажжется, — только совы, и луна, и остывшая пыль, и скрип двери на ржавых петлях... ну куда они все подевались? Тетя Рита, вот хороший домик, маленькие окна, лестница на второй этаж, цветы на подоконнике, фартук и метла, свеча, кушак и круглое зеркало, живи здесь! Выглядывай по утрам из окошка: старик в синей рубашке сидит на лавочке, отдыхает от долгой жизни, веснушчатый толстяк несет зелень с базара, улыбнется, помашет рукой, а там точильщик точит ножницы, а там выбивают ковры... А вон Лорин папа едет на велосипеде, крутит педали, собаки бегут за ним вслед, путаются под колесами.

«Лора! Тошно мне, мысли давят, Лора, приезжай, расскажи что-нибудь! Лора? Алло!»

Но Лора не в силах добраться до Орехово-Борисова. Лора сегодня страшно устала, прости, Денисов. Лора ездила к Рузанне, у Рузанны что-то с ногой, кошмарный ужас. Она показывала врачу, но врач ничего не понимает — ну, как всегда, — а вот есть такая Виктория Кирилловна, так она посмотрела и сразу сказала: с вами, Рузанночка, сделано. А когда делают, то всегда на ноги. И можно даже узнать, кто эту порчу напустил, но это, сказала Виктория, вопрос второстепенный, потому что в Москве тысячи ведьм, а сейчас главное — попробовать снять, и прежде всего нужно окурить квартиру луковым пером, все углы, так что мы ходили и окуривали, а потом Виктория Кирилловна просмотрела все цветы в горшках и сказала: эти ничего, можно, но вот этот — вы что, с ума сошли, дома держать? — немедленно выкинуть. Она купила себе третью шубу, пришла на работу и сразу почувствовала, что атмосфера напряженная; это элементарная зависть, и даже непонятно, к чему такие низменные чувства; ведь в конце-то концов, говорит Рузанна, шубу она, если хотите, покупает как бы не себе, а другим, для повышения эстетического уровня пейзажа. Ведь ей, Рузанне, изнутри шубы все равно ничего не видно, а им всем, которые снаружи, становится интереснее и разнообразнее на душе. И причем бесплатно. Ведь чуть какая-

нибудь художественная выставка, «Мону Лизу» привезут или там Глазунова, они же по пять часов давятся в очередниках и еще свой кровный рубль платят. А тут Рузанна заплатила свои деньги, и пожалуйста — искусство с доставкой на дом! — так они же еще и недовольны. Просто мракобесие какое-то. И Виктория Кирилловна сказала: да, это мракобесие — и велела Рузанне лечь на кровать головой на восток. А Рузанна показала ей фотографию дачи, которая у них с Арменом на Черном море, чтобы Виктория сказала, все ли там в порядке, и Виктория внимательно посмотрела и говорит: нет, не все. Дом тяжелый. Очень тяжелый дом. И Рузанна расстроилась, потому что столько в эту дачу средств вколочено, неужели все перестраивать? Но Виктория ее успокоила, она сказала, что она выкроит время, придет к ним на дачу вместе с мужем — он тоже обладает какими-то удивительными способностями, — поживет там и посмотрит, чем можно помочь. Она спросила Рузанну, близко ли от них пляж и рынок, потому что это источники отрицательной энергии. Оказалось, совсем рядом, так что Рузанна еще больше расстроилась и просила Викторию помочь безотлагательно, просто умоляла немедленно вылететь на Кавказ и по возможности эти источники экранировать. И Виктория, золотая душа, берет с собой фотографию Рузанниной ноги, чтобы там, на юге, ее лечить.

А Лоре она сказала, что у нее энергетический пучок совершенно расфокусирован, позвоночный канал засорен, и точка Инь искрит непрерывно, и что это может плохо кончиться. Потому что мы живем у телебашни и наши с папой поля дико искривлены. А про папин случай — с папой у меня проблемы — она сказала: это за пределами ее компетенции, но вот сейчас в Москве с визитом какой-то совершенно замечательный гуру, имя не произнести, Пафнутий, допустим, Эпаминондович, он излечивает верующих в него плевками. Совершенно необразованный, чудный старикан, борода до колен и глаза такие пронзительные-пронзительные. Не верит в кровообращение и многих уже убедил, что его нет; даже одна врачиха из ведомственной поликлиники, большая его поклонница, совершенно убеждена, что, в сущности, он прав; никакого кровообращения нет, учит Пафнутий, а только одна кажимость, а вот соки есть, это да. И ежели в человеке соки застоялись — это болезнь, свернулись — увечье, а если совсем, к чертовой бабушке, высохли, то тут ему, родимому, и кондрашка. А лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует смирения: надо упасть к нему в ножки и попросить: «Подсоби ты мне, дедушка, червя малому и убогому», — и ежели хорошо попросишь, то он плюнет в тебя, и, говорят, сразу легче, сразу будто озарение и душевный подъем. Курс лечения — две недели, причем не курить, и чаю нельзя, и даже молока ни боже мой, а пить только сырую воду через нос.

Ну, конечно, всякие академики бесятся, ты же понимаешь, у них вся научная работа летит, и аспиранты на сторону смотрят, но тронуть его не могут, потому что он вылечил какое-то начальство. И, говорят, приезжали из Швейцарии, фирма эта — как ее, «Сандоз», или как ее? — в общем, брали у него слюну на анализ, они же без химии ни шагу, бездуховность такая, ужас, — так вот, результаты засекречены, но якобы нашли в дедовой слюне левомицетин, олететрин и какой-то фактор пси. И они у себя в Базеле строят два завода для промышленного выпуска этого фактора, а этот журналист, Пострелов, ну ты знаешь, знаменитый, так он пишет сейчас очень острую статью в том смысле, что не допустим ведомственной волокиты и разбазаривания отечественной слюны, а не то опять придется покупать собственное достояние на валюту. Да, это все точно, а я вот вчера стояла в магазине «Наташа» за перуанскими бобочками, ничего, только воротничок грубый, и разговорилась с одной женщиной, она знает этого Пафнутия и может к нему устроить, пока он в Москве, а то он потом опять уедет к себе в Бодайбо. Ты меня слушаешь?.. Алло!

Глупая женщина, она тоже бредет наугад, вытянув руки, обшаривая выступы и расселины, спотыкаясь в тумане, она вздрагивает и ежится во сне, она тянется к блуждающим огням, ловит неловкими пальчиками отражения свечей, хватается круги на воде, бросается за тенью дыма; она склоняет голову на плечо, слушает шуршание ветра и пыли, растерянно улыбается, озирается — где оно, то, что сейчас промелькнуло?

Булькнуло, екнуло, порскнуло, ахнуло — лучше гляди! — сзади, наверху, вниз головой, пропало, нету!

Океан пуст, океан штормит, с ревом ходят горы черной воды в свадебных венцах кипучей пены; далеко, просторно бежать водяным горам — нет преграды, нет предела штормовому кипению; Денисов отменил Австралию, вырвал с хрустом, как коренной зуб: уперся одной ногой в Африку — кончик отломился, уперся крепче — хорошо; другой ногой в Антарктиду — скалы колются, в ботинок набился снежок, встать поустойчивее; ухватил крепче ошибочный континент, пошатал туда-сюда — крепко сидела Австралия в морском гнезде, пальцы скользили в подводной тине, кораллы царпали костяшки. А ну-ка! Еще раз... эпа! Вырвал, вспотел, держал обеими руками, утерся локтем; с корня у нее капало, с крышки сыпался песок — пустыня какая-то. Бока холодные и скользкие —росло порядочно. Ну и куда ее теперь? В северное полушарие? А там место есть? Денисов стоял с Австралией в руках, солнце светило ему в затылок, вечерело, далеко было видно. Зачесалась рука под ковбойкой — э, да на ней мураши какие-то! Кусаются!.. Ч-черт... Он плюхнул тяжелую кокорыжину назад — брызги, — булькнула, накренилась, затонула. Эх... Не так он хо-



тел... Но ведь укусил же кто-то! Он присел на корточки, разочарованно поболтал рукой в мутной воде. Ну и черт с ней. Ладно. Население там было неинтересное. Бывшие каторжники. И вообще он хотел как лучше. Вот только тетю Риту жалко... Денисов повернулся на диване, уронив пельницу, укусил подушку, завыл.

Глубокой ночью он взлелеял мысль о том, что хорошо бы стать во главе какого-нибудь небольшого, но чистого движения. Скажем, за честность. Против воровства, допустим. Очиститься самому и позвать за собой других. Для начала вернуть все зачитанные книги. Не заигрывать спички и авторучки. Не красть туалетную бумагу в учреждениях и междугородных поездах. Потом больше, больше — и, глядишь, потянутся люди. И пресекать зло, где бы ни встретил. Глядишь — и помянут тебя добрым словом.

На другой же вечер, стоя в очереди за мясом, Денисов заметил, что продавец жулит, и решил немедленно крикнуть слово и дело. Он громко оповестил граждан о своих наблюдениях и предложил всем, кто взвесил свои куски и направился платить, вернуться к прилавку и потребовать перевеса и пересчета. Вон же и контрольные весы стоят. И доколе, о соотечественники, будем мы терпеть кривду и уроны? И доколе звери алчные, пиявицы ненасытные будут попирать наш трудовой пот и насмехаться над голубиной нашей кротостью? Вот вы, дедуль, перевесьте свою грудинку. Клянусь честью, там одной бумаги на двугривенный.

Очередь забеспокоилась. Но старик, к которому воззвал праведный глас Денисова, сразу обрадовался, сказал, что такую контру, как Денисов, он рубал на южных и юго-восточных фронтах, что он боролся с Деникиным, что он как участник ВОВ получает к праздникам свой шмат икры, и ветчину утюжком производства Федеративной Республики Югославии, и даже две пачки дрожжей, что свидетельствует о безоговорочном доверии к нему, участнику ВОВ, со стороны государства в том плане, что он не употребит дрожжи во зло и самогон гнать не будет; сказал, что теперь он в ответ на доверие государства каленым железом выжигает половую распущенность в ихнем кооперативе «Черный лебедь» и не позволит всяким гадам в японских куртках бунтовать против нашего советского мясника, что правильно сориентированный человек должен понимать, что нехватка мяса объясняется тем, что кое-кто завел дорогих, недоступных простому народу собак и те все мясо поели; а что если масла нет — значит, и войны не будет, потому что все деньги с масла пошли на оборону, а кто носит тапки «ади-дас», тот нашу родину предаст. Сказав, старик отошел, довольный.

Несколько человек, прослушав стариковы речи, посерьезнели и бдительно осмотрели одежду и ноги Денисова, но большинство охотно зашумели, дали взвесить мясо и, убе-

дившись, что разнообразно обсчитаны, радостно возмутились и, счастливые своей правотой, толпой двинулись в подвал, к директору. Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило невидимое солнце Девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но тут вдруг директорская дверь распахнулась, и из тусклого закута с полными сумками в руках — женскими, стегаными, в цветочек — выплыл знаменитый красавец актер Рыкушин, буквально на этой неделе мужественно хмурившийся и многозначительно куривший в лицо каждому с телеэкрана. Бунт немедленно распался, узнавание было радостным, хотя и не взаимным, женщины взяли Рыкушина в кольцо, тут же сиял кучерявый директор, произошло братание, кое-кто прослезился, незнакомые люди обнимали друг друга, одна полная женщина, которой было плохо видно, влезла на бочонок с сельдью и отцицеронила такую горячую речь, что было тут же решено направить коллективную благодарность в торг, а Рыкушина просить взять творческое шефство над двести тридцать восьмью ясельками с ежегодным появлением в виде Деда Мороза. Рыкушин кудрявил блокнот, вырывал листки с автографами, пускал по волнам голов; сверху; из торгового зала, валили новые поклонники, под руки вели ослепшую от волнения четырежды орденоносную учительницу, а пионеры и школьники со свистом съезжали вниз по шатким перилам, шлепаясь в капустные отвалы, Денисов что-то сипел о правде, его не слушали. Он рискнул, присел на корточки, отогнул край рыкушинской сумки, ковырнул бумагу. Там были языки. Так вот кто их ест! Он снизу, с корточек, заглянул в холодные глаза гурмана, и тот ответил взглядом: да. Вот так. Положь на место. Народ за меня.

Денисов признал его правоту, извинился и выбрался вон против течения.

Вид безмятежно существующей Австралии вызвал у него ярость. Вот тебе! Он дернул карту и вырвал пятую часть света вместе с Новой Зеландией. Заодно и Филиппины треснули.

Ночью сочилось с потолка. Капитан приехал. Деньги будут. Вот написать повесть о капитане. Кто он да откуда. Где плавает. Почему капает. А почему он действительно капает? Без воды не может?

А может быть, у него труба проржавела.

Или он пьян.

Или он приходит в ванную, кладет голову на край умывальника и плачет, плачет, как Денисов, плачет, оплакивает свою бессмысленную жизнь, морскую пустоту, обманчивую красоту лиловых островов, людские пороки, женскую глупость, оплакивает утонувших, погибших, забытых, преданных, ненужных; слезы текут по замызганному ручноймойному фаянсу, льются на пол, вот уже поднялись до щиколоток, вот дошли до колена, рябь, круги, ветер, шторм, Разве не

сказано: сердце мудрых — в доме плача, сердце глупых — в доме веселья?

Тетя Рита, где ты? В каких пространствах бродит твой легкий дух, знаком ли тебе покой? Носишься ли ты бледным ветерком над лугами мертвых, где мальвы и асфодели, воешь ли зимней бурей, протискиваясь в щели теплых чело-веческих жилищ, поешь ли в звуках рояля, рождаясь и умирая вместе с музыкой? Может быть, скулишь бездомной собакой, торопливым ежом перебегаешь ночную дорогу, безглазым червем свернула под сырым камнем? Видно, плохо тебе там, где ты теперь, иначе зачем проникать в наши сны, протягивать руку, просить подаяния — хлеба или, может быть, просто памяти? И кого это ты взяла к себе в компанию, ты, такая красивая, со светлыми волосами, с цветным кушаком? Или те дороги, по которым вам бежать, так опасны, леса, где вам ночевать, так холодны и пустынно, что вы сбиваетесь в шайки, жметесь друг к другу, держитесь за руки, пролетая ночью над нашими освещенными домами?..

Неужели и мне через короткий неведомый срок тоже предстоит вот так скитаться, скулить, стучаться: вспомни, вспомни!.. Предраассветный стук копыт по булыжной мостовой, глухой удар яблока в облетевшем саду, всплеск волны в осеннем море — кто-то просится, царапается, хочет вернуться, но ворота закрыты, и замки заржавели, и выброшен ключ, и умер сторож, и никто не пришел назад.

Никто, слышите, никто не пришел назад! Слышите?! Я сейчас закричу!!! Аааааааааааа! Никто! Никто! И всех нас несет туда, толкает в спину неодолимая сила, ноги скользят по осыпающемуся склону, руки цепляются за кустики травы, дайте же хоть опомниться, передохнуть! Что останется от нас? Что останется от нас? Не трогайте меня! Лора! Лора! Да Лора же!!!

...И вот она возникла из тьмы, из сырого тумана, возникла и двинулась ему навстречу не торопясь — топ-перетоп, шаг-перешаг — в каких-то разнузданных золотых сапожках, в наглых, раскоряченных, развратно коротких сапожках; худые, сырые щиколотки ее поскрипывали, покачиваясь в золотой коже, выше свивался и шелестел пышный плащ в черном бисере ночного тумана, бряцали и лязгали пряжки, еще выше двигалась улыбка — и уличные огни лунной радугой вспыхивали на розовых зубах, над улыбкой нависли тяжелые очи, и все это шевеление, весь этот риск и блеск, торжество и безобразия, весь клубящийся живой омут был пришлепнут сверху трагической мужской шляпой. Господи боже, царю небесный, вот с ней и предстоит делить ему ложе, стол и мечты. Какие мечты? Неважно. Всякие. Красивая женщина, болтливая женщина, в головке — мусор, но красивая женщина!

— Ну, здравствуй, Денисов, сто лет не виделись!

— Что это за онучи на тебе, прелестница? — недовольно спросил Денисов, целуемый Лорою.

Она удивилась и посмотрела на свои сапоги, на их мертвые золотые обшлага, вывернутые, как бледная плоть поганок. То есть как это?! Что это с ним? Да она их уже целый год носит, он что, забыл? Другое дело, что пора уже новые покупать, но ей совершенно сейчас не до того, потому что, пока он там себе отшельничал, с ней случилось кошмарное несчастье: дело в том, что она в кои-то веки выбралась в театр, она хотела хоть немного отдохнуть от папы и пожить, как все люди, а папу она отправила на дачу и попросила Зою Трофимовну за ним присмотреть, Зоя Трофимовна больше трех дней выдержать не смогла, да и никто бы не смог, ну это к слову, — так вот, пока она прохлаждалась в подвальном театрике — очень модном, очень труднодоступном театрике, где все-то оформление — рогожа да канцелярские кнопки, где с потолка каплет, но дух светел, где дует по ногам, но как войдешь, так тебе сразу и катарсис, где такое горение и святые слезы, что просто держите меня; так вот, пока она там валандалась и хлопала ушами, их квартиру обчистили злоумышленники. Все вынесли, буквально все: и подсвечники, и лифчики, и подписного Мольера, и филимоновскую ядовито-розовую игрушку в форме мужика с книгой — подарок одного писателя-деревенщика, прирожденный гений, не печатают, а он пешком пришел из глубинки, ночует по добрым людям и принципиально не моется, принципиально, потому что знает Главную Правду и ненавидит кафель лютой ненавистью, просто багровеет, если видит где-нибудь кафель или метлахскую плитку, у него и цикл поэм есть антикафельный — могучие, бревенчатой силы строки, там все что-то гой! гой еси! и про гусли-самогуды, что-то очень глубинное, — так вот, и подарок его пропал, и шуршащий вьетнамский занавес сняли, а что не могли вынести, то сдвинули с места или повалили. Ну что за люди, просто я не знаю! Она, естественно, заявила в милицию, но толку от этого, конечно, никакого не будет, потому что у них там такие страшные стенды — дети, пропавшие без вести, женщины, по многу лет их не могут найти, так неужели они тут же бросятся прочесывать Москву в поисках каких-то там лифчиков? Хорошо еще, что папины рукописи не выбросили, только распушили. Так что вот, всем этим она страшно расстроена, а еще она расстроена тем, что была на вечере встречи с бывшими одноклассниками, пятнадцатая лет окончания школы, и все изменились так, что просто не узнать, просто кошмар какой-то, чужие люди, но главное не это, а главное то, что у них были такие Маков и Сысоев, сидели на задней парте и плевались жеваной бумагой, приносили в школу воробьев и вообще были не разлей водой; так вот, Маков погиб в горах — там и остался, и уже четыре года назад, и никто не знал, подумать только,

просто герой, больше ничего, а Сысоев стал такой сытый и довольный, приехал на черной машине с шофером и велел шоферу ждать, и тот действительно весь вечер проспал в машине, а когда ребята узнали, что Сысоев такой важный и главный, а Маков лежит где-то в расщелине под снегом и не может прийти, а эта свинья поленился пройтись пешочком и прикатил на казенной машине, чтобы всем тыкать этой машиной в глаза,— вышла небольшая драчка и заваруха, и вместо теплых объятий и светлых воспоминаний устроили Сысоеву бойкот, как будто не о чем больше было поговорить! И как будто он виноват, что Маков полез в эти горы! И все просто озверели, так грустно все это, а один мальчик — конечно, он уже лысый совсем, Пищальский Коля,— наковырял из салата крабов, и счистил их со своей тарелки прямо на лицо Сысоеву, и кричал: ты ешь, ты привычный, а мы люди простые! И все думали, что Сысоев его за это убьет, а он ничего, он очень смущался и хотел общаться, а все отворачивались, и он ходил такой растерянный и всем предлагал, кто хочет, противотуманные фары. И потом он ушел как-то боком, и девочки стали его жалеть и кричать: вы не люди! что он вам сделал? И так все и разошлись, злые и злобные, и ничего из вечера не вышло. Вот так вот, Денисов, а ты что молчишь, я по тебе соскучилась, пошли к нам, правда, там здорово разговорано, но я уже привела все в более или менее божеский вид.

Скрипели золотые Лорины сапоги, шуршал плащ, сияли глаза из-под шляпы, брови пахли розами и дождем... а дома, в прокуренной комнате, под мокнущим потолком, прищемленная сдвинутыми пластинами времени, бьется тетя Рита со товарищи; она погибла, и порвался кушак, и рассыпалась пудра, и сгнили светлые волосы; она ничего не сделала за свою короткую жизнь, только спела перед зеркалом, и вот теперь, мертвая, старая, голодная, испуганная, мечется в государстве снов, попрошайничает: вспомни!.. Денисов крепче ухватил Лорин локоть, повернул к ее дому, разгоняя туман: не надо им расставаться, быть им всегда вместе, под одной фигурной скобкой, неразрывно, неразъемно, нерасторжимо, слитно, как Хорь и Калиныч, Лейла и Меджнун, «Дымок» и спички.

Чашки были украдены, так что пили из стаканов. Белоснежный папа, уютный, как сибирский кот, ел пончики, зажмурив от счастья глаза. Вот и мы тоже, как те трое — старик, женщина, мужчина, думал Денисов, мы тоже сбились вместе, высоко над городом, посмотреть сторонним взглядом — что нас объединяет? Маленькая семья, мы нужны друг другу, слабые и запутавшиеся, ограбленные судьбой,— он без работы, она без головы, я без будущего. Так сбиться же тесней, держаться за руки, один споткнется — двое поддержат, есть пончики, никуда не стремиться, запеться от людей, жить, не поднимая головы, не ожидая

славы... в положенный срок закрыть глаза поплотней, подвязать челюсть, скрестить на груди руки... и благополучно раствориться в небытие? Нет, нет, ни за что!

— Занавески все вынесли, подлые, — вздыхала Лора. — Ну зачем им мои занавески?

Туман улегся, а может быть, он и не поднимался до шестнадцатого этажа, этот легкий летний туман, — в оголенные окна смотрела чистая чернота, драгоценные огни далеких жилищ, и только на горизонте, в лакированной японской тьме вспухал оранжевый полукруг встающей луны, словно проступила вершина горы, освещенная фруктовым утренним светом. Где-то там, в горах, вечным сном спит Маков, Лорин одноклассник, поднявшийся выше всех людей и оставшийся там навсегда.

Светлеет розовая вершина, скалы пылят снегом. Маков лежит, вглядываясь в небосвод; холодный и прекрасный, чистый и свободный, он не истлеет, он не состарится, не заплачет, никого не уничтожит, ни в чем не разочаруется. Он бессмертен. Может ли быть судьба завиднее?

— Послушай, — сказал Лоре пораженный Денисов, — но если ваши дундуки ничего про этого Макова не знали, то, может быть, его сослуживцы?.. Музей там какой-нибудь организовали бы или что-то такое? И почему бы вашей школе не носить имя Макова, ведь он же ее прославил?

Лора удивилась: какой там музей, господь с тобой, Денисов, где ж музей-то? Он учился через пень колоду, бросил институт, потом армия, то-се, а в последние годы вообще работал кочегаром, потому что любил книжки читать. Семья с ним намучилась, ужас, это я знаю от Нинки Зайцевой, потому что ее свекровь с маковской маманей вместе работают. А школа имени Макова никак быть не может, потому что уже носит имя А. Колбасявичюса. С которым, между прочим, тоже все не так просто, потому что, видишь ли, было два брата-близнеца Колбасявичюсы, один убит лесными братьями в сорок шестом году, а второй сам был лесным братом и умер, объевшись поганками. А поскольку инициалы у них были одинаковые, а по внешности родная мать не могла их различить, то возникает крайне двусмысленная ситуация: можно было бы считать, что школа — имени брата-героя, но в свое время местные следопыты выдвинули версию, что брат-герой проник в лесное логово и там был коварно погублен бандитами, распознавшими подмену и окорившими его ядовитым супчиком, а брат-бандит осознал свое заблуждение и честно пошел сдаваться, но по ошибке был застрелен. Ты понял, Денисов? Один из них точно герой, но кто именно — не установлено. Наша директорса просто с ума сходила, она даже подала петицию, чтобы школу переименовали. Но все равно о Макове даже речи идти не может, он же не сталевар, верно?

Вот она, людская память, людская благодарность, подумал Денисов, и почувствовал себя виноватым. Кто я? Никто. Кто Маков? Забытый герой. Может быть, судьба, обувшись в золотые сапожки, подсказывает мне: прекрати метаться, Денисов, вот твое дело в жизни, Денисов! Извлеки из небытия, спаси от забвения погибшего юношу; над тобой посмеются — стерпи, будут гнать — держись, унижат — пострадай за идею. Не предавай забытых, забытые стучатся в наши сны, вымалывают подавания, воют ночами.

Когда Денисов уже засыпал в обворованной квартире высоко над Москвой, а рядом засыпала Лора и темные волосы ее пахли розой, поднялась голубая луна, легли глубокие тени, скрипнуло в глубине квартиры, прошуршало в прихожей, стукнуло за дверью и что-то мягко, мерно, медленно — скок! скок! — двинулось по коридору, доскакало до кухни, пискнуло дверью, повернулось и — скок! скок! скок! — направилось в обратный путь,

— Эй, Лора, что это такое?

— Спи, Денисов, ничего. Потом.

— Как это потом? Ты слышишь, что делается?

— О боже мой, — зашептала Лора, — ну это папа, папа! Я же тебе говорю, что у меня проблемы с папой! Он сомнамбула, он ходит во сне! Ну я же тебе говорила, что выперли с работы, и у него сразу же это началось! Что я могу поделывать? Я у лучших врачей была! Тенгиз Георгиевич сказал: побегаешь и перестанет. А Анна Ефимовна сказала: что вы хотите, это возрастное. А Иван Кузьмич сказал: чертей не ловит — и слава тебе, Господи! А через Рузанну я вышла на одного экстрасенса из Министерства тяжелой промышленности, так после сеанса стало только хуже: он голый бегаешь. Спи, Денисов, мы все равно ничем не поможем.

Но какой уж тут мог быть сон, тем более что зоолог, судя по звукам, снова доскакал до кухни, и там что-то рухнуло со звоном.

— Ой, я с ума сойду, — заволновалась Лора, — он последние стаканы побьет.

Денисов натянул штаны, Лора бросилась к отцу, раздались крики.

— Ну что он делает! Господи, он мои сапоги надел! Папа, я тебе тыщу раз говорила... Папа, да проснись же ты!

— Теплокровные, ха-ха! — рыдая, кричал старичок. — Они называют себя теплокровными! Простейшие, и больше ничего! Уберите свои псевдоподии!

— Денисов, да хватай же ты его сбоку! Папочка, папочка, успокойся! Валерьянки сейчас... За руки, за руки держи!

— Пустите меня! Вон они! Я их вижу! — рвался сомнамбула, и сила у него откуда-то бралась немислимая, На

голом теле зимними, шерстяными вещами казались усы и борода.

— Да папочка же!

— Василий Васильевич!

Ночь летела над миром, далеко во тьме кипел океан, растерянные австралийцы озирались, огорченные исчезновением своего континента, капитан заливал горячими слезами проголодавшийся от славы Рыкушин, Рузанна спала головой на восток, Маков спал головой в никуда — каждый занят был своим делом, и кого могло взволновать, что посреди города, в вышине, в перламутровом свете луны мечутся, борются, топчутся, кричат и страдают живые люди — Лора в прозрачной сорочке, лицезреть которую не отказались бы и цари, зоолог в золотых сапогах и Денисов, истерзанный видениями и сомнениями?

...Дачная местность была чудесной — дубы, дубы, а под дубами лужайки, а на лужайках в красноватом вечернем свете играли в волейбол, — гулко чвакал мяч, медленный ветер проводил по дубам, и дубы медленно отвечали ветру. И маковская дача тоже была чудесная — старая, серая, с башенками. А среди клумб под сырой вечерней черемухой сидели за круглым столом, пили чай с малиной и смеялись четыре сестры, мать, отчим и тетка Макова; тетка держала на руках младенца, тот помахивал пластмассовым попугаем, в сторонке умилялась безвредная собака, и даже какая-то птица пешочком, не торопясь шла по дорожке по своим делам, не потрудившись хотя бы из вежливости всполошиться при виде Денисова и броситься куда попало. Он был немного разочарован идиллией. Конечно, напрасно было бы ожидать, что дом и сад убраны траурными флагами, и что ходят на цыпочках, и что черная от горя мать лежит пластом на постели и не сводит глаз с сыновнего ледоруба, и что время от времени то один, то другая выхватывают скомканный платок, чтобы вцепиться в него зубами и удушенно зарыдать, — но все-таки чего-то печального он ждал. А они забыли, они все забыли! А он-то тоже хорош: с букетом, будто поздравить... Они обернулись и с недоумением, с испуганными улыбками смотрели на Денисова, на вязанку бархатцев в его руке, багровых, как закат перед ненастьем, как запекшиеся кровяные корочки, как мементо мори. Младенец, самый чуткий, еще не забывший той страшной тьмы, откуда недавно был вызван, сразу догадался, кем послан Денисов, закричал, забился, хотел предупредить, но слов не знал.

Нет, ничего печального не было видно, печальным было разве то, что Макова здесь не было: не играл он в волейбол под медленными дубами, не пил чай под черемухой, не гонял поздних комаров. Денисов, твердо решившийся пострадать во имя покойного, преодолел неловкость, вручил цве-



ты, поправил траурный галстук, подсел к столу, объяснился. Он — посланец забытых. Такова его миссия. Он хочет знать об их сыне все. Может быть, напишет его биографию. Музей, а если нельзя, то хотя бы уголок в музее организует. Стенды. Детские вещи. Чем увлекался. Может быть, собирал бабочек, жуков. Чай? Да-да, с сахаром, спасибо, две ложки. С гляциологами надо будет связаться. Возможно, восхождение Макова чем-то важно для науки. Увековечение памяти. Ежегодные Маковские чтения. Помечтаем: пик Макова — почему бы нет? Фонд Макова с добровольными пожертвованиями. Да мало ли!..

Сестры повздыхали, отчим курил, скучливо подняв седые брови, а мать, тетка и младенец заплакали, но то был грибной дождь — любые слезы высыхали здесь, среди малины, дубов и черемухи, — и медленный ветер, прилетев с далеких цветущих полян, подсказывал: брось. Все хорошо. Все спокойно. Брось... Мать придавила платком нос, чтобы не дать слезам ходу. Да, печально, печально... Но все прошло, слава богу, прошло, забылось, утекло водой, зацвело желтыми кувшинками! Жизнь, знаете ли, идет! Вот Жанночкин первенец. Это наш Василек. Василек, ну-ка, где у бабы нос? Пра-авильно. Агу-гу-леньки! Ату-тусеньки! Вера, он мокрый. Вот наш сад. Клумбы, видите? Ну, что же еще... Вон там гамак. Удобно, да? А это Ирочка наша, она замуж выходит. Хлопот, знаете! Все молодым устрой, все им подай!

Ирочка была премиленькая — молодая, загорелая. Комары ужинали на ее голой спине. Денисов засмотрелся на Ирочку. Ветерок покачивал черные ягоды черемухи.

— Пойдемте, сад посмотрим. Как у меня помидоры хорошо взялись.— Маковская мать отвела Денисова в глубь сада и зашептала: — Девочки Сашу очень любили. Ирочка особенно. Ну что же делать. Я вижу, вы с душой, помочь хотите. У нас просьба к вам... Она замуж выходит, мы мебель им достаем... И знаете, она шкаф «Сильвия» хочет. Сбились с ног. Ведь молодые, что ж... Им жить хочется. Если бы Саша был жив, он был всю Москву перевернул... В память Сашин... для Ирочки... «Сильвию», а? Молодой человек?..

«Сильвию» покойнику! — крикнули незримые силы. Вечная память!

— «Сильвия»... «Сильвия» шкаф... Как бы Саша радовался... Как бы радовался... Ну, еще чайку давайте.

И они пили чай с малиной, и дубы никуда не спешили, и Маков лежал в высоте, в алмазном блеске, скалясь в небо нестареющими зубами.

Долг есть долг. Хорошо, пусть это будет шкаф. Почему нет? От Макова останется шкаф. От тети Риты — стеклянная пудреница. Пудреницу я променял. Ничего не осталось. Загробная темь. Выжженная степь. Мерзлая наледь. Грибная сырость подвала. Железный запах крови. Шестая часть света, вырванная с мясом. Нет! Ничего не хочу знать! Я ни-

чем не мог помочь, я был маленький! Я помогаю только Макову, за всех, за всех, за всех! И когда крупные вежливые санитары уводили рыдающего капитана и он цеплялся за притолоки, за почтовые ящики, за шахту лифта, расставлял ноги, подгибал колени, визжал, а потом из его квартиры вынесли и отдали пионерам на макулатуру сотни бумажных корабликов, а я и все соседи стояли и смотрели — я тоже ничем не мог помочь, я помогаю только Макову!

Ничего не хочу знать! Шкаф, только шкаф! Шкаф, буфет, мебельный гарнитур с бронзовыми вставками — золотой волосок, не толще! — с блестящими уголками, с деликатной резьбой, с мелким блеском стекольных шашек. Нежные ямки резьбы — мягко, легко так, будто заяц пробежал, — чудесный, чудесный кусок жилья!

Будто заяц пробежал в коридоре. Лорин папа. Дзины! — разбил что-то. Пудреницу. Нет, стакан. Они пьют чай с малиной из стаканов. Маков смотрит в небо: достаньте шкаф во имя мое! Согласен. Я постараюсь. Я готов пострадать. Я пострадаю — и Маков отпустит меня. И капитан отпустит. И тетя Рита. И ее товарищи опустят невыносимые глаза.

Лора ровно дышит во сне, волосы ее пахнут розами, в коридоре шуршит зоолог, двери заперты — куда убежишь? — пусть побегает, — выдохнется, устанет, лучше будет спать. «Я знал, но забыл, я знал, но забыл, я знал, но забыл», — бормочет он, и глаза его закрыты, и ноги легки. Взад-вперед, взад-вперед, по лунным квадратам, мимо книжных полок, от входной двери до кухонной. Взад-вперед, может быть, надел Лорину шляпку или босоножки, может быть, повязал шею газовым шарфиком или украсил голову дуршлагом, он любит ночные безделушки; взад-вперед, от двери до двери, мягкими прыжками, высоко поднимая колени, вытянув руки вперед, словно ловит что-то, но ни разу еще не поймал, — веселая охота, безобидные жмурки, никакого вреда. «Я знал, но забыл!»

Утром пришел красный рассвет, растворилась гора с черной букашкой Макова на вершине, усталый лунатик сладко уснул, запели дегенеративные городские птицы, и две голубые слезы скатились из денисовских глаз в денисовские уши.

В поисках «Сильвии» Денисов толкался в самые разные двери, но везде нарывался на отказы. Вы что? Импорт сокращен! А уж «Сильвия» тем более! Ишь!.. Да ее и генерал не достанет! Разве маршал, да и то смотря какой! Какого рода войск! Нет, товарищ Петрюков вам не поможет. И Козлов не поможет. И к Люлько не обращайтесь — бесполезно. А вот товарищ Бахтияров... Товарищ Бахтияров может сделать, помочь, но человек он прихотливый и своеобразный, характер у него кудрявый и непредсказуемый, и как этого Бахтиярова взять за жабры — одному дьяволу известно. Но, безусловно, ловить его надо не в кабинете, а где-ни-

будь в «Лесной сказке», когда товарищ кушает и расслабляется. Можно и в баньке, и в баньке-то лучше всего, и это старинный способ — подгадать момент, когда красавица сбросит лебединые перья и оросит себя, так сказать, родниковыми струями, — тут-то ее, голубушку, и цопнуть, перья — в загашник, а от самой просить, чего душа пожелает. Но Бахтияров на красавицу не тянет, увидите сами, и перья его, и штаны, и чемодан с бельем и всякими закусками и заедками до того надежно охраняются, и банька до того непростая, и так она ловко поворачивается к лесу передом, к людям задом, что проникнуть в нее без петушиного слова не могли и думать. Так что попробуйте все-таки в загородном поищите, в «Сказке». Ну что делать, попробуйте! Он там отдыхает.

И была «Сказка».

Фу ты, до чего там было тепло, до чего нарядно, а как славно пахло! Сейчас бы Лору сюда, да денег побольше, да вон в тот угол под желтым абажуром, где салфетки кулком, где мягкие кресла! Покой измученной, полубезумной душе!

Шли официанты, и Денисов спросил самого сладкого и ласкового: нет ли тут, часом, товарища Бахтиярова? — и тот сейчас же полюбил Денисова, как родного брата, и мизинчиком указал и направил: вон там товарищ отдыхают, В кругу друзей и прекрасных дам.

Теперь туда — будь что будет, — туда, — не за себя прошу, — туда, где куполом клубится синий дым, где порывами ветра гуляет хохоток, где шампанское пенным крюком выскакивает на скатерть, где тяжелые женские спины, где кто-то в сиреновом галстучке, щуплый, собачистый, быстро вертится вокруг Хозяина, непрерывно его обожая. Шагнуть — и он шагнул, и пересек черту, и стал посланцем забытых, безымянных, реющих в снах, занесенных снегом, белой костью торчащих из степной колеи.

А товарищ-то Бахтияров оказался человеком круглым, мягким, китаецобразным, даже каким-то славненьким с виду, и сколько ему было лет — шестьдесят или двести, — сказать было нельзя. Видел он человека насквозь, все видел — и печенку, и селезенку, и сердчишко, да только не нужна была ему ваша печенка-селезенка — черт ли в ней, — вот и не смотрел он на вас, чтобы не прострелить насквозь, и разговоры завивал куда-то вбок и мимо. Ел товарищ Бахтияров телятину нежности прямо-таки возмутительной, преступно юного ел поросеночка, и зелень была — три минуты как с грядки — столь невинная, еще и не опомнилась, росла себе и росла, вдруг хоп! — и сорвали, и крикнуть-то не успела, а уж ее едят.

— Люблю молодежь кушать, — сказал Бахтияров. — А вам, зайчик, нельзя: язва у вас, по лицу вижу. — И точно, угадал: у Денисова была старинная язва. — А вот я вас с

пользой попотчую,— сказал Бахтияров.— За мое ли здоровьечко, за мое ль за разлюбезное.

И по его щелчку подали тушеную морковь и воду «Буратино».

— Думаю я, думаю,— говорил он между тем,— день и ноченьку все думаю, а ответа не придумаю. Вот вы человек, видать, ученый — глазки у вас эвон какие невеселенькие, ну-ка подскажите. Отчего пивной завод — имени Стеньки Разина? Ведь это ж, голуби мои, государственное учреждение, план-переплан, отчетность, соцсоревнование, партком,— держите меня,— местко-ом! Местком! Шутка ли? И тут же какой-то разбойник. Нет, не понимаю. По-моему, смешно. Смейтесь!

Дамы опять открыли рты и захохотали.

— Ка-ак у тещи в чем-модане береженный шевион... он не тлеет, он не преет, не ржавеет, не гниет,— вдруг запел сиреневый, поводя плечами и притопывая.

— Вот как мы тут славно шуткуем,— говорил довольный Бахтияров,— светлым детским смехом смеемся да посмеиваемся, и все в рамках дозволенного, все в граничках допустимого... И все-то у нас ладушки, а у вас ко мне просьбишка, а вот-ка мы ее послушаем...

— Собственно, дело очень простое, то есть очень сложное,— сосредоточился Денисов.— То есть, видите ли, я как бы прошу не для себя, лично мне ничего не нужно...

— Клен ты мой опавший, кто ж для себя просит, для себя нынче никто не просит... Нынче только плюнь — набегут проверяльщики, подхватят под белы ручки,— туда ли плюнул, да где слюну брал, да на каком таком основании,— а мы что, мы ничего, чистенькие... А можно, я вас буду звать цыпа-ляля? Ты мороз, мороз! — запел товарищ Бахтияров.— Пойте, голуби!..

— Не морозь меня!..— завели за столом.

— Как у тещи в чемодане,— поперек хора пробовал сиреневый, но его заглушили. Пели хорошо.

— У Клавдюхи-то сопрано — не фу-фу,— говорил Бахтияров.— Наша Зыкина! Мария, так сказать, Каллас, а то и покрепче! Ты тоже пой, цыпа-ляля.

«Что ж, предупреждали,— думал Денисов, мерно разевая рот.— Предупреждали, и я готовился, ведь не для себя же, и ничто просто так не дается, не пострадав — не добьешься, просто я не предполагал, что страдать до такой степени неприятно».

— Не поваливши, не поешь,— подтвердил товарищ Бахтияров, глянув Денисову в самое сердце,— а ты как думал, роднулька моя? Тебе какой артикул-то? Шка-а-аф?.. Ишь мы какие шалуны... А ты спел бы нам лично, а? Вот так, попросту, для души? Выдай нам свое потребительское соло, чтоб душа играла! Слушаем, голуби мои! Тишина! Уважаем!

Денисов торопливо спел, страдая под взглядом бахтияровских гостей, спел, что подвернулось, что поется во дворах, в походах, в электричках, — городской романс о Шаровой Леночке, поверившей в любовь, и обманутой, и надумавшей погубить плод легкомысленного своего заблуждения. «Да ямку вырыла, да камень тиснула, а Зина-девочка разозек пискнула!» Пел, уже понимая, что он в пустыне, что людей здесь нет, пел о приговоре, вынесенном бессердечными судьями: «А расстрелять ее! Да расстрелять ее!» — о печальном и несправедливом конце заблудшей: «Я подхожу к тюрьме, она раскрытая, Шарова Леночка лежит убитая», — и Бахтияров сочувственно кивал мягкой головой. Нет, Бахтияров-то был еще ничего, совсем ничего, на лице его даже просматривались какие-то уютные, симпатичные уголки, а если сощуриться, то можно было на минуточку поверить, что вот — дедушка, старенький, любит внучат... но только если, конечно, сощуриться. Другие были много хуже; вот эта, например, очень плохая женщина, похожая на лыжу, — перед ее весь заткан парчой, а спина совершенно голая; или та, другая, красавица с глазами кладбищенского сторожа; но страшнее всех вон тот вертлявый хохотун, развинченный петрушка, и галстучек его сиреневый, и жабий рот, и шерсть на голове, кто бы изничтожил его, извел, прижег, что ли, всего зеленой, чтобы не смел смотреть!.. А впрочем, все они ужасны лишь постольку, поскольку празднуют мое унижение, крестные мои муки, а так — граждане как граждане. Ничего. «Шарова Леночка лежит убитая!»

— Как хорошо-то, пончики мои! — удивился Бахтияров. — Как товарищ хорошо спел-то! Просто пьяниссимо, да и только. Да и весь тут сказ. А ну-ка и мы грянем. В ответ! Покажем гостю бемоль!

Гости грянули; сиреневый вертун — сама предупредительность — дирижировал вилкой, у красавицы из мертвых глаз струились слезы; едоки из-за соседних столов, утеревшись салфетками, присоединялись к хору, пронзительной, струнной нотой вступало Клавдюхино сопрано:

Ах, мама, ты, милая мама,  
Зачем ты так рано ушлаааааааааа,  
Сынишку воришкой оставила,  
Отца-подлеца не нашла!!!

Там, в горах, повалил снег, все гуще и гуще, наметая сугробы, засыпая Макова, раскинутые его ноги, обращенное к вечности лицо. Он не тлеет, он не прет, не ржавеет, не гниет!.. Сугробы поднимались все выше, выше, гора захрустела под тяжестью снега, загудела, лопнула, с паровозным грохотом сошла лавина, и на вершине ничего не осталось. Снежный дымок покурился и осел на скалы.

— Не друзья ли мы с тобой, посетитель дорогой! — кричал Бахтияров, хватая Денисова за щеки. — Во! Стихами говорю! Не чужд! А?! Я такой! Испей «Буратинца» за моё

здоровьечко! До дна, до дна! Вот так! А знаешь, вот что: уважь старого друга! Гулять так гулять! Полезай под стол! Для смеха! Поше-ел!

— Вы что? — сказал Денисов, свободный от Макова.— Вы что, дядя? Гуд бай вам, и шкаф мне ваш не нужен. Я передумал.— И он стал вставать.

— Под стол! Ничего не знаю! Что такое?! — рвал пиджак Бахтияров.— Просим! Господа!..

— Про-сим! Про-сим! — топали дамы, друзья, гости, официанты, откуда-то взявшиеся повара, и весь зал, поднявшись на ноги, выходя из-за столов, дожевывая, скандировал и хлопал в ладоши: — Просим!

Нет же, нет, нет! Почему?! Я человек, звучу гордо, не полезу, хоть убейте!.. Ну а пострадать? Эй, вспомни! Пострадать-то! Ты же хотел.

Он дико затосковал, как перед смертью, ослабел душой, нахмурился — не помогло, хотел вздохнуть — нечем уж было и вздохнуть. А Бахтияров уже откинул скатерть и боком сел, чтобы ноги не мешали, и приглашал рукой: прошу! пожалуйста!..

...Он скрючился в полотняной штопаной полутьме, поджав колени, как зародыш, тупо глядел на женские ноги, на серебряные хвосты и лакированные копытца; коварное брашно туманило слух и взор; сопрано давило голову; вот что я сделаю. Я знаю. Я поставлю памятник забытым. Пусть это будет плоское место в степи, без ограды, без знака, пусть растет там ковыль или камыш, пусть солнце выжжет землю, чтобы выступила соль, пусть валяется там щебень или битое стекло, пусть вечерами воеет шакал или пирует разудалая компания. Привет вам, консервные банки, и вам, пивные пробки, слава плевкам, ура раздавленным помидорам. Холм мусора или соляная проплешина, шорох ковыля или свист ветра — все хорошо, все безразлично, ничто не страшно забытым, — ведь с ними уже ничего больше не может случиться.

Под стол свесилось зареванное безглазое женское лицо, забормотало, ища сочувствия:

— Почему, ну почему одним все широе, леркое, бротистое, а другим только плявое и мяклое, ну почему?

Сердце мудрых — в доме плача.

«Буратино» сморило Денисова, и он уснул.

Лунный луч, пробившись сквозь штопку, кольнул в глаз. Лунная скатерть лежала на паркете, серебряный сад стоял за окном, август чиркал звездами во тьме. Слово со снега со всех гор осыпалось на сад, на тишину, на немые тропинки. Денисов скрипнул половицей, постоял у окна. Никого он не видел сегодня во сне.

Петух пропел. Бахтияров и ведьмаки его сгнули, тени спят, в мире покой.

Да и что за глупость — мучиться воспоминаниями ни о чем, выпрашивать у мертвеца прощения за то, в чем, по людскому счету, ты не повинен, ловить горстями туман? И никакого нет пятого измерения, и никто не подводит баланс твоих грехов и побед, и нет в конце пути ни кары, ни награды, да и пути нет, и слава — дым, и душа — пар, и если ты полез под стол, то уж прости, дорогой, но это твой выбор и твой личный вкус, и благодарное человечество не повалит толпами за тобой, и незримые силы не крикнут из предвечной лазури: «Хорошо, Денисов! Давай! Жми в таком духе! Всецело одобряем и поддерживаем!»

Он обошел всю «Сказку», дергая двери, все было заперто. Н-да, комиссия! Сиди теперь до утра. Окно, что ли, вышибить? Тут небось сигнализация. Поселок маленький, все на виду — засвистят, замигают, выедут опергруппы: не в саду, так на шоссе поймают как миленького. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом, а Денисов будет метаться между кустами и будками, приседать за мусорные баки, шуршать в боярышнике, заслоняться от прожекторов. Ни к чему. Валом тьмы окружен мир, бесплотный лунный сахар пересыпается с листа на лист, дрожа и мерцая: сахар, снег, сон, глушь, все застыло, все умирает, тупея в бессмысленной красоте, все забыто, все прощено, да ничего и не было, да и не будет ничего.

А вот телефон. Лоре позвонить. Умер сам — научи товарища.

Голос у Лоры был насморочный:

— Ой, Денисов, бери такси, приезжай. У меня тут кошмарное горе. Что значит заперли? В какой сказке? Ты что, с ума сошел? Денисов, у меня такое горе, проблема с папой, я его повезла за город, к одной старухе, ты не знаешь, баба Лиза, она знахарка и вообще женщина чудная. Мне Рузанна ее рекомендовала, чтобы папу отчитывать; ну как отчитывают? — сажают под иконы на табуретку, свечу ставят, воск в таз капает, баба Лиза молитвы читает, энергетика очень улучшается; ну это все на несколько сеансов рассчитано; так ты представляешь, пока я отлучилась в сельмаг, там у них выбор хороший, мужские рубашки голландские, я для тебя хотела, ну вот, их уже разобрали, а я засмотрелась на товары для пайщиков, я не знаю, какие пайщики, что-то такое потребсоюз или что. В общем, для сдатчиков гриба чаги там мокасины мужские, белые, австрийские, это то, что тебе нужно, еще там джинсы на мясо и фломастеры на морковь, это нам не надо, а мокасины очень хорошо; я говорю девушкам: девушки, чаги у меня нет, может быть, так дадите? А одна, симпатичная такая, говорит: подождите заведующую, может быть, договоритесь; я ждала-ждала, а уже темно, никого, они говорят: она вряд ли подойдет, к ней друг из Североморска должен был подъехать, ну я пошла назад, а баба Лиза в жуткой панике:

говорит, он сидел-сидел и уснул, а когда уснул, ты же знаешь, какой он становится; он уснул, вскочил, дверь распахнул и бежать, а на улице-то темно, а местность совершенно незнакомая, так и убежал. Я не знаю, что делать, Денисов, я в милицию, а они зубы скалят. В общем, я сейчас дома, в полной прострации, ведь у папы денег ни копейки, ведь он очнется где-нибудь в лесу, он заблудится, он замерзнет, он умрет, он же не знает, куда я его завезла, ведь он пропал. Денисов, что я наделала!

...Значит, он убежал, вырвался и убежал! Он знал, он все время знал дорогу! Встрепенулись забытые, тени подняли головы, прозрачные призраки насторожились, прислушались: он бежит, его отпустили, встречайте, выходите в дозор, машите флажками, зажигайте сигнальные огни! Сомнамбула бежит по бездорожью, смежив вежды, вытянув руки, с тихой улыбкой, словно видит то, что не видят зрячие, словно знает то, что они забыли, ловит ночью то, что потеряно днем. Он бежит по росистой траве, по лунным пятнам и черным теням, по грибам и подорожникам, по бледным ночным колокольчикам, по маленьким лягушатам. Он взбегает на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной, вереск хлещет его легкие ноги, ночь дует в спящее лицо, белые волосы развеваются по ветру, расстучается лес, расцветает клен, разгорается свет,

Неужели он не добежит до света?



## Михаил Эпштейн

### ОПЫТЫ В ЖАНРЕ «ОПЫТОВ»

#### БЕРЕЗА И МЕДВЕДЬ

Береза — растительный тотем России — светлейшее из деревьев: так же белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова, береза — то, что брезжит, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сияньем являясь взору — блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневы стволами, воспроизводя цвет родимого основания и почвы, они — как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение «коричневый» — от «коры»; береза — свет, не покрытый грубой корой вещества.

Не веруя обманчивому миру,  
Под грубою корою вещества  
Я осязал нетленную порфиру  
И узнавал сиянье божества...  
(Вл. Соловьев)

Вот с каким прозрением в световую сущность природу можно сравнить березу!.. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она есть символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы.

Свет из тьмы. Над черной глыбой  
Вознестися не могли бы  
Лики роз твоих,  
Если б в сумрачное лоно  
Не впивался погруженный  
Темный корень их.

Вл. Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означает иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков — занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце — береза, а не роза, дева, а не жена.

Это дерево, источающее свет, так же любимо в России, как свет земли и свет металла — снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания «береза» переливается с «сереб-

ром» — едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии (по числу образов, эпитетов), чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро — к березе, свету рассеянному. И листвою своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебряистой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыханье солнца в воде — отраженье отраженья: так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще — рощами. Чащи — еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень — вечер, а среди берез день дольше застанется, чем в округе. Березы ровни и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропускающая вышний свет и, как снег, его отражая и умножая. Будто в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец.

Итак, земная чернь, испутившая сиянье. То виденье света, брезжущего сквозь кору вещества, которое пронесено Вл. Соловьевым через всю его поэзию и философию как идея Вечной Женственности, осветленности материальной ночи — это брезжущее виденье дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе (Фет, Бунин, Есенин...).

Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты (ствола) и опущенности (кроны), которое создает слитный образ строгости и смиренья, гордого сердца и потупленной головы, характерный для осанки и духовного сложенья русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — крестьянка у Некрасова. Прямота взлета, стройность стана — и задумчивый наклон головы, как у Аленушки на картине Васнецова. Нет, не ива, кустарнику подобная, — это скорее китайский символ; и потому, что над быстротечностью вод склонилась, и, главное, потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелется. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расплзаясь (Лаоцзы). Русскому сердцу дорого паденье — с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей — по склонению перед небом. Это соединенье «крутизны» и «кручины» нагляднее всего в березе, в соотношении ее летящего стана и опущенной головы.

Да и многое еще видится в ней как воплощенная идея; и сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная, порывистая душа, знакомая нам по гордо-смирненным образам русской литературы (Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша...).

Именно растительность символизирует женское начало в народе, тогда как мужское выражено животными симво-

лами. Это и понятно; растение в почве растет из вековой основы, и прочно, незыблемо в ней укоренено — идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, — свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю — пасть, и не тянет готовое, а, голодный, устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия — движение, настиганье, пронзание, овладенье...

Почему же из всех зверей именно медведь искони и доныне является национальным нашим тотемом — вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих, в виде добродушного, улыбочивого медвежонка?

В медведе поражает прежде всего плоская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела, хвост куцый, шея почти отсутствует — сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше и не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его: лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменна, как у льва, или пружинно-эластична, как у тигра.

Медведь — как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он — в землю, в бурость ее; а косматостью своей — в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого и живого соответствия, то нагляднее медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли — глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, предаваясь зимней спячке, свидетельствует о его нутряной приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился от нее, не родился еще окончательно и, как детеныш возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленанья и утробного сна.

Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое «сезонное» из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он — растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания — неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющей, не пронзающей (как у льва или тигра). Медведь — ком, глыба, круча — все земляные уподобления. И подобно растению, он восходит, колосится весной и летом, а к зиме залегает, словно семя, в свою ямку-берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти — позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем,

Много можно было бы найти символических соответствий, каждое из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе... Исконная крепость русского человека земле — и эта медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, — и дремучий уют медвежьей берлоги, с ее утробной теснотой-теплотой, косматостью-пуховиками? Печной обряд русской лени — и стремление к даровому лакомству, воровские замашки: похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто «мед ест», питается от пчелиных трудов. Сонливость — и силища. Лежебока, сладкоежка — хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и все подминающая, но время от времени западающая опять в изначальную ложбинку. Почвенность как врожденный инстинкт земнородного существа.

Весь парадокс национального характера — в этой перевернутости женских и мужских, растительных и животных начал. Женское ж светло и, почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначальное, от самого корня, светится, лучится, в солнце облечено (вспомним: «Жена, облеченная в солнце»). Мужское, чему надлежит, от земли открепясь, жить движеньем и светом, — користо, буро, космато, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забвения стремится, лакомится половой пылью растений и весь растительный цикл с почвой переживает.

Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли — таковое; а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепененья и залеганья. Растительное начало в России одухотворено светом терпенья и прямою вознесенья, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот загадка, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.

## ОЧЕРЕДЬ

В очередях приходится стоять так часто, что поневоле складывается в сознании некая мифологема: дракон, кусающий свой хвост. Очередь и впрямь хвостоподобная, как бы звериный реликт вдруг пророс в человеческом обществе...

Почему хвосты постепенно упразднились «в процессе происхождения человека от обезьяны»? Человек бесконечно расширил и одухотворил перед собой переднее пространство — поэтому заднее чувствилище утратило природную необходимость. Все общение и ощущение мира стало производиться через лицо, через распахнутые глаза, открытое рукопожатие. Вообще передом своим человек, как и все живое, мягок, уязвим, а спиною тверд, хрящеват, как бы

в панцирь облечен. Результат культуры в том и состоит, что человек уязвимое стал открывать, сокровенное вынес наружу, нежное — под чужой взгляд подставил. Вся культура происходит от личности, от лица и ориентирована на перед.

И вот — очередь, «хвост», где люди стоят в затылок, упирась взглядами в спины. Очередь противокультурна и противоположна уже потому, что люди здесь обращены друг к другу и объединены задами; так что у человека новой породы, всю жизнь стоящего в очередях, должен понекому вылезать хвост как продукт естественной необходимости. Очень может быть, что в ходе долгой исторической эволюции, основанной на очереди как на общественном учреждении, у гомо сапиенс вновь начнут расти хвосты — уже в порядке не биологического, а социального приспособления: чтобы ощупывать ближнего, которой сзади, и трогать того, кто впереди — ведь не в глухую же спину ему стучать в жажде общения, а дружелюбно пощекотать бы хвостик.

Вникнем же в очередь поглубже, она стоит того, чтобы хоть раз запропасть в нее мыслью, — ведь столько выстояно в ней дней, недель, лет!

Очередь — чистое ожидание, оттого время тянется так долго и томительно: оно ничем не заполнено, отверсто во всей своей пустоте. И все же что-то совершается — само собой, без твоего участия и воли, так что с каждой минутой ты становишься ближе к цели, не шевельнув и пальцем. Человек в очереди вроде бы и бездеятелен, как Обломов, но вместе с тем и деловит, как Штольц, поскольку все время куда-то движется, сохраняя притом инертную массу покоя. Время вытягивается в никуда из общего запаса жизни, и все же это нужная трата, хотя и, очевидно, бесполезная. Если бы очередей не было, их стоило бы изобрести, потому что в них человек избавляется от бремени свободы, обретая наглядный, линейно очерченный смысл существования. То, что могло бы стать простым, грубо физиологическим актом поедания мяса или сыра, приобретает социально отдаленную, но непременно достижимую перспективу, причем с каждым мигом и часом она становится все доступнее. Расстояние неминуемо сокращается, увеличивая радостный зуд стояния. Время течет по законам прогресса, неуклонно приближая к долгожданной цели. Очередь — школа терпения и фабрика оптимизма, поскольку для стоящих в ней она обязательно сокращается: терпение для получающих награду за наградой. Так, вместо животного потребления пищи происходит воспитание человеческих чувств на подступах к ней, социализация инстинкта, планомерное распределение сил и возможностей, осознание себя членом коллектива. Где еще так легко и естественно, без инструкторов и капиталовложений осуществляется программа гуманизации и социализации природных потребностей? И где еще так полно удовлетворяется психологическая потребность, свойственная мно-

гим и многим: заняться таким делом, чтобы ничего не делать, но при этом быть предельно занятым? Стоя в очереди, легко обрести мир с миром и с самим собой.

Хотя очередь мешает человеку, преграждает путь к цели, он все-таки очень дорожит своим местом в ней. Вроде бы хочется стать поближе, разрушить строй и толпой обрушиться на добычу, но что-то сдерживает. Каждый испытывает два чувства: превосходства над задними и ревности к передним. И все же первое чувство побеждает: сохранить свое место от напирających сзади лучше, чем захватить у стоящих впереди. Почему? Да ведь очередь движется, передняя часть, а следовательно, и зависть — тают, а хвостовая часть, значит, и превосходство — растут, свое место становится все дороже. Тут интерес будущего все время имеется в виду и возрастает, возрастает, так что общество больше живущее будущим, чем настоящим, моделируется очередью. Важно и то, что в очереди каждый занимает не только физическое, но и как бы служебное место, пребывает в должности, к тому же очередник получает по совместительству место в системе народного контроля, чем решается проблема временной безработицы в свободное от работы время. Дело в том, что каждый не только занимает свое место, но еще и охраняет его, несет дозор на границе половецкой степи, откуда вот-вот могут выскочить дерзкие захватчики или выползти вкрадчивые лазутчики-пластуны. От бдительности каждого зависит порядок во всей очереди, ибо цепь, порванная в одном звене, уже не может соединять людей и вести к одной цели. Стояние в очереди — еще и надзор над очередью, общественное поручение, деятельность контроля и проверки, которая, как известно, обеспечивает диктатуру большинства над меньшинством.

Таким образом, в очереди реализуется нравственный принцип: «Один за всех и все за одного», поскольку каждый, не пропуская никого перед собой вне очереди, не пропускает никого и перед всей остальной очередью. Интерес личный стоит на страже общественного.

Реализуется и другой теоретический принцип «равенства без уравниательства», ибо каждый может свободно встать в очередь, но приобретает при этом условный порядковый номер, отличающий его от других. Очередь — это воплощенная мечта социального математика, утописта-пифагорейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где каждый отличается от другого только порядковым номером. Тут воистину «всякая вещь может быть передана числом», и все ее своеобразие — только в количественном ранге, так что именно числовая модель порождает порядок социальной вселенной. Если толпа — это хаос, то очередь — космос, устроенный по законам исчислимой гармонии. Но в отличие от античного космоса новейший вброшен в историю, и число обретает свойство самодвижения. Очередник постоянно ме-

няет свой номер, очередь — это натуральный ряд в движении, от сотен к десяткам и единицам, а затем снова, в том же порядке<sup>1</sup>. Вышедшему из очереди — точнее, дошедшему до конца — что остается? Пойти домой, поесть, отдохнуть и, опустошив запас, снова встать в ту же очередь, которая и не кончилась, лишь условно прервалась на ночь.

Вот почему очередь, как мудрая змея-искусительница, постоянно кусает свой хвост: передний то и дело становится задним. Лишь по видимости очередь представляет собой линию, в действительности это круг, конец которого смыкается с началом. Тот, кто вышел спереди, обходит очередь и вновь становится сзади. Бесконечна диалектика бытия в его круговращении, в сцеплении причин и следствий. Бесконечна и наша очередь — фараонова пирамида, где камни снизу все время вынимаются, чтобы достроить верх; где человечество вновь и вновь пытается численной конечностью своей воспроизвести бесконечность натурального ряда. И каждый уже многократно побывал во всех существующих очередях, вставлен и в первый миллион, и во второй, и в третий — невинная подтасовка социальных мечтателей, вынужденных бесконечные цели достигать конечными человеческими средствами и потому пускающих их на многократный износ.

Я думаю, очередь и впрямь останется от наших времен, как пирамиды от египетских — достойный памятник цивилизации натурального ряда, единицами мостящей себе путь к славе и вечности. Очередь — та же пирамида, только «гуманистическая», сложенная не из камней, а из людей и потому текущая во времени, а не застывшая в пространстве. Прогресс налицо: то было время доисторическое, у нас — историческое, потому и пирамиды слагаются не в пространстве пустыни, а во времени человеческих жизней, из бесчисленных песчинок — минут, из глыбистых часов и дней, которые каждый выворотил из своей жизни и, сгибаясь под тяжестью ноши, по ступеням всех выстоянных очередей вознес на очередную вершину этой окаменевшей громады времен. Каждый раб на строительстве этой пирамиды возносит свой камень, свой час и спускается обратно, чтобы взвалить на себя и вознести следующий, идя в очередной раз по следам всех предыдущих. Очередь порою видится как цепочка людей, непрерывно передающих друг другу из рук в руки что-то невидимое: это камни времени, водружаемые на том

---

<sup>1</sup> Поскольку стоящий в очереди передвигается вместе со своими соседями, создается приятнейшая иллюзия самодвижения, как будто очередь — это транспортное средство, лента конвейера или даже автомобиль. Действительно, очередь по своей комфортности мало чем уступает автомобилю, с той разницей, что автомобилиста отделяет от цели большое пространство и малое время, а очередника — наоборот, большое время и малое пространство — это езда в ином измерении.

общем месте, куда стекаются все очереди и которое можно, памятуя египетский прообраз, назвать пустыней времени или абсолютным нулем. Именно пустыня нужна пирамиде, ибо любой другой, положительный рельеф местности сглаживает и умаляет ее. Только абсолютный нуль утоляет устремление в нумерационную грандиозность, в последовательный охват всех и многократное использование каждого.

Узнаю тебя, последняя розановская любовь, славный, вечный Египет, и как бы вновь полюбил этот вероломно-верноподданный писатель свою отчизну, доживи он до пирамид, слагающихся из разбросанных в его «апокалипсическое» время камней. Ведь из бурлящих, митингующих толп, заливающих улицы в период между двух революций, выкристаллизовался новый, строгий геометрический стиль — словно по линейке проведенных очередей. И самая высокая, монументальная из этих пирамид — с основанием в главной усыпальнице...

Так и вижу его третий том «Опавших листьев» — а там, вместо привычных беглых помет «за нумизматикой», «разбирая сигары», «в ватерклозете», стояло бы всюду одно — «в очереди». И потом — сплошные белые листы, точнейшее воплощение жизни, ушедшей в чистую очередность, чтобы перелистывать не читая, а в конце та же приписка: «в очереди». А под ней дата, по-новому грандиозная: очередное тысячелетие очередной эры.

## РУССКАЯ ХАНДРА

Скука, хандра, тоска... Эти состояния вызывают особый интерес современных психологов, которые находят в них источник внезапных душевных срывов, столь популярных ныне «загадочных» преступлений, когда благополучный вроде бы человек вдруг судорожно стреляет в окружающих и/или убивает себя. Но значение этих состояний шире, они могут захватывать душевную жизнь целых эпох или народов, и тогда — чем разрешаются они? Войнами? Революциями? Самоуничтожением? Непрекращающейся тревогой? Во всяком случае, здесь кроется огромный интерес не только для психологов, но и социологов, историков культуры. И русская литература, как, пожалуй, ни одна другая литература мира, дает разнообразнейший материал для углубленного изучения этих состояний, на каких бы социальных и культурных уровнях они ни проявлялись.

Недуг, которого причину  
Давно бы отыскать пора,  
Подобный английскому *сплину*,  
Короче: русская *хандра*...



Уже в этих пушкинских строчках многое сказано: хандра — недуг, причем национальный, проблема этнической патопсихологии.

В начале XIX века полагали, что скука есть болезнь аристократическая. В кодекс светского поведения скучающий взгляд входил как примета изысканности и благородства. Только у плебея, пребывающего в нужде, взгляд зажжен огоньком жадного и нескрываемого интереса. Человек пресыщенный, всем овладевший и все познавший, не может не скучать. Таково происхождение сплина, болезни английских аристократов, введенной в поэтическую моду Байроном в образе Чайльд Гарольда.

Но можно ли считать, что на Онегина обрушилась лишь эта тягота пресыщения, что все его метанье — от вседозволенности праздных дней, не заполненных нуждой и трудом, что, сливаясь он с народом, поработай на родной ниве, как предполагал Достоевский, — и наступило бы желанное исцеление? По укоренившейся привычке мы и сегодня так толкуем, хотя давно пора бы заметить, что Онегин — не Чайльд Гарольд, что его тоска — другая, не утонченно-высокомерная, что он захвачен другим, несравненно более широким, чем его сословная принадлежность, недугом.

Хандра в отличие от сплина не есть болезнь пресыщения. Сплином болеют аристократы, но хандра глубоко входит в душу всего русского народа, приобретая там еще и другое, более сильное наименование: тоска, кручина. «Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска...» Чувством тоски сродняются мужик и барин.

Тот же в дороге родившийся мотив тоски распространяется потом Гоголем на всю ширину русского мира. «Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня?»

Русская песня тосклива, и не пресыщенностью рождается эта тоска, а, напротив, какой-то безотрадной пустынностью всего мира, в котором затеряны города и веси, будто пылинки на ветру. Хандра Онегина, одной своей стороной родственная аристократическому сплину, другою обнаруживает сходство с вековой народной тоской. То, что в первой главе названо хандрой, есть предвосхищение другого, более всеобъемлющего чувства, которое потом, когда Онегин покидает Петербург, европейски томную и изысканно скучающую столицу, и отправляется в деревню, а затем в путешествие по России, нет-нет да и называется своим подлинным именем: «Тоска!» «Я молод, жизнь во мне крепка; Чего мне ждать? тоска, тоска!..» И как лирический ком-

ментарий к этим переживаниям героя, подкрепленный голо- сом самого автора, — тогда же, болдинской осенью 1830 г., написанное стихотворение «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» Не из блестящих светких гостиных, а из родной сельской глуши доносится этот тоскующий голос как выражение самой плоскоравнинной природы и притерпевшейся к ней народной души: «...Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой. Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий, За ними чернозем, равнины скат отлогий... Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет — ага!»

Как же глубоко сидит в нас этот румяный критик, указующий на кладези неисчерпаемого оптимизма в недрах народа, ждущий, когда польются «веселые песенки» с родных пажитей и нив! Мы видим соринку скуки в глазах чуждого сословья, а тяжелых пластов тоски в глазах близкого не замечаем. Все твердим: скука — от пресыщенья, а в народе — бодрость. Но уж на что народный и антиаристократический писатель Платонов и люди у него вечно в нужде, едва вы- зрели из телесного прозябания до осознания мира — так ведь не бодрые они, и тоска — их главное и всезахватываю- щее чувство. Вся окружающая природа сгублена каким-то онемением, проклятьем бездонной равнодушной скуки. «По- верху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непого- дой, там было скучно и не было сочувствия человеку, пото- му что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знает ничего, кроме себя». Не «хоть», а именно потому, что большая, нестерпимо превышающая своей вместимостью все, чем может заполнить ее человек, вечно отчужденная от него чуждостью ускользящего горизонта на нескончаемой равнине. Вся жизнь на этих просторах ощущает себя на- прасной и не востребованной малостью, рождение которой не оправдано тем великим, что ее окружает. Зачем это мелкое грустное копошенье, когда простор хочет лишь одного се- бя — непрестанного расширения на новые и новые земли?..

В Дванове, Вошеве, Чиклине, всех этих народных пла- тоновских персонажах, ощутило начало тоски более глу- бокой, чем в Онегине или Печорине, — культурно не опсре- дованной, не занятой никакими книгами, танцами, любо- вями, развлечениями. Они — и телесно, и умственно — то- щие, они ближе природе, не заслонились от пустоты слоem притупляющего жира, пресыщающего достатка. Тощие силь- нее тоскуют — сами слова эти образовались от одной осно- вы, обозначающей пустоту. Чем тоще люди и чем пустынее вокруг них страна, тем длиннее тоска, простертая между ними, — чувство тщетности и заброшенности, каким охваты- вает небытие. В платоновских «тощих» глубже, чем в тра- диционных дворянских «лишних» людях, проглядывают черты какой-то метафизической лишности. Те лишние — со- циально, поскольку ничего не делают, в общей жизни не участвуют. Эти — Дванов, Вошев и другие — делают и уча-

ствуют, но от этого пустота не сокращается, а растет под их неутомимыми руками, словно распространяясь из полостей сердцевин. И не только когда они расчищают землю от врагов, но и когда включаются в мирное производство.

Символически тот котлован, который роют в одноименной повести, углубляя дальше вычерпанной землей пустоту любимой родины. Этот котлован, в котором вроде бы собираются выстроить общий для всех счастливый дом, постепенно разрастается — героическими, самоотверженными усилиями — до такого объема, что никакое строение его уже не заполнит, и становится ясно — это всеобщая могила. Не даром в котловане гробы хранились впрок для умирающей деревни — потом ведь деревня, разместившись по гробам, неуместившимися остатками придет сюда, завербовавшись в город, котлован дальше рыть и умирать в нем — готовом могильном приюте.

Воцев чувствует, что народ докапывается до некоей тайной истины, ждущей его за каждым очередным пластом глины, и, чтобы добраться до нее, нужно всю землю прокопать насквозь, прибавить к раскинувшейся горизонтально родине пустоту прорытого вертикально проема, распространить ее по всем измерениям — чтобы, возможно, убедиться: края нет, впереди ждет бесконечная черная дыра космоса, она тоже родная... И эта долгота внедренья, когда каждый откопанный слой оборачивается не основой, на которой пора уже строить, но просто выросшей, удобно размещенной пустотой, вызывает у Воцева тоску, не сравнимую с онегинской. Для «лишних» людей она помещалась снаружи, в социальном мире: некуда себя деть, нечем заняться. У занятых, истощенных она помещается внутри, истекая непрерывным пустообразующим усилием.

Ну пусть так, — да ведь не только же тоска в народном сердце! А разгулье удалое? Приволье, раздолье, разгулье — неповторимые русские слова, которых нет в других языках. Не та же ли в них пустота, которая видится порой как манящая, освобождающая, ищущая заполнения? «Что пророчит сей необъятный простор? Здесь, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти ему? И грозно объемлет меня могучее пространство... страшную силою отразясь во глубине моей...» Вот и у Гоголя тоска через несколько строк переходит в богатство, как у Пушкина — разгулье в тоску. Так они и переливаются, жутко сказать, из пустого в порожнее, из раздолья в запустенье — на всем протяжении русской тоскующей и горящей мысли. Нет между ними строгой черты. Сама бескрайность этого мира рождает тянущую пустоту в сердце и вместе с ней — страшную силу размаха. И когда сочетаются они воедино: удаль и тоска, пустота, ищущая расширения, и пустота, не находящая заполнения, — то и

получаются те богатырские дела, от которых тоска не только не унимается, но шире расходится в сердце, ибо каждый шаг такого богатыря есть «путь в тоске безбрежной» и все дальше разверзает берега этой тоски. Каждый подвиг этой размашистой удалы состоит обычно в том, чтобы раздвинуть «стесняющие» пределы — не наполнить их, а пополнить раздвигающую их пустоту, от которой никому, и самим богатырям в первую очередь, не спастись.

Скорость — единственное, чем может утешиться душа в этих раздвигающихся пределах. Скорость ей дана как последняя возможность воплотиться, нагнать ускользающую границу свою, достичь желанного предела, где она могла бы остановиться, определить себя, для чего и вышла в этот свет. «И какой же русский не любит быстрой езды?», «Мелькают весты, кручи — останови!», блоковская степная кобылица вместе с гоголевскими вихрями-конями несется вскачь... Но пустота всегда ускользает быстрее, чем ее настигают, и, смыкаясь за спиной, словно бы смеется звуком стихающей и пропадающей в безвестности погони. Пустота — неутолимый наш соблазн, сама блудница вавилонская, раздвигающая ноги на каждом российском распутье.

О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь!  
...Наш путь в тоске безбрежной,  
В твоей тоске, о Русь!

## ПЛАКАТ И СТЕНД

Накануне праздников можно видеть, как рабочие, вооруженные новейшей техникой, поднимают в воздух огромные буквы, часто превышающие их собственный рост. Легко вообразить человека, нагнувшегося над буквой и что-то ковыряющего в ее завитке, или продевшего свое тело в петельку буквы, или с напряжением выжимающего букву, как штангу, на своих мускулистых руках. Тогда по-новому осознаешь, что буква — это прежде всего явление материальной культуры, что она может восприниматься на вес.

Мы привыкли к букве как к знаку, отсылающему к иной реальности, и вся многовековая работа культуры сводилась к тому, чтобы утончить и облегчить букву, сделать ее как можно условнее, поместить на кончик пера, в память машины, откуда она извлекается легчайшим прикосновением. В царстве письмен все совершается по мановению руки человеческой, — куда она поведет, так все и будет. Человек создал мир, в котором исполняется малейший каприз его пальца. Он успокоил себя пословицей, обеспечивающей независимость этого одухотворенного и податливого мира: «Что написано пером, не вырубишь топором»...

И вдруг топором вытесываются буквы, которые не то что пером не зачеркнешь, но даже и с места еле сдвинешь. Поразительный факт возвращения письма в лоно природной тяжести и трудовой необходимости. Но разве все эти метафоры у Маяковского и пролетарских поэтов: «Я знаю тяжесть слов», «Поэзия — та же добыча радия» и проч., — не предполагают, что слово в самом деле должно стать чем-то материально весомым, трудным для подъема? В этом смысле плакат — самое последовательное утяжеление слова, характерное для всей нашей культуры, поэзии в том числе. Буквы в плакатах таковы, что становятся частью материальной среды. Их не замечаешь так же, как стен домов, с которыми они сравнимы по размеру.

Есть такая игра: находить на карте географические названия. Неискусные игроки загадывают названия помельче, но они-то как раз и находимы легче всего. Все маленькое, ужатое в своем материальном объеме, тем самым вырастает в условном значении и становится насущнее для взгляда и ума. Если бы лозунги писались мельчайшими буквами на каких-то жалких обрывках бумаги, приклеенных к фонарному столбу, — все бы жадно их читали, как и сейчас читают всякие самодельные объявления: авось да всплывет нечто редкое, неожиданное, полузапретное.

Чем меньше форма, тем она символичнее. Это прекрасно понято на Дальнем Востоке: культура малых форм вызывает глубокое сосредоточение, вплоть до бесконечной медитации, пытающейся как бы настичь то содержание, которое все время уходит за пределы формы, не выявлено в ней. Чем массивнее форма, тем менее она знакома, и мы проходим мимо нее, как через скучный массив необработанной материи, нагромождение бессмысленных объемов и величин.

Вот почему и хитрые игроки загадывают названия покрупнее — их не видишь, точно так же, как плакатов на улицах города.

Сразу выдвигается возражение: ну а как быть с рекламой, которая тоже вроде бы составляет широко развернутую часть материальной среды? Но заметим, что реклама обычно отличается от плакатов своей световой подвижностью. Тем-то и привлекает она, что периодически исчезает и появляется — мелькает, мерцает, пульсирует, меняет свою форму. Можно сказать, что это типично западный способ привлечения внимания, в отличие от восточного. Там привлекают малостью неподвижной формы, на Западе — подвижностью большой. Но в обоих случаях форма не сливается с косной субстанцией мира: она либо выделена из нее в пространстве своей подчеркнутой малостью, либо во времени своей усиленной изменчивостью. У нас форма остается большой и неподвижной, то есть практически сливается с материей, которая, как добытийная бездна, «пуста и безвидна».

Невозможно представить себе лозунг в виде мерцающего неона, мельтешащих букв, перестраивающихся картинок. Такая неустойчивость противна самому духу лозунга, верному на века. Реклама нас зазывает — она похожа на глаз подмигивающей кокотки. Плакат смотрит строго и прямо, немигающим взглядом, от которого хочется поскорее отвести глаза — трудно выдержать его испытующую неподвижность. В стаях за место вожака соперничают так: самцы в упор смотрят друг на друга, и кто отводит глаза — уступает власть. Подмигивающая реклама выражает готовность услужить, немигающий плакат — волю к власти. Даже ночью плакаты подсвечиваются ровным светом, что выделяет их среди суматошной и головокружительной рекламы.

Жанры официальной словесности никогда не существуют в одиночку. Всякий документ — парен. Это нам только кажется, что документы уникальны: вот паспорт, читательский билет, листок нетрудоспособности и т. д. Но если бы это было так, документы лишились бы смысла. Все, что записано у нас в паспорте, записано еще где-то — назовем это ведомостью. Все, что записано в читательском билете, отражено в регистрационной карточке, а содержание бюллетеня отражено в личной карточке больного.

Документы располагаются парами: постановление — отчет, приказ — рапорт, предписание — донесение, облигация — таблица... Каждый документ есть символ — одна из частей глиняной таблички, которую разламывали в Древней Греции представители породненных семейств, чтобы, сложив подходящие обломки, узнать друг друга. По документам узнают друг друга личность и государство, поэтому документы — надежная скрепа их отношений.

Тем самым понятна и взаимная необходимость двух самых монументальных жанров письменности — плаката и стенда. Плакат — это как бы нисходящая бумага, а стенд — восходящая. Плакат — это клич, обращенный государством к народу, а стенд — отклик народа на призыв государства, отчет в сделанном и достигнутом. В речевой модальности: плакат — это повелительное наклонение: «Крепите!.. Созидайте!.. Объединяйтесь!..» Стенд — изъявительное наклонение совершенного вида, чаще в форме безличного глагола или причастия среднего рода, дабы подчеркнуть наличие факта как явления самой природы: «Построено здравниц... Выдано угля... Произведено на душу населения...»

Плакаты реют в недосыгаемой вышине. Даже развешивать их, кажется, предпочитают ночью, чтобы рукотворный акт их вознесения не бил в глаза, чтобы их не коснулась фамильярность слишком близкого и пристального разглядывания (правда, с некоторого времени их и днем развешивают, что свидетельствует об определенном спаде в развитии могучей плакатной культуры). Стенды, напротив, приближены к каждому, смотрят ему в лицо своими доверчивыми,

широко распахнутыми глазами: «Не проходите мимо!», «Наш город в прошлом, настоящем и будущем», «Забота об охране здоровья в нашей стране». Стенд не просто беседует с нами, он говорит от имени каждого из нас. Вот что мы сделали вчера и будем делать завтра...

Стенды отличаются от плакатов тем, что в большей мере содержат изображения и числа, а также всякие промежуточные формы — диаграммы, графики. Цифры и картинки вносят наглядность и обращаются как бы к массовому, навивному сознанию. «Выплавлено столько-то... Въехало новоселов столько-то... Предстоит построить столько-то...». И рядом — красочное изображение нашего настоящего или близкого будущего в виде башенного крана или упитанной коровы. Плакаты гнушаются подобной мелкостью — они говорят только буквами или столь символическими изображениями, которые условностью немного уступают буквам: зубчатыми стенами, сияющими звездами, озаренными профилями... Плакаты — это идеи, а стенды — факты.

Заметим, что между фактами и идеями всегда зияет огромное пространство — не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Плакаты никогда и отдаленно не приближаются к конкретности стендов, а стенды — к монументальности плакатов. Вот в этом зиянии между идеей и фактом и свершается таинственная, незримая воля коллектива — мудрость его безмолвия или слабость всепрощения. Нелепо было бы помещать буквы плакатного масштаба в стенд или вывешивать стенд на высоту плаката — столь же нелепо было бы искать прямое соответствие между содержаниями плаката и стенда. Верх останется верхом, низ — низом, и — «с места они не сойдут».

Где-то посередине между ними свершается то, что одному воздуху известно, что никакими буквами не запишешь.

## НА СКЛАДЕ

Склад, где все вещи расположены в определенном порядке, мог бы служить символом и прообразом мировой гармонии. Все здесь расчислено, распределено по рубрикам, отражено в списках — понятийная иерархия и классификация вещей обретает наглядное воплощение в пространстве. Нигде не может быть такого строгого соответствия между названием, зафиксированным на бумаге, и реальным существованием вещей, как на складе. Пока вещи используются — вносятся, выносятся, пускаются в ход, — их невозможно точно зафиксировать в идее и слове. На складе они обретают блаженную неподвижность, свидетельством чему становится инвентарный список, где названия, не переплетаясь никакими грамматическими связями, стоят отдельно, под номерами, в неподвижном вертикальном порядке. Чис-

ло — слово — вещь: идеальное соответствие пифагорейско-платонического толка.

Не поэтому ли в государстве склад приобретает особый, высокосимволический смысл? Случайно ли, что церковные помещения, лишаясь своего сакрального назначения, отводились под склады?

Тут происходила не отмена священного, а как бы его замена. Склад — это такой же идеальный порядок в материальном мире, как церковь — в духовном. Склад — материалистическая церковь, где вместо молящихся людей, обретающих высокий строй души, собрано множество вещей, обретших четкий инвентарный строй. И церковь и склад — это замкнутые приюты гармонии в падшем, грешном, разворованном и расхищенном мире. Согрешить, похитить душу у Бога — украсть, похитить вещь со склада, с хранилища общественной собственности, неподкупной и непродажной, как совесть.

Одна из ведущих и недооцененных фигур нашей действительности — кладовщик. Все перед ним заискивают — не только простые служащие, но и начальники. Все должны чувствовать перед ним свою недостойность, мучиться нечистой совестью. Ибо он стоит на пороге сакрального мира, отделяя его от несакрального. Директора во всей их хозяйственной суете — по эту сторону, а кладовщик — по ту. Он царь и хранитель недвижимого царства вещей, за пределами которого их гармония может только потерпеть убыток, разлад — в руках деловитых и беспокойных производственников. Выпустить вещь со склада — все равно что низринуть ее в темную, грешную, превратную земную жизнь.

И потому так надежны складские засовы и так суровы кладовщики: они охраняют наше счастливое будущее. Там ждет нас вечное изобилие и совершенное устройство всех вещей. И поскольку все мы живем и работаем во имя будущего, принося ему в жертву сиюминутные интересы, постольку и складской ранг вещей несравненно выше их производственного ранга. Пополнять неприкосновенный запас для неограниченного потребления потомков — не в том ли высший закон общества, устремленного в идеальное будущее? Ведь где, как не на складе, это будущее уже достигнуто, пусть пока в отдельном, замороженном просторстве? Это еще не завоеванный и очищенный мир, но уже счастливый заповедник, где все вещи познали свою собственную меру и человек нарекает им имена.

И задача не в том, чтобы вывозить вещи со склада, пуская их в сомнительное, расточительное предприятие, а в том, чтобы свозить их на склад, распределяя по нужным местам, в разумном и запасливом обустройстве. По мере того как вся наша жизнь будет перемещаться на склад, формироваться по образу и подобию склада, счастливое будущее перейдет в настоящее и страна, под мощными засо-



вами и с суровыми кладовщиками, заживет строгой и упорядоченной складской жизнью.

Но беда в том, что даже на склад, в его вечный покой, прорывается время. Вещи, которые не обновляются временем, старятся от времени. И чем больше склад приближается к своему идеалу, тем скорее он превращается в кладбище нетронутых вещей. Не тронутых никем и ничем, кроме времени. Как только склад охватит все стороны жизни, мы обнаружим себя на кладбище, и наш кладовщик, как кладбищенский сторож, отопрет ворота собственной рукой — выносить уже нечего, некому, не для кого.

## СУДЬБА И СУДЬБЫ

Заметим один странный филологический каприз: слово «судьба» употребляется у нас преимущественно во множественном числе. «Судьбы мира», «судьбы народа», «судьбы отечества», «судьбы поколения», «судьбы цивилизации», «судьбы человечества» и т. д. Такое словоупотребление непривычно для уха, настроенного вслушиваться в голоса предшествующих эпох: от античности, средневековья да и всех прошедших веков до нас доходит одно неизменяемое, в единственном числе слово «судьба».

Похоже на то, как если бы это слово теперь вошло в общенародный язык из профессиональной речи. Так, мы говорим «масло», «чай», «жир», часто и не подозревая, что слова эти в профессиональных жаргонах употребляются, как правило, во множественном числе: «масла́», «чай́», «жиры́». Не правда ли, стоило изменить форму слова — и сразу узнается профессиональный, расчленяюще-мастеровой взгляд на вещи? Что ему, мастеру, «чай» — бледное, общее, невыразительное слово, когда он изготавливает чай высшего, первого, второго сортов, черные, зеленые, индийские, краснодарские. Только он, делающий эти чаи собственными руками, имеет привычку, а главное, право так говорить.

На взгляд профана, чай есть некая «вещь в себе», чистая сущность, эссенция, субстанция, равная себе, несущая, так сказать, идею чая. Ведь не может быть много идей чая — в платоновском или гегелевском смысле слова, — нет, только одна, абсолютная, чистая, завершенная идея. Отсюда мы постигаем, насколько идеалистический взгляд на вещи напоминает взгляд профана, постороннего. Для человека, причастного к изготовлению вещей, нет сомнения, что идеи этих вещей живут в его голове и их может быть много. Захочет — тонкую часть листа покрошит, а захочет — прожилки, вот и разные чаи получаются.

То же, видимо, произошло и с «судьбой», когда она незаметно для нас — но по неподкупному свидетельству языка — превратилась в «судьбы». Родился новый профессио-

нальный жаргон мастеровых судьбы, тех, для кого судьба — не веленье свыше, а послушный материал в рабочих руках. Судьбы куются. Судьбы мира — в наших руках. Если бы это оставалось на уровне фразеологизмов и пословиц, можно было бы усмотреть в этом преходящее веяние: мало ли кто как говорит. Но морфологические изменения — уже не в воле людей, это судьба самого языка. Произошло то, что профессиональное словцо стало общенародной нормой. Представим, что к власти в стране пришли моряки — тогда нормой делается слово «компа́с», а «ко́мпас» начинает звучать подозрительно, фрондерски, как пережиток прошлого, как лозунг какого-то сухопутного уклона.

Слово «судьба» звучит подозрительно, намеком на провидение, на некую всевышнюю волю, которая всегда одна, поскольку и Бог — один. «Судьба народа» — это отдает фатализмом, предопределением. Но достаточно заменить букву окончания — и слово делается родным, близким, до боли понятным, годным в любой, самый строгий и торжественный контекст. Потому что «судьбы» — это уже не провидение, это слово пышет здоровьем народного эпоса, вбирает его широту, необозримое переплетение многих судеб. Заметьте, что, когда произносишь «судьбы», тоже возникает ощущение высоты, подъема, как и при слове «судьба». Но если «судьба» — это кто-то глядит на тебя свыше, то «судьбы» — это сам ты глядишь свысока на множество раскинувшихся перед тобой судеб.

«Судьба» — трагическая обреченность человека, зывающего из бездны; «судьбы» — эпическое спокойствие автора, взирающего с горных вершин на шествующих перед ним людей.

Мы попытались объяснить, как изменилось слово «судьба», попав к нам в язык, как оно, изменив грамматическую форму, изменило философскую сущность. Но это еще не объясняет, почему оно вообще осталось в языке, хотя и в измененном виде. Ведь могло же оно перейти в разряд историзмов или архаизмов, как «вече» или «уста», или отойти на периферию, откуда его изредка — и почти в переносном смысле — заимствовали бы поэты, вроде как близкие ему по смыслу слова «пророк» или «благодать» (применяется в основном к состоянию природы: «Ну и погодка же сегодня — благодать!»). Но нет, слово «судьба» — преимущественно как «судьбы» — осталось и едва ли даже не участилось в своем употреблении. Сравним: по частотному словарю русского языка (под редакцией Л. Н. Засориной. М., 1977) на миллион словоупотреблений «благодать» употребляется 4 раза, «пророк» — 19, а «судьба» — 181 раз, причем — это особенно важно — треть всех употреблений приходится на газетно-журнальные тексты, больше, чем на художественные, а 24 раза это слово употребляется в научно-публицистических текстах — имеются в виду сочинения Калинина,

программные документы и проч. Значит, слово по какой-то причине необходимо и его нельзя заменить никаким другим. Не вообще для жизни человеческой необходимо, а именно в его нынешнем социально-историческом смысле. Необходимо так же, как и другие слова равной частоты употребления.

Здесь мы наталкиваемся на явление, которое может показаться случайностью, но, по моим наблюдениям над частотными словарями, закономерно. Рядом, подряд идут слова, имеющие одинаковую частоту употребления и одинаковые, близкие по смыслу, составляющие как бы не словарную цепь, а цепь высказывания. Будто кто-то пытается объяснить нам, что такое судьба, и перечисляет основные признаки, к ней относящиеся. Вот все эти слова с одинаковой частотой 181:

возвращаться  
круг  
момент  
необходимо  
прийти  
случиться  
строй  
судьба.

(Частотный словарь русского языка, с. 813)

Словарь — как песня, из которой ни слова не выкинешь, и нет здесь ни одного, которое было бы сказано всуе, не о судьбе (а дальше — с частотой 180 — идет другой набор: «использовать», «команда», «министр»). Из десятков текстов набраны, по сугубо статистическому принципу — а как бросились навстречу друг другу, словно опять хотят в один текст, жить не могут в разлуке! Привыкли в министерском кресле кем-то командовать, кого-то использовать...

Итак, «судьба» — это возвращение по кругу, то, к чему необходимо придешь, в чем соединяются свойства случая и необходимости, единичного момента и всеобщего строя. Сумма всех перечисленных в словаре слагаемых — судьба. Для этого слова заготовлено место в сети самых общих и абстрактных отношений: как для движения важен возврат, для пространства — круг, для времени — момент, для поступка — необходимость, так для жизни важна судьба. Но почему все-таки она нужна для нашей с вами жизни?

Очевидно, слово это имеет свое социально-философское задание, которое не способно выполнить никакое другое слово.

Понятие «судьба» оберегает нас от излишнего произвола, на который мы покушались бы, если бы судьбы не было вообще. Правда, перейдя во множественное число, «судьбы» стали свидетельствовать о превосходстве человека над судьбой. Судьба мистична, судьбы историчны. Из лопнувшего мистического понятия ртутными шариками разбежались во все уголки исторического мира — судьбы, судьбы, судьбы.

«Разделяй и властвуй». Разделив судьбу на судьбы, человек овладел тем, что им владело. Люди сами — творцы своих судеб...

Но — *судеб* же. Благодаря «судьбам» человек все время ощущает свою причастность к чему-то высшему. Это не такое высшее, над чем человек не властен, — но такое, от которого он не свободен. Ведь известно, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нельзя стоять в очереди и быть свободным от очереди, ехать в автомобиле и быть свободным от автомобиля. Вот все это множество несвобод и получило поэтическое название «судеб», чтобы зря, по мелочам не унижать человека — ведь, в общем-то, он завоевал свободу и взял судьбу в свои руки. Другое дело — «судьбы»: не так уж они страшны, если их много и одну можно заменить другой, но притом достаточно властны, чтобы не упрекать себя в слабости, а чувствовать даже гордость этой свободно достигнутой несвободой.

Тут само собой расслаивается и еще одно понятие. Человек — сам хозяин своей судьбы, а вот люди... Вспомним у Горького в пьесе «На дне» (Сатин): «Все в человеке, все для человека!» Но: «Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека)». Человек — внутри человека, как маленькая матрешка внутри большой. Большой человек, тот, который пальцем очерчен в воздухе, — он, конечно, властелин, и в нем все, и все для него. Но из него, плотно набитые, выскакивают людишки ростом поменьше, не Наполеоны — ты, я, они... Рядовые «носители судеб». Стартовые площадки отделяющихся в небо ракет.

Человек властвует над судьбами, сам мерит, кроит, изготавливает, кует судьбы — потому-то их, как сортов, много. Но человек не может избежать судеб народа, общества, к которым причастен. Благодаря понятию «судьбы» человек возвеличивается до целого, но и остается частью, одним из людей. Он — властен, и он — причастен (два главных сказуемых к слову «судьба»). Некогда цельное и сплошное, понятие «судьбы» раздвоилось, став орудием передачи смыслов и власти. Судьба для одних уменьшилась до того, что оказалась в их руках. Для других судьба выросла во всенародную, оставшись «грознай», «суровой», «беспощадной».

Раньше судьба была властна над человеком. Потом одни люди стали властны над той судьбой, к которой причастны другие. Диалектически раздвоившись, судьбы в руках одних стали грозами над головами других. Неважно, чьи руки, чьи головы — ведь судьба, размножившись в судьбы, способна одних и тех же людей разделять пополам. Выкованная руками титана, гремит над его же головой пигмеем. «Судьбы человеческие»,

Ф. Ярбусова

## ТЕАТР ДЛЯ ЧТЕНИЯ

### ВЕСЫ

Сумерки. Две облупившиеся колонны. Занавес прибился к одной из них. Летний театр. На пустой сцене на подносе дымят благовония. За верхнюю перекладину сцены подвешены огромные аптечные весы. На чашах весов белый и черный ангелы. Весы чуть покачиваются. Слышен скрип заржавелой лебедки. То один ангел выше, то другой.

За сценой открывается пейзаж поздней осени. Поле, облетевшие деревья. Пустые скамьи в зрительном зале. По дощатому полу сцены скребет скорченный осенний лист, как краб — боком. Кусты обступили зрительный зал призрачной черной щетиной. Сцена слабо освещена. Дым сносит то в глубину сцены, то в зрительный зал.

Черный ангел напоминает хищную пикирующую птицу. Крылья сомкнулись за спиной. Крутой изгиб шеи. Голова смотрит вниз. Руки опущены, но ладони сопротивляются движению.

Белый ангел — распахнул крылья. Голова смотрит вверх. Рот полуоткрыт. Одна рука придерживает полы распахивающегося плаща, другая лежит на груди, ладонь у шеи.

Дым обволакивает черного ангела. Слышен кашель.

Черный ангел. Елейный начадил. Подумать можно, что всем приятно этой гадостью дышать.

Белый ангел. Мне жаль тебя. Во злобе тяжело жить.

Черный ангел. Заткнись! Чем тяжелее мне, тем выше ты! Мы на весах одних.

Белый ангел. Согласен я часть страданий твоих взять на себя и за тебя молиться.

Черный ангел. Вот, деспотизм и страх — две маленькие птички.

Белый ангел. Они ведут к обману!

Черный ангел. Хм! Свалиться ты боишься! Испачкаться! Меня не проведешь!

Белый ангел. Я их беру!

Чаша с черным ангелом поднимается, с белым — опускается.

Начинает идти снег, но только в пространстве, ограниченном рамой сцены. Слышен резкий галочий крик.

Черный ангел. Балда! Мне душно наверху! Верни обратно!.. Тьфу, чистые какие возвратились! И легкие, как перышки! А дай в придачу чего-нибудь! Хотя бы сентиментальность излишнюю твою. Ведь это же порок! Пусть небольшой, ну грамм на двести?

Белый ангел. Вот — доброта. Возьми!

Черный ангел. Давай, она о двух концах!

Белый ангел. Любовь?!

Черный ангел. Ой, к помидорам, что ли?

Белый ангел. Не кощунствуй!

Черный ангел. Не учи! Святейший из леггорнов.

Белый ангел. Звон колоколов?!

Черный ангел. Бодливая корова заблудилась!

Белый ангел. Опомнись! Снег запорошил тлен поздней осени, и дышится легко. Ах, воздух можно пить!

Черный ангел. Чего-нибудь покрепче! Пить!

Чаша с белым ангелом поднимается. Снег покрывает поле за сценой.

Белый ангел. Там, среди кустов, я вижу — в руке раскрылся веер, блеснула шпора, перья страуса на шляпе. Там кто-то есть! Вот под вуалью глаза сверкнули, зубы. Перчатку кто-то обронил.

Черный ангел. Совсем свихнулся! Эй, кто там? В таких кустах скорее рога увидишь или хвост!

В кустах чиркают спичкой. Высвечиваются на секунду два лица, склонившихся друг к другу. Одно в кепке, другое в шапке-петухе. Один у другого прикуривает. В полном безразличии к голосам ангелов Петух и Кепка ведут свой диалог.

Кепка. Здесь, в кустах долён он быть! Темнеет, холера, быстро. Хотели засветло. Посвети!

Петух зажигает спичку. Высвечивается большая рука с отставленным мизинцем.

Петух. Может, стянули?

Кепка. Кому он нужен! Вот! Нашел!

Двоим поднимают и вытаскивают из кустов скрученный трос.

Черный ангел (*язвительно*). Перья страуса на шляпе!

Белый ангел. Я видел все: и веер, и вуаль, и шпоры...

Черный ангел. Приснился петушок, а подали глазунью!

Кепка. Татьяны что-то не видать давно,

Петух. Она ушла со склада.

Кепка. Совсем? Ты вроде к ей ходил?

Петух. А... х-х-х (*машет рукой*). Перевели ее.

Кепка. Куда?

Петух пожимает плечами.

Кепка. На алименты подала?

Петух. Когда ложилась — наивная была. Как родила — так я и виноват!

Достает из кармана газету. Скручивает ее жгутом, поджигает. Как с факелом поднимается на сцену, освещает ангелов и в глубине за сценой — поваленное дерево, трубу и крышу трактора. Пепел черными лохмотьями падает на пол.

Белый ангел (*тихо*). Мне страшно!

Черный ангел (*тихо*). С тобою солидарен я.

Белый ангел. Не смерть страшна, а пустота за ней... Зачем они пришли?

Петух. Начальник это сказал? Статуи тоже?

Кепка. Они сказали все... расчистить. В январе — траншею от лагеря к реке. Трубу проложить надо. (*Машет рукой, показывая направление траншеи. Плюет на пол. Растирает сапогом.*) Пойду мотор согрею, а ты займись святыми. На нашу шею их тут подвесили.

Берет трос, спускается за сцену к трактору. Через некоторое время всполохи света показывают, что там развели костер.

Петух роется в сумке, которая висит у него через плечо. Достает веревку. Наматывает на локоть большими петлями. Перебрасывает через верхнюю перекладину сцены. Делает скользящую петлю, набрасывает на шею черному ангелу. Тянет за веревку, пытаясь снять ангела с весов. Равновесие нарушается. Белый ангел покачнулся. Крыльями описывает полукруг вниз. Падает, Разбивается. Черный — раскачиваясь, повисает.

Петух. Ё... моё.

Привязывает конец веревки к колонне. Хлопки заведенного мотора. Солярный вонючий дым из трубы трактора.

Кепка. Но, поехали!

Трактор рванул. Дерево вздрогнуло. В сумерках по целине трактор волочит дерево. Одна из веток вспарывает брюхо снежному полю.

Слышен картавый бодрый голос.

Режиссер. Прошу!.. Стоп, стоп, стоп.

По настилу между рядами в зрительном зале идет невысокий энергичный человек. Ступает четко, мелко, с пятки,

Режиссер. Все прекрасно! Прошу еще раз!

Недоуменный Петух стоит над разбитыми крыльями. Из кустов появляются дамы, кавалеры, черт.

Идут вслед за режиссером.

Режиссер. Прошу все сначала!..

Петух. Нельзя сначала... Ангела разбили..

## ВСПОМИНАНЬЯ

Календарь моей жизни, очевидно, завершил виток, и воспоминания нахлынули и стали мучить.

И заново переживаю события, без хронологии, а то, что время не обкатало в морской камушек, что сохранило для меня и цвет, и острые углы, и запах.

Мне было лет тринадцать. Мы жили на берегу Волги в старом доме Зины и Петра. Они сами жили на дебаркадере. Петро был начальником пристани, а Зина — матросом и радистом.

Дебаркадер беспомощным китом осел бортом на берег. Все дороги и тропинки в округе сходились у пристани.

## Ковчег

Каюта, в которой жили Зина и Петро, представляла собой дощатую крашеную коробку. Железная труба под колпаком. Два сияющих квадратных окошка с белыми крестиками переплетений и геранью, прильнувшей к стеклу. Пло-



ская крыша. Снаружи все казалось обычным. Но стоило перешагнуть порог каюты, как у вошедшего кружилась голова. Человек терял равновесие и невольно опускался на стул у двери.

Стол из досок, стулья, за ситцевой занавеской кровать, чугунная плита — все стояло перпендикулярно полу. Только гири маленьких ходиков с привязанной к ним дверной скобой висели под углом к стене градусов на тридцать да за окном матушка-река вздыбилась и грозила всемирным потопом. Гости охватывала тревога. Но Зина смеялась. Пахло вареньем. Тонко жужжала оса на окошке. Под столом собака обглаживала куриную лапу. В дверях коровья голова жевала занавеску.

## Маруся

Хроменькая Зина осипшим голосом переговаривалась с молочницами, развешивала белье. Две собаки неотступно следовали за ней. Кривоногий Тузик и ожиревшая Муха. Длинные тени стлались по палубе. Несколько пассажиров ждали утренний катер. Чайки лениво кружились над островом.

В дверях каюты показался Петро. Из-под фуражки торчал нечесанный казацкий чуб. Штаны подпоясаны веревкой. «Маруся! — заорал он. — Кто будет принимать сводку?»

На берегу паслась телка. Она перестала жевать, икнула, а потом уверенно по сходням взошла на палубу, спокойно протиснулась в дверь рубки.

Сначала в репродукторе слышались хрипы, а затем — «...в сиянье ночи лунной тебя я увидал...».

— Ты что включила?! — Петро театрально схватился за голову.

Собака с лаем бросилась к Марусе. Рассерженная телка проскочила мимо Зины, которая протягивала ей краюху хлеба. Опустив голову, она наступала на Петра, пока тот не полетел за борт, нелепо взмахнув руками. Но в воду вошел головой, почти без брызг. Стайка рыб, гулявших поверху, метнулась в сторону, как от щуки. Через несколько минут Петро в белом кителе, новой фуражке начальника пристани встречал катер.

## Часовня

Когда образовалось водохранилище, весь левый берег ушел под воду. Только небольшой остров с часовней остался посреди реки. С каждым годом все больше и больше зарастал остров крапивой и одичавшей сиренью. Корни трав разъедали крышу старинной часовни, но кирпичные стены казались неприступными для времени,

Ранним пасмурным утром черная смоленая лодка пересекла фарватер и направилась к острову. Две человеческие фигуры высадились на берег. Они прорубили тропинку к часовне и взялись за заступы. Старинные кирпичи мясными кусками падали в траву. Изразцовый пояс на барабане раскрошился.

Пасмурное утро сменил дождливый день. Часовня разрушена. Кирпичи погрузили в лодку. Ветер дул вдоль водохранилища. Волны вспенивались гребешками, захлестывали через борт. Гребцы налегали на весла, и скоро лодка скрылась за косыми полосами дождя и лохмотьями несущегося тумана.

Рыбаки из артели слышали крики о помощи. Они прошли на катере вдоль крутого обрыва, где река размывала берег и случались обвалы, но никого не обнаружили. Сообщили по рации в город.

Милицейский катер сновал по заливам. К вечеру выглянуло низкое солнце. Оно неподвижным оком несколько минут смотрело на землю, пока темное облако, как отяжелевшее веко, не опустилось и не закрыло его. Волны багряной изнанкой выворачивали листья водяных лилий. Может быть, где-то сеть браконьеров отяжелела от недоброго улова, но они не сообщали. На остров за кирпичами больше никто не ездил.

Покрытые глазурью черепки находили потом на песчаной отмели. Немеркнувшие краски старинной росписи не раз обманывали любопытных ворон. Среди камушков, раковин, водорослей, дохлых рыбешек на прибрежном песке вдруг вспыхивал дивный цветок или гроздь ягод с изумрудными листьями.

## Окно. Гроза

Спать решили на чердаке на сене. Рама чердачного окна выставлена, и в проеме виднелись только вода и небо.

Когда стемнело, окно превратилось в сплошное черное полотно, по которому проплывали светящиеся баржи, тянулись плоты с кострами, шалашами, одинокой гармонью. С музыкой вальсов Штрауса ворвался большой туристский пароход, блистая огнями.

Старый Иваныч вздыхал и кашлял внизу в комнате. Собака чесалась на мосту, стучала лапой по полу. Чирикнула в гнезде под крышей ласточка. Надвигалась гроза. Все меньше времени проходило между всполохами молний и раскатами грома. Огненное дерево явилось над водой, высветило длинные черные острова. Сухой треск и грохот, как обвал. Первые капли птиц пробежали по крыше, и водопад обрушился на землю. Не помню, как уснула, но перед

глазами все время вспыхивал дымящийся от водяной пыли подоконник.

Проснулась на рассвете. Туман размыл горизонт. В сыром воздухе слышно было, как шлепают лопасти колес по воде. Угу-у-у,— приветствовал «Селигер». Ух-х-х-хуу,— отвечал «Чернышевский». И тени двух старых колесных паходов проплыли навстречу друг другу.

## Старухина изба

Мимо дома через льняное поле шла дорога к дальним покосам. Каждый раз желтые трясогузки кружились над идущими по дороге, провожая их тревожными криками. За полем виднелась крыша старухиной избы, единственной оставшейся от большого села. Все остальные дома перенесли к лесу, за три километра от Волги, подальше от зоны затопления.

Старуха не пожелала покинуть жилье, где родилась, выросла, родила сына и овдовела. Разлив пощадил ее. Дом не затопило. Только к огороду подобралась вода. Серые цапли разгуливали по грядкам. Ивовый плетень пустил корни, и зазеленела живая изгородь, все больше и больше скрывая от глаз старухину избу. По вечерам тускло светилось окошко. Старуха ждала сына. Иногда почтальон приносил ей перевод, но сын не приезжал.

## Бабье лето

С одинокой ветлы соскальзывали желтые узкие листья. На старой амбарной двери на бочке стояли бутылки с вином, лежало сало, хлеб и яблоки. На скамье и ящиках расположились охотники. Неподдалеку хлопотала Зина у самодельной печки. Голубой дым поднимался к небу. Пахло жареной рыбой. От реки тянуло сыростью, а с поля накатывалась волна теплого воздуха. Петро спорил с охотниками, размахивал руками. Они смеялись, подзадоривали его. Наконец он не выдержал. Схватил ружье, позвал Зину, дал ей яблоко.

Зина, хромая, взошла на бугор, поросший озимой травой, повернулась лицом к охотникам и положила яблоко себе на голову, пригладив пышные седеющие волосы. Чтобы стоять ровно, она привстала больной короткой ногой на цыпочки.

Английский сеттер, спавший под скамьей, встрепенулся от выстрела. Закат разметало петушиными перьями, а на востоке уже всходило звездное небо. Зине налили стакан черного вина. Рубиновый блик метнулся в ее пальцах, и она

выпила залпом. Простреленное зеленое яблоко светилось в траве. На проходящем белом двухпалубном пароходе грянул оркестр.

## ОКОЛЕСИЦА

### I

Вечер. Небольшая пристань. Канат парома тянется к противоположному, скрытому дымкой берегу. На столбе фанерная стрелка в сторону реки с надписью: «Переправа». Пыльная дорога спускается к пристани. На проезжей части ее открыт железный люк. Над колодцем тренога со знаком «Идут дорожные работы». Ветла, разбитая грозой, склонилась у воды.

За столом, покрытым старым линолеумом, играют в домино мужчина в тунике с видом патриция и черт в выцветшем галифе. Прислонившись спиной к ветле, дремлет еще один черт. Он изредка всхрапывает, несмотря на стук косяшек. Его сизый нос выводит рулады.

Появляется молодая женщина в сером плаще, накинутом на плечи. Она, как тень, медленно движется в сторону играющих. Подходит к Патрицию и вглядывается в его лицо.

Патриций. Женщина, не лезь в мужские игры! Иди сажай цветочки, а лучше вышивай или рожай детей, пока...  
(*Стучит костяшкой.*)

Галифе. Пока не изменился климат!

Патриций. Как там у классиков?

Галифе. Курица не птица...

По дороге, насвистывая, идет черт-щеголь с тростью и в гамашах. Из-под гамаш виднеются большие раздвоенные копыта.

Щеголь (*обращаясь к женщине*). Не слушайте его, на вашей шейке прелестный завиток — печать галактики! Смотрите, ножки!!

Посылает воздушный поцелуй. Из люка появляется голова с рогами. Нос зажат двумя пальцами.

Голова (*гнусавя*). Не то что у тебя — копыта!

Щеголь, Ну, мадам, вас уверяю, выше — я мужчина!

Просыпается Сизый Нос.

Сизый Нос. Что? Где? Кого тут баба ищет? Ой, кости ломит. Закат кровавый, к непогоде.

Щеголь. Мадам, вы что-то ищете? На пару мы найдем, что потеряли. Возьмете в компаньоны?

Голова. Слюнявый, не смейся! Как будто ты не знаешь, что девушка теряет!

Женщина вглядывается из-под руки вдаль: не приближается ли паром?

По берегу бредет усталый путник. Куртка застегнута, но пуговицы и петли сдвинуты. Одна нога выше другой. Женщина оглядывается, неуверенно догоняет Путника, трогает его за рукав.

Женщина. Простите. *(Узнает того, кого искала. В волнении.)* А я искала вас...

Путник. Всю жизнь метался и самого себя искал, а вы нашли?

Женщина. Мне ваша доброта надежду подарила. Я жила надеждой... *(Запинается.)*

Путник. У моего крыльца конь вороной прядает ушами. Сверкает дорогая сбруя...

Женщина. Август... Звездопад...

Путник. Конь землю копытом гулко бьет и ездока топчет.

Женщина. В саду созрели яблоки и падают плоды...

Путник. Дорога так светла...

Женщина. Луна подтаявшею льдинкой холодный свет на землю льет...

Щеголь. С этим все ясно!

Путник. Косым штрихом пейзаж осенний унылый дождик зачеркнет.

Женщина. Я вас ждала... и вас искала...

Скрываются за бугром.

Сизый Нос *(вдогонку им)*. Эй! Далеко не заходите. Паром вот-вот прибудет, а вас ищи-свищи.

Закат тускнеет. Медленно, властно накатывается звездное небо. Сизый Нос зевает, похлопывая себя по открытому рту. Достает из-за спины магнитофон. Включает. Резкие звуки металлического рока.

Сизый Нос. Старье, ой, старье! *(Выключает.)*

Скорбно согнувшийся фонарь. Свет в неоновой лампе вздрогнул. Лампа засветилась нежным сиреневым светом. Стала разгораться. В освещенный круг под фонарем въезжает больничная кровать. Дребезжат колесики. Простыни метут по земле. В кровати полусидит сухонький старик. На железной спинке висят казенное полотенце и пижамные штаны. За другую спинку кровать толкает девушка с пышным бюстом.

Девушка. Так удобно? Не дует? Тебе еще чего-нибудь принести?

Старик качает головой из стороны в сторону. Девушка целует его, как муха хлебную крошку хоботком. Забрасывает сумочку через плечо и уходит. Щеголь, стараясь не стучать копытами, удаляется за ней.

Голова. Ой, плохо кончит!

Старик. Обид не помню, зла не таю, но трудно заживают раны. Слеза — вот трясогузка, в глазу дрожит. Теперь мой дом — моя душа, и, как улитка, ношу его с собою. Пусть крыша прохудилась, но теплится лампада и угли в печи еще не прогорели...

*(Очередной стук костяшек.)*

Сизый Нос. Нельзя вам волноваться!

Старик. Мы все летели, как птички щебетали Future... Future... и ревности огонь нам крылья опалил... *(И с удивлением разглядывает собственные высохшие руки.)*

Старик. Она была красива, но время судит, кто истинно красив... *(Суетится на кровати, достает из-под подушки пачку бумаг.)* Здесь, на поляне, среди сухих цветов бессмертника, нашел я книгу. Старый из кожи переплет, как плоский камень. Поземкой по обложке песок... А кем забыта? Людьми ль? Богами? Кобылка краснокрылая с нее взлетела. Текст рукописный почти не виден. Обрывки фраз и слов. Расшифровать хотелось бы, да сил уж мало. Таинственная вещь! *(Протягивает книгу, предлагая ее окружающим. Те равнодушны. Не замечают.)*

Старик. И друга нет. Костлявая его не пожалела! Еще вчера, казалось, сидели с ним на бревнышке у той ветлы... Да... В молодости — единый порыв, и тело, и душа. Теперь же — мясо отслаивается от костей, душа — от тела. За что

хвататься, что спасать? Лечиться или молиться? «Что толку в твоём писании, когда урчит в желудке?» — шутил мой друг. И, рыбу завернув в мои листы, мерцающие угли разгребал и засыпал золою пакет... «Вот будет ужин славный!!!» А на лугу скрипели коростели и лошади ходили... (Засыпает.)

Голова. Потертый пятачок! Пора его в копилку!

Закат совсем погас. За бортом пристани сплошная чернота. Только трос, освещенный фонарем, уходит в темноту. По берегу проходят в обнимку Щеголь и девушка. Черт из люка чуть не сворачивает себе шею, следя за ними.

Сизый Нос. Вот вечность так! Случилось бы хоть что-нибудь поинтересней. Скука!

Девушка и Щеголь шепчутся.

«...родственник, завещание оставил...»

Галифе прислушивается, поднимает указательный палец. Слышен рокот. Из темноты приближающаяся фара слепит. Патриций прикрывает глаза ладонью. Чрево трюма резонирует плеск волн. Паром ударяется бортом. Перекинуты сходни.

Галифе (к Патрицию). Пора! Давай! Иди!

Патриций (растерянно). Так мы еще не доиграли...

Глаза его начинают бегать. Делает рывок в сторону. Галифе и Сизый Нос набрасывают на него смирительную рубашку.

Патриций. А-а-а! Помогите!

Кляп в рот. Ведут на паром...

Сизый Нос (возвращается и нежно кличет). Эй, голуби, пора!

Женщина и Путник спокойно проходят на палубу. Сизый Нос вкатывает на паром кровать со спящим стариком.

Голова. Слюнявый загулял! Его не ждите. Давай отчаливай!

Г а л и ф е. Молчи, канашка! Вон еще бежит. Несчастный случай!

По дороге, пыля, бежит человек с ружьем, в болотных сапогах, за плечами тяжелый рюкзак. Чуть не проваливается в открытый люк. Сбивает рюкзаком фанерную стрелку с надписью: «Переправа». Влетает на паром. Почти одновременно Галифе выбивает сходни. Слышен шум мотора.

О х о т н и к (*задыхаясь, кричит*). Моя собака!

Вслед за охотником бежит собака. Она не успевает вскочить на паром. Расстояние между паромом и пристанью увеличивается, как расколовшаяся льдина.

С и з ы й Н о с. Животных на паром нельзя!

Рябой, вислоухий, охотничий пес мечется по пристани, скулит и подвывает.

С и з ы й Н о с (*к собаке*). Тебе что? Жить надоело?!

Свет фары на пароме гаснет во мраке. Сизый Нос поднимает упавшую фанерную стрелку. Вертит ее в руках. На одной стороне — «Переправа», на другой — «Лета».

С и з ы й Н о с. Это что тут написано?

Г а л и ф е. А... Это по старому стилю..

В свете фонаря у самого борта пристани сидит собака. Время от времени мелкая дрожь пробегает по ее телу.

## II

Восток зазеленел в малиновом подпале облаков. Над черным лесом разгорался жертвенный костер. Но одинокая еще дрожала звезда.

Дирижер во фраке стучит палочкой по пюпитру. Оглядывает ангелов в белых хитончиках.

Д и р и ж е р. Ля бемоль мажор. (*Взмахивает палочками.*)

Ангелы берутся за руки.



Играют и поют:

Ходи в петлю, ходи в рай,  
Ходи в дедушкин сарай!..

Сарай из березового горбыля, корявые доски смотрят глазами сучков. Большой пестрый петух взлетает на конек сарая, хлопает крыльями, к дирижеру подбегает охотничий пес, поднимает заднюю лапу на пюпитр. Дирижер сконфужен. Ангелы со смехом разбегаются.

Из сарая с лукошком яиц выходит старик Гавриил-архангел.

Гавриил. А... Блудный сын вернулся! Живой! Хвост драный и лапы все разбиты. Где ж ты был? И на каких воротах надписи оставил?

Пес виновато ползет на брюхе к Гавриилу, стучит хвостом по земле.

Гавриил. На райское яичко!

Пес осторожно берет зубами яйцо, отбегаёт в сторону, принимается за трапезу.

Вслед за стариком из сарая выходит Амур, с луком и стрелами. Колчан волочится по земле. Идет к собаке. Пес на него ворчит.

Амур. Медведь, я тебя не боюсь! Я тебя сильнее!

Гавриил. Не приставай к нему. Дай отдохнуть.

Дирижер (*к старику учтиво*). Мария еще не родила?

Гавриил. Бог даст. Родит! (*Закидывает голову к небу.*) Как высоко летят!

Дирижер. Ангелы?

Гавриил. Нет, журавли...

Дирижер (*снова стучит палочкой*). Репетиция продолжается.

Отовсюду слетаются, как стая белых голубей, Ангелы. Хлопанье крыльев. Из хаоса смиренно собираются в группу.

Дирижер (*объявляет*). Сон Марии!

Палочки рожками взвиваются над его лысиной.

А н г е л ы (*поют*).

Куст кровеносный пылает  
Птица в ветвях трепещет.

В венчике из сосудов  
Мозг — цветок девясила.

Куст пепельный — нервы,  
Тонкие ветви, иглы.

В раковинах улиток  
Шум морского прибоя,  
Волны щекочут пятки.

Что там, на горизонте?  
Я разглядеть стараюсь...  
Парус?!

Гавриил садится на старую колоду, держась за поясницу.

Г а в р и и л. Мне жаль Марию! Кто в непорочное зачатие сейчас поверит? Э-хе-хе...

Ангелы стоят, потупив взоры.

Г а в р и и л. В тяжелую минуту для нее тот грубое небрежно бросит слово, этот рассмеется в лицо. Репьями сплетни цепляются за юбку.

А м у р. Дедуля, отгадай загадку: «Что долго тянется и быстро пролетает?»

Г а в р и и л. Время.

А м у р (*смеется*). Это тетива у лука моего. Натягиваешь долго, и стрела запела, достигла быстро цели. Смотри! (*Целится в Архангела.*)

Г а в р и и л (*отмахивается рукой*). Свой сладкий яд не трать напрасно, ведь я — осенний лист.

А м у р (*вздыхая*). Пойду стрелять в лягушек!

Д и р и ж е р (*к Ангелам*). Перемена! Кыш! Отдыхайте!

Подсаживается к Гавриилу. Таинственно и тихо:

Дирижер. Скажите, это правда, что жизнь — калейдоскоп? Лишь стоит тронуть, и по-другому сложатся стекляшки. Зачем тогда наш стройный хор? Напрасные труды?

Гавриил. Откуда знать мне? Я, как старьевщик, судьбу, пожалуй, смогу перекроить и... душу наизнанку... Но жизни поток... *(качает головой)*.

Ангелы играют.

Один. Я буду Диогеном из Синопа! *(Залезает в бочку.)*

Другой. А я — Занозой! Ой! Бенедиктом Спинозой! И пусть еврейская община Амстердама...

Дирижер. Побойтесь бога! В людей играют!

Осины под ветром зашептались. Сорока затрещала.

Дирижер. Сюда идут!

Блудный сын веселым лаем окрестность огласил. Ему навстречу по тропинке Мария везет коляску с двойней.

Гавриил-архангел от удивленья крылья поднял. Мария в брюках, с короткой стрижкой.

Дирижер. О господи! *(Достает из кармана валидол. Кладет таблетку под язык.)*

Гавриил *(остолбенело)*. Двойня?!

Мария *(улыбается. Усталые глаза)*. Девочка и мальчик. *(С нежностью наклоняется над коляской, поправляет накидку.)*

Дирижер *(с трудом выговаривая)*. А кто отец?

Гавриил бросает на него испепеляющий взгляд. Из-за спины Марии выюном выворачивается Черт.

Черт *(с реверансом)*. От бога! Рождением своим мы все обязаны ему.

Мария молчит, наклонив голову. Пряди волос падают ей на глаза. Она собирает их тонкими пальцами за ухо. В задумчивости не слышит разговора.

М а р и я. Молока вот только мало на двоих...

Г а в р и л (*запинаясь*). У нас... это... в сарае корова, куры...

И Диоген, и Спиноза, и другие ангелы, как расшалившиеся дети, выглядывают из своих укрытий.

Солнце лениво свой бок над лесом приподняло. Холодная роса согнула травы. Блудный сын, виляя задом, радостно тычется носом всем в одежды.

Но что-то поразило собачий тонкий слух. Он замер, виновато носом свистнул и по тропинке прочь затрусил,

Г а в р и л. Куда ты, Блудный сын?

Ч е р т. На переправу. Все ждет кого-то!

## ПОРЧА

— Чего люди смутьянят, пьют, матершинят... Жить бы им и жить. На свете беды и так хватает. Я думаю, это все нечистые делают, кого бес попутал, кто душу свою продал. Им оттого, что они чего плохого сделают, легче становится. Или на кого порчу напустят. Твоего Лексея точно кто сглазил. Чего ему надо? Живой вернулся, к жене. Сын. Обут, одет,— говорила крестная, распуская старую кофту. Она поплеывала на пальцы, замученные работой и отказывающиеся удерживать нить. Валентина, жена Алексея, мотала нитки на локоть, готовила шерсть к стирке. На подстанции что-то чинили. Время от времени лампочка мигала и гасла. В темноте женщины распрямляли спины, вздыхали. Слышнее становилось, как мыши грызут обои, пищат и возятся.

— Ты его святой водой через скобу напои,— продолжала крестная.

— Он партийный,— возражала Валентина.

— А ты незаметно.

— Вчера у Мазиловых курица петухом запела,— сказала Валентина, пошарила по столу, ища спички.— Керосиновую лампу зажгу?

— Это не к добру. Кто-то у вас колдует. Зажигай, зажигай...

— Колдует?! Известно кто! Тоська... Скоро год сравняется, как она завербовалась, уехала. А в комнате у нее, люди слышали, голоса. А комната опечатана. Она как уехала, Лексей запил. Ой, Богородица... Сил моих больше нету. Пьяный — то плачет, то прибить грозит. Толик от дома отвалился, все на рыбалку, на пруды. Она, когда жила еще, выйдет на кухню, ни на кого не смотрит. Я при ней еду не оставляла, нет, все в комнату несла,

— Домоуправу говорили?

— Что?

— Про голоса.

— Ему все уши прожужжали. Кто свет видел. Кто саму Тоську.

— А он?

— Говорит — дуры бабы. Но дверь надо открыть. Может, у нее воры побывали.

Назавтра свет совсем отключили. На подстанции еще чего-то сломалось. А дверь в Тоськину комнату все равно решили вскрыть.

И открыли дверь. Домоуправ достал трофейный железнодорожный фонарик с разноцветными выдвижными стеклышками. Красным, желтым и зеленым. Освещенный угол комнаты три раза поменял цвет и остановился на желтом. Плюшевый диван, салфеточки — гладью, крестиком, ришелье. Тумбочка со шкатулкой из глянцевого бумажки, флакон из-под одеколона, высокая стеклянная ваза, искусственные цветы, открытки на стене. Венские стулья выгнули спинки из-за стола. Круг света вздрогнул и остановился. Показалось, что в комнате кто-то есть. Ковер. На ковре выткана девица в старинном открытом платье. В руках у нее гитара. Справа от девицы кавалер подкручивал ус, слева — другой, стоял на одном колене, с букетом цветов. В неровном свете фонарика лица кавалеров и девицы чуть менялись, улыбались и подмигивали. За синим вечерним окном в саду в корыто с мокрых листьев капала вода. Похоже было, что невзначай кто-то задел струны гитары. В проеме двери силуэтом застыли соседи. В комнате действительно никого не было.

Утром Алексей плакал. Валентина его жалела. Жалела и торжествовала. «Может, мы с тобой еще хорошо проживем... Стыдобища то, плакать...» — говорила она торопливым шепотом. Толик сидел за письменным столом перед раскрытой тетрадкой. Он обмакивал перо в чернильницу и пытался наступить им мухе на лапку. Муха ползала по тетради. Когда перо приближалось к ней, она замирала, взлетала, но всякий раз возвращалась к жирному пятну на странице.

— Эх! — стукнул Алексей кулаком по столу так, что сын вздрогнул.

«Господи! Святая Богородица! Опять запьет», — подумала Валентина и как в воду глядела.

Ночью Алексей возвращался навеселе. Под звездным августовским небом стрекотали кузнечики. В свете редких поселковых фонарей искрилась мошкара. Пока он шел от фонаря к фонарю, глаза привыкали к темноте, и тогда в черной листве садов начинали тихо светиться яблоки. Антоновки, что женские груди, будто русалки, бесстыдницы, прятались в ветвях. Перебрехивались собаки. Совсем рядом громыхнул цепью пес, озлился, захлебнулся в хриплом лае.

Лексея качнуло. Он отмахнулся от чего-то, погрозил пальцем то ли псу, то ли русалкам и неожиданно громко на весь поселок заорал:

— «Чому я не сокил, чому не летаю...».

Ночная птица бесшумно скользнула по небу.

Дома жены и сына не было. Прятались у соседей. Лексей обвел глазами комнату. Внимание его привлекла карта над столом сына. На карте розовой тушей распласталась огромная страна. «Где?! Куда уехала?!» Бабочка, ударившись в стекло керосиновой лампы, упала на стол, кружилась по клеенке, мелко дрожала крыльями.

В сентябре за окном дрозды осаждали рябину. В поле, дымясь, прела солома. Сын ходил в школу. Жена округлилась лицом. По выходным в новом платке стала посещать церковь. Лексей затих. Только иногда казался странным. Вот, как вчера, проходя мимо Тоськиного окна, поднял камушек. Машинально, маленький камушек, стукнуть тихо в окошко. Он уже отвел локоть для размаха, но посмотрел на плотно задернутую занавеску. «Что это я?» — испугавшись, подумал он. А тут соседка из-за угла: «С праздником вас, Лексей Иваныч!» А он: «С каким?» А она: «Звонят! Параскева чудотворная! Картошку пора копать...»

А он махнул рукой и пошел. Пошел к своему сараю. Пес вылез из конуры. Узнав хозяина, лениво завилял хвостом, почесался от души и, стуча локтями, полез обратно. Через минуту захрапел, как мужик.

«Старый пес стал, старый, — подумал Лексей. — Жаль».

Поискал ключик за доской. В сарае со света ощупью скинул клеенку с кадушки, положил на нее камень, приподнял круг и, сунув руку в рассол, вытащил огурец.

А на улице еще грело солнце. Куст шиповника, цыганская роза у дороги, весь в ягодах — зацвел второй раз. Шмель сладко стонал в его больших цветах. На пашне на солнце сверкали перьями грачи. Неуловимые потоки воздуха уносили вдаль пух чертопслоха. И от этой осенней благодати вдруг снова защемило сердце.

## МАРУСЯ И ВОЛЧИЦА

На улице метет. Упругой грудью ветер в стены давит. Двери — заглушки от мороза, обитые тряпьем и ватой, в лохмотьях. Похоже, что солдаты здесь упражнялись в штыковой атаке.

Иваныч головой, как бык, мотнул над тазом. Маруся из кувшина ему на шею воду льет.

И в а н ы ч, Я человек?!

И мутными глазами смотрит в окно, где бледный на темном небе качнулся абажур.

Маруся фартуком утерла слезы. Молитву губы шепчут. Среди бумажных цветов при свете лампы тусклой — нимб, потом глаза, персты...

Часы зловеще зашипели. Пробили полночь. Мужик уснул давно. Маруся у иконы.

Тихий голос. Маруся, помнишь Николая — мужа? Погиб он на войне, а ты осталась — лишний рот в его большой семье.

Маруся. Николая?

Голос. Злодейки-снохи тебя беременной отправили на пашню...

Маруся. На пашню?

Голос. Роды начались. Ты кровью истекала. Чуть богу душу не отдала.

Маруся. Бога помню.

Перед глазами поле покачнулось. Мягкая земля, и тело без костей, и запах прелый. То темнота, то свет... Сопротивляется душа. «Не засыпай, Маруся!» «Пить!» И снова чернота. Но слышно райских птичек щебетанье и божий лик, весь в белом, магическое слово произносит: «Сепсис».

Перекрестясь, Маруся в синее окно взглянула: «Свят, свят!.. Волчица!» Сверкнули частоколом зубы под искривленную губой.

Маруся (*в страхе*). Иваныч! Волк! Проснись, Иваны-ы-ч!

Иваныч к стенке повернулся и захрапел. Пурга взбесилась. Просится в жилье. Лампады огонек колеблется...

Маруся прижалась к мужу... и уснула.

Волчица (*под окном одна*). Как пахнет детством. Запах хлеба, жмыха, хлева, дыма и поздних яблок. В поселок прихожу под страхом смерти. Ни зверь, ни человек. Щенком меня пригрели люди, но волка, как ты ни корми... Кто виноват? Судьбу благодарила, теперь клянусь.

Сознание мое мерцает. Согласно чучелом музейным стать. Пусть вместо глаз пришьют мне пуговицы и нафталином будет пахнуть шкура, кто ответит, что тянет за душу меня, зачем сюда я прихожу?

Но безучастно снег кружится и заметает свежие следы.

Божий свет все страхи разогнал. Настало утро. Метель утихла. Маруся у печи хлопочет. Капусту рубит для начинки, руками с солью трет. Иваныч ноги с кровати спустил и головой качает. С похмелья тяжело.

Маруся. Вчера Волчица приходила, оборотень.

Иваныч. Ты по ночам побольше бы молилась, еще не то приснится. Угодница святая!

Маруся. Тебе ли говорить! Бесстыдник! Ты сколько выпил? Поехал за углем, а вышло что? Ни тачки, ни угля, ни денег?! Вот волк тебя и ищет под забором!

Иваныч. Дай лучше маленькую, опохмелиться...

Маруся. С тобой возиться — тесто перекистет. Какие пироги! *(А про себя подумала: «Чтоб тело было пышным, белым, пить надо дрожжи».)*

Иваныч за Марусиной спиной крадется к шкафчику.

Маруся *(обернулась)*. Ты что?

Иваныч. Я хотел сказать, что встретил вчера Петрушку, что с бабой ходит. *(Очерчивает в воздухе руками бочку.)* Он мне сказал, что угля нет в продаже. Мы тачку к нему в сарай, а сами на станцию, узнать точнее... про уголь. Метель. Ну, мы погреться в чайную зашли.

Короток зимний день. То то, то се, а он уже погас. Живая нить бежит с катушки к Марусиным рукам. Подзоры кружевные вяжет крючком. В окно боится глянуть. Вдруг волк опять? А в мыслях, вспоминает, как осенью решили соседи обновить забор и передвинули его на толщину столба: «Но все же видят, что от дороги захватили землю! Подумаешь, малинник их разросся! Детишки щиплют ягоды. Да чтоб у них всё птицы поклевали!» И на забор соседский посмотрела. Свет из окна ковром стелился по сугробу и на заборе повисал. На самом освещенном месте от волчьих лап следы цепочкой пролегли. Маруся ахнула. Иваныч за ружье и — к двери. В сенях ведро задел. За дверью женщина. Робя спросила: «Как мне на станцию пройти?» — Иваныч сам смутился. Дорогу указал, и двери на засов.

Волчица. Как сердце вдруг заколотилось. Передо мной был человек, и я с ним говорила. Но только лишь закрылась дверь, я снова волк. Мой враг и божество! Зачем тебя пугаю своим тоскливым воем? Чего ищу и предана —



кому? Кому нужна? О беспредельная усталость! Тропинкой лунный свет течет за дальние леса. Холодные сугробы дымятся в поле. А я, невольница, послушна чьей-то воле, бродить здесь буду до утра, пока заря огонь бездымный на окнах дома не зажжет.

Маруся (*шепчет*). Страсть какая!

Иваныча крестом спасает и крестится сама. Козленок тонконогий за печкой мекнул. И его крестила:

«Пока не позабыла, поп-батюшка сказал, антихристы всю землю сетью обкрутить решили...»

Прислушалась: «Опять пришла...»

Мужик с ружьем из двери, как из парной. Мороз! Бездомная собака, поджавши хвост, метнулась... Выстрел. Визг. И кровью захлебнулась.

Утром застывшую собаку Иваныч в овраг сволок.

«Нечистая попутала». Пришел домой, и в горло не полез пирог. Волчица больше не являлась.

Но с той поры за клюквенным болотом порой осенней в лесу дремучем, где бересклета куст жар-птицей вспыхнет среди стволов замшелых, мелькнет вдруг серый волчий бок. И бабы домой бегут, в испуге побросав корзины. А вслед им слышен женский плач и вой звериный.

## СОДЕРЖАНИЕ

Николай Булгаков. Белая рубашка . . . . .	3
Сергей Гандлевский. Баллада . . . . .	10
Леонид Губанов. Стихотворения . . . . .	19
Алексей Дидуров. Воскресение в райцентре . . . . .	29
Венедикт Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика	32
Виктор Ерофеев. Бердяев . . . . .	46
Ирина Знаменская. Альтернатива . . . . .	63
Леонид Комаровский. В гостях у счастья . . . . .	70
Виктор Коркия. Сорок сороков. . . . .	87
Илья Кутик. Пятиборье чувств . . . . .	100
Александр Лаврин. Смерть Егора Ильича . . . . .	109
Михаил Левитин. Я снимаю «Крысолова», или Мертвый телефон . . . . .	130
Марк Наумов. В лесу родилась елочка . . . . .	147
Алексей Паршиков. Стихотворения . . . . .	163
Павел Петров. Предметы одушевленные и неодушевленные	177
Ирина Поволоцкая. Семь Авангардов . . . . .	188
Евгений Попов. Во времена моей молодости . . . . .	206
Дмитрий Александрович Пригов. Стихотворения . . . . .	218
Вячеслав Пьецух. Пессимистическая комедия . . . . .	238
Владимир Салимон. Стихотворения . . . . .	254
Сергей Соловьев. Стихотворения . . . . .	263
Татьяна Толстая. Сомнамбула в тумане . . . . .	270
Михаил Эпштейн. Опыты в жанре «опытов» . . . . .	296
Ф. Ярбусова. Театр для чтения . . . . .	316

## ЗЕРКАЛА

Выпуск 1  
*Альманах*

Составитель

**Александр Павлович Лаврин**

Художественный редактор *В. Горин*. Технические редакторы *И. Лукашова, Н. Калиничева*. Корректоры *З. Комарова, Л. Царская, И. Сахарук*

ИБ № 4236

Сдано в набор 29.12.88. Подписано к печати 19.05.89. Л22570. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,27. Уч.-изд. л. 20,90. Тираж 50 000 экз. Заказ 4404. Цена 1 р. 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

# ЗЕРКАЛА

АЛЬМАНАХ

1989

Сборник «Зеркала» включает в себя произведения писателей, имена которых только входят в нашу литературу, а сами эти вещи даже вообразить напечатанными было бы невозможно еще четыре года назад. Авторы не принадлежат к одному поколению, возрастной их диапазон свыше двадцати лет. Поэтому в сборнике нет единообразия, невольно создаваемого общим кругом мыслей, настроений, близких дорог в поисках формы. Но общность есть — сопротивление тотальной лжи и тотальному же невежеству, до сих пор едва ли не насильно насаждавшимся в литературу. Книга эта привлечет читателя с недавних пор популярными именами (Венедикт Ерофеев, Вик. Ерофеев, Е. Попов, В. Пьецух, В. Салимон и др.) и откроет новые пласты современной литературы.



Московский  
рабочий